ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

2009. № 1

(январь - март)

Научный журнал.

Издается с 2009 года

Политическая концептология:
журнал метадисциплинарных исследований
Научно-аналитическое издание

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС77-32422 от 09 июня 2008 г.

Учредитель: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

Редакционная коллегия:

Главный редактор
Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины,
Доктор политических и доктор философских наук, профессор **В.П.Макаренко**
Кандидат философских наук, доцент **С.П.Поцелуев** (зам.главного редактора)
Кандидат политических наук **М.С.Константинов** (ответственный секретарь)

Редакционный совет:

Председатель редакционного совета
Доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор А.В.Лубский (Ростов-на-Дону)
Доктор политических наук, доцент А.И.Бардаков (Волгоград)
Доктор экономических наук, профессор В.В.Вольчик (Ростов-на-Дону)
Профессор ординарный, доктор габилитованы Анджей Захариаш (Жешов, Польша)
Доктор политических наук, профессор В.С.Малахов (Москва)
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ О.Ю.Мамедов (Ростов-на-Дону)
Доктор философских наук, профессор Н.С.Розов (Новосибирск)
Доктор философских наук, профессор В.В.Савчук (Санкт-Петербург)
Доктор исторических наук, профессор В.Н.Ткаченко (Киев, Украина)
Доктор исторических наук, профессор И.М.Узнародов (Ростов-на-Дону)
Доктор философских наук, профессор С.Г.Чукин (Санкт-Петербург)
Доктор философских наук, кандидат психологических наук В.И.Шкуратов (Ростов-на-Дону)

Электронная версия журнала: **http://politconcept.sfedu.ru**

Адрес учредителя:
344006, г.Ростов-на-Дону
ул. Б.Садовая, 105
тел.: (863) 263 3158 263 8498
факс: (863) 264 5255
e-mail: rectorat@sfedu.ru

Адрес редакции:
344038, г. Ростов-на-Дону
пр.Нагибина, 13, к.308
тел. (863) 230 3090
факс: (863) 230-30-71
e-mail: politconcept@mail.ru

Содержание

Слово редактора
МАКАРЕНКО В.П. Проблема дистанции при описании социополитической динамики России.....5

Общие проблемы политической концептологии
НЕРЕТИНА С.С., ОГУРЦОВ А.П. Концепты политического сознания.....17
МАКАРЕНКО В.П. Политическая концептология: первые итоги разработки...79
ЛУБСКИЙ А.В. Политическая концептология как «захват мира политики» и приглашение к дискурсу.....117
ЧУКИН С.Г. Об антропологических предпосылках философии политики.....129
МИРОШНИЧЕНКО П.Н. К вопросу о статусе политической концептологии.....137

Экономический выбор и политические концепты
МАМЕДОВ О.Ю. Убийственная лобовь: тайна древнеримской экономической катастрофы.....141
ВОЛЬЧИК В.В. Эволюция российского института власти-собственности.....154

Научное сообщество
РОЗОВ Н.С. (Не)Мыслящая Россия: Антитеоретический консенсус как фактор интеллектуальной стагнации.....179
ОЛЕЙНИК А.Н. Мнимые и действительные риски для социолога при проведении исследований.....199

Теория и практика демократии: метод зачинающих понятий
ПОЦЕЛУЕВ С.П. Диалог как вербальное сновидение (о некоторых особенностях парадиалогического дискурса в аспекте теории эгоцентрической речи.....208

Обратная перспектива
ДМИТРИЕВ И.С. В обители трудов и вдохновенья.....216
КОНСТАНТИНОВ М.С. М.К. Петров: биографический контекст теории.....236

Научная жизнь
ПОЦЕЛУЕВ С.П. Мода и свобода (заметки о научной конференции).....253
КРИВОЛАПОВ А.А. Власть, наука и знание: новые формы диалога.....259

Книжная полка
МАКАРЕНКО В.П. Пуганый народ и проблема восстановления памятника Ломоносову.....266
САВЧУК В.В. Нашествие Батая на Русь.....280

НАШИ АВТОРЫ.....286
CONTENTS.....288

ПРОБЛЕМА ДИСТАНЦИИ ПРИ ОПИСАНИИ СОЦИО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ РОССИИ

В.П. Макаренко
Заслуженный деятель науки РФ,
академик Академии педагогических наук Украины,
доктор политических и философских наук, профессор,
Южный федеральный университет

На протяжении 1990-х гг. кризис стал нормой социальной жизни России. В начале перестройки властвующая клика СССР выдвинула идею: соединить советский социализм с российским капитализмом. Эта задача выполнена. Бюрократия осталась у власти. Восстановлена «табель о рангах», отстроены новые «дворянские гнезда», спецателье и спецтранспорт: «Раньше жили по принципу «социализм для народа, капитализм – для элиты», а теперь наоборот – «капитализм для народа, социализм для элиты»… Но суть та же: властью ни с кем не делиться, льготы – себе увеличить, а другим – отменить» [8, с. 7].

Сегодня в стране воспроизводится российско-советское прошлое: связь власти-собственности и появление новых экономических и политических групп на основе ее передела; всевластие бюрократии; социальная несправедливость; безразличие власти к правам человека; сохранение веры в зависимость социальной жизни от решений начальства; выдвижение на политическую сцену представителей силовых структур (армия, МВД, ФСБ, МЧС); стремление создать новую государственную идеологию для легитимизации власти. Реанимировано старое убеждение: Россия шла, идет и будет идти своим особым евроазиатским путем развития.

На протяжении 1990-х гг. в духовной ситуации обозначилось несколько тенденций: заимствование западных концепций; воспроизводство учений и доктрин из политического и духовного прошлого страны; поиски религиозной и национальной идеи. Книжные лотки и научные журналы переполнены писаниной на эти темы. Но в этой продукции не обсуждается проблема уголовной, моральной, политической и метафизической вины поколений, социально-демографических групп, государственных и политических институтов за функционирование советской системы. Между тем эта проблема поставлена К.Ясперсом

после крушения фашизма [15], а я подчеркнул ее значимость для постсоветских стран в начале 1990-х гг. [10].

Уголовная виновность состоит в нарушении правил человеческого общежития и существующих законов. Политическая - в ответственности каждого человека за преступления политического режима, при котором этот человек существовал. Моральная вина содержится в поддержке такого режима. Вина метафизическая вытекает из бездействия человека, когда рядом творятся преступления. Без анализа указанных видов вины всех поколений и институтов социальной и политической истории СССР/России невозможно культивировать юридическую, политическую, моральную, познавательную и метафизическую *дистанцию* в отношении прошлого и настоящего страны.

Проблема возраста жабы

На этом пути стоит множество стереотипов, которые присущи не только отечественным, но и зарубежным ученым. Например, Д.Биллингтон считается знатоком России. Его старая книга (написанная еще в 1960-е гг.) «Икона и топор» с сорокалетним запозданием переведена на русский язык и появилась на книжном рынке. Недавно он издал новую книгу для подтверждения ветхозаветного убеждения: Россию одновременно толкают вперед и рвут на части глубинные психологические и культурные силы, которые проявляются на острых поворотах истории; эти силы лучше описываются методами художественного творчества, нежели социальных наук [1; 2].

Однако американский россиевед неправ. Искусство невозможно без дистанции в отношении объекта. Религиозно-бунтарский характер русского человека не подтверждается конкретными исследованиями [см., к примеру: 9, с. 96-97].

Конечно, социальные науки целиком не освободились от метафор и других средств художественного изображения действительности. И хотя нельзя утверждать, что эти науки развиваются по канонам литературы и искусства, стремление очаровать читателя и слушателя здесь выражено достаточно сильно. Поэтому трудно культивировать политическую и моральную дистанцию в отношении к России. Средства массового оглупления (так А.Бовин предлагает называть российские средства информации, я с ним согласен и впредь буду использовать эту аббревиатуру вместо СМИ) переполнены рассуждениями на тему о *предназначении*, *призвании*, *судьбе* России. Этот жаргон заимствуется социальными науками. Аналитическая традиция практически не сложилась в интеллектуальной культуре России ни до, ни после 1917 года. Поэтому трудно провести различие между познанием и кликушеством.

Постоянное и навязчивое обсуждение в СМО российских тем и сюжетов - следствие не реализованных политических амбиций. Современная духовная ситуация в России – это внутренний информационный и когнитивный империализм. Правда, Россия здесь не исключение.

Для пояснения приведу пример. Во второй мировой войне Италия была вначале оккупирована Германией, затем – США. После высадки американский летчик ввязался в спор со стариком-итальянцем. Янки доказывал: Америка – самая могущественная и процветающая страна в мире, а ее армия – непобедима; США будут жить вечно или очень долго. Старик считал: выиграет Италия, поскольку она хиреющая страна, а ее вооруженные силы давно обходятся без кровопролитных побед. Поэтому итальянские солдаты больше не гибнут. Погибли все великие державы – Рим, Греция, Персия, Испания. Италия обычно проигрывала войны – и всегда жила припеваючи. Франция побеждала – и все время барахталась в кризисах. Земля от взрыва Солнца погибнет через 25 миллионов лет. А жаба существует на земле 500 миллионов лет. «Можете вы утверждать, - спрашивает старик у летчика, - что ваша Америка, со всем ее процветанием и могуществом, с непобедимыми вооруженными силами и самым высоким в мире уровнем жизни, просуществует так же долго, как жаба?» [14, с. 239]. До жабы Америке не дотянуть.

Летчик озадачен: родина – не ерундовина, за нее надо умереть. Старик отвечает: родина – это участок земли, окруженный со всех сторон искусственными границами. В войне дерутся 50 или 60 стран, и каждая для кого-то родина. Неужто они стоят того, чтобы за них умирать? Летчик вещает: нельзя быть перебежчиком, оборотнем, приспособленцем, ренегатом. Старик руководствуется практической философией: был фашистом, когда у власти стоял Муссолини; стал антифашистом, когда того свергли; был настроен прогермански, когда Германия защищала от Америки; стал проамериканцем, едва американцы пришли в Италию, чтобы защитить от немцев; но когда вступали немцы, бросал им навстречу эдельвейсы и выбил глаз немецкому обер-лейтенанту черенком цветка; когда пришли американцы – цветком выбил глаз американскому майору.

Отсюда вытекают кардинальные вопросы: кого вчера и сегодня в России было больше – летчиков или автохтонных мудрецов? и кому должны были выбить глаз мудрецы – своим или чужим оккупантам? Такой статистики я не встречал. Поэтому напомню: в мире существует около 240 государств. Каждое из них вслед за США претендует на возраст жабы. Стремится придать как можно большее значение своей собственной истории (реальной или воображаемой) и текущей коньюнктуре. Во всяком случае, я не слышал о таких национальных системах образования и информации, которые придают истории, событиям и процессам своей страны только 1/240 часть времени и ресурсов педагогической, научной и журналистской деятельности, а остальное время распределяют между остальными странами. По крайней мере, трансляция по телевидению перипетий выборов в США или России нисколько не интереснее процессов, происходящих нынче в Монголии или на островах Зеленого Мыса. Но о них ничего не слышно в отечественных СМИ. Поэтому традиционные и новые формы неравенства и монополии в этой сфере могут составить предмет особого исследования. Иначе говоря, история и современный этап развития России ни-

сколько не интереснее истории и современных этапов развития всех других стран.

Россия, а затем СССР на протяжении большей части своей истории претендовала на возраст жабы. Хотела господствовать в Европе и в мире. Поэтому со времени поражения в Крымской войне до поражения в холодной войне споры о прошлом, настоящем и будущем России не выходили за рамки альтернативы «самостоятельность - заимствование внешних образцов развития». Но эта альтернатива не является специфически российской. Она типична для большинства обществ, в которых происходит социальные изменения. И в современной России тоже господствуют идеологемы, обосновывающие выбор или комбинацию членов указанной альтернативы. Три поколения российской эмиграции почти не вышли за эти рамки. Поэтому более сотни лет духовная ситуация в России скучна и уныла.

Существуют ли концепции, позволяющие отбросить саму альтернативу и осуществить анатомирование исторических, социальных, политических и духовных процессов России на протяжении всего времени ее существования? Более полустолетия США выступали главным противником СССР. Американские советологи набирались опыта у русских меньшевиков-эмигрантов и детально изучали Россию. Поэтому сузим вопрос: разработали ли американские эпигоны русских меньшевиков методы и концепции, позволяющие культивировать познавательную, эстетическую, моральную и политическую дистанцию в отношении России/СССР как объекта исследования?

Советологические схемы

После второй мировой войны советология претендовала на ранг главной дисциплины при познании России/СССР. Советология не смогла предвидеть падение советской системы, но пока не рухнула вместе с нею. Теперь бывшие советологи заняты самооправданием, пишут о собственных «заслугах, достижениях и успехах», надеются на «постсоветологию», включая в нее «россиеведение» [3]. Оправдана ли надежда? Частично на вопрос ответил М.Малия [12; 13]. Вначале приведу его главные выводы.

Существование советологии связано с периодом «холодной войны». На протяжении этого времени в советологии господствовал метод бихевиоризма, а структура включала политическую экономию, политическую науку, социологию и историографию. Главная тенденция этих дисциплин в течение последних сорока лет - замена тоталитарной модели теорией модернизации при исследовании СССР и других государств восточного блока.

Модель тоталитаризма рассматривает советскую систему как продукт идеологии и политической воли, фиксирует подобия социализма, нацизма, фашизма, и отличия данных систем от западных демократий. Теория модернизации стала популярной в 1960-е гг. Она объясняла советскую систему как частный случай общих модернизационных процессов. После 1960-х гг. появились

«универсалистские» теории модернизации, теории «отсталости», «зависимого» и «догоняющего развития», «сверхмодернизации», «контрмодернизации» и т.п. Общий итог данных теорий однозначен: различие советской системы и западных демократий - количественное, а не качественное.

В политической экономии существовало несколько версий объяснения сущности советской системы: замена рынка плановым хозяйством в принципе невозможна, только рынок может решить проблемы распределения средств и расходов капитала в процессе производства (Л.фон Мизес); советская экономика функционирует успешно, поскольку сталинские пятилетки превратили СССР в индустриально развитую страну (М.Добб и др.); советское планирование ошибочно, но при умелом соединении национализированной собственности с рынком получится настоящий социализм (О.Ланге).

Эти оценки высказывались западными учеными и социалистами. Между тем советский экономист И.Бирман знал на практике советскую экономику и его оценка была однозначной: вся система планового хозяйства - дорогостоящий провал, а западные экономисты и политики показывают общественному мнению ложный образ советского социализма. Однако научно-политический истеблишмент Запада пренебрег этой констатацией.

С середины 1960-х гг. западная экономическая теория испытывает влияние теории модернизации. Это проявляется в использовании модели валового национального продукта (ВНП) при исследовании СССР. Но ВНП - не реальный факт, а интеллектуальная конструкция (система измерений), которая не имеет смысла без определенных теоретических посылок. Основанием модели ВНП являются западный опыт и данные. Параметры советской экономики не соответствуют западным моделям измерений. Однако модель ВНП применялась в отношении СССР и дала апологетические результаты: вплоть до распада СССР в западной экономической теории господствовала оптимистическая оценка советских успехов. Считалось, что ВНП СССР образует около 60% ВНП США. Эту цифру популяризировали известные экономисты и социологи (В.Леонтьев, Д.Гелбрейт и др.). Она повлияла также на оценки ЦРУ, которые использовали ее для доказательства «советской угрозы».

ЦРУ переносило на советскую действительность экономические отношения, характерные для США. Но количественные показатели советской военной угрозы ЦРУ представляло различно, в зависимости от политических пристрастий авторов и должностных лиц. Американские аналитики завышали данные о военном потенциале СССР в целях запугивания, получения дополнительных средств из бюджета на военные приготовления. Советское руководство тоже стало применять тактику запугивания после успешного испытания МКР во второй половине 1950-х гг. Одновременно под прикрытием частичной демилитаризации (сокращение армии и флота, снижение общих военных расходов) Н.С.-Хрущев нашел средства для производства ракет. В результате размеры советских расходов на оборону были преувеличены на 50%. Оценка ЦРУ советского

военного потенциала зависела от колебаний политического курса. Кроме того, ЦРУ давало обтекаемые и многовариантные выводы для подстраховки на случай любого развития событий [4].

Аналогично поступал КГБ и советский Генштаб при оценке американской угрозы. Сегодня сами военные доказывают, что суть советской экономики сводится к милитаризации на основе доктрины «военного социализма» немецких генералов Людендорфа и Ратенау. Эти концепции заимствовал Ленин и внедряли в жизнь все поколения советских руководителей. Данные концепции (включая модель ВНП) до сих пор используются при выработке программ экономических преобразований и военной реформы в России [6].

В политических науках США и других стран Запада спор шел о модели тоталитаризма. Модель Х.Арендт кардинально отличалась от модели К.Фридриха-З.Бжезинского. Социополитический контекст спора определялся рядом обстоятельств: в 1960-е гг. левые силы в ведущих странах Запада возвращались к власти; в отношениях двух сверхдержав наступила патовая ситуация; большинство западных ученых и политиков считало, что после смерти Сталина наступило «смягчение» советской системы, хотя она оставалась постоянной силой в международных отношениях.

В этот период политологи начали использовать теорию модернизации для объяснения специфики советской системы. Политико-идеологические факторы рассматривались как производные от экономики, а не детерминирующие ее (как постулировали сторонники тоталитарной модели). В 1970-е гг. такой подход породил обширную литературу. Развивалась «кремленология» (трактовка политической истории СССР как борьбы на вершине власти), квалификация советской политической системы как неотрадиционализма (в веберовском смысле слова), теория корпоративизма, трактовка позднего социализма как «авторитаризма эпохи благосостояния» и т.п.

Во всех случаях при описании СССР использовались следующие схемы:

Отождествление социальной динамики и политической модернизации. Примером могут служить работы Р.Ловенталя, связавшего тоталитарную модель с теорией модернизации. Последняя заимствовалась из структурного функционализма Т.Парсонса и использовалась в отношении к отсталым (традиционным) обществам. Советская система рассматривалась как особая форма модернизации, которая осуществлялась под влиянием идеологической политики. Эта политика привела к непредвиденным последствиям, и потому при Хрущеве идеологические цели уступили место экономическим интересам. На этом основании Р.Ловенталь сформулировал вывод: советская модель экономической модернизации может измеряться ростом ВНП и служить образцом для стран Третьего Мира. А поскольку развитие экономики - главная тенденция современности, постольку СССР двинулся по пути конвергенции с высокоразвитыми странами Запада. Тем самым советская система подгонялась под универсальную модель прогресса.

Объяснение политической системы СССР как варианта авторитаризма. После смерти Сталина советская система преобразовалась из тоталитарной в авторитарную, способна к реформированию и принципиально отличается от фашизма. Иначе говоря, количественное ослабление террора отождествлялось с качественной трансформацией системы. На этой основе формулировался вывод: реформированный социализм может эволюционировать в направлении демократии без радикального слома системы.

Постулирование элементов плюрализма в социальной и политической структуре СССР. Предполагалось, что в СССР существует развивающийся авторитаризм. Поэтому способ его политического функционирования есть институциональный плюрализм, производный от групповых интересов. В советском обществе выделялось несколько групп - партийный аппарат, КГБ, армия, хозяйственные руководители, экономисты, писатели, юристы. Эти группы создают альянсы, свидетельствующие о движении СССР к институциональному плюрализму, который отражается в социальной структуре.

Нетрудно убедиться, что все указанные схемы смешивают философско-исторические концепции с социологическими и политическими критериями. Например, проблемы ложности категории интереса, а также фундаментальных различий генезиса групп и групповых интересов в советском и западных обществах не ставилась вообще или считалась второстепенной [11]. Однако эти проблемы практически не обсуждаются и в современной отечественной политологии, хотя заимствуются все указанные схемы.

Догмы политической экономии и политологии воспринимались и укреплялись в американской социологии. Она тоже рассматривает советский опыт как модификацию универсальных социальных процессов. Структурный функционализм и эмпирическая социология начали использоваться при исследовании советского общества. Наиболее яркий пример - коллективный труд «Как работает советская система», изданный в 1956 г. Центром Российских исследований Гарвардского университета. В этой работе американские социологи использовали теорию модернизации для критики тоталитарной модели и формулировки вывода: советские структуры власти и управления функционируют *рационально* и потому СССР - социальная система, а не политический режим. Эта книга распространялась «Для служебного пользования» среди аппарата ЦК КПСС, и сыграла роль в обосновании советской социологии.

В 1960-е гг. Т.Скочпол и Б.Мур соединили теорию модернизации с ревизией марксистского классового анализа. Исходный пункт их концепции - идея Сен-Симона: переход от традиционного к индустриальному обществу – главная нить современной истории. Переход идет по-разному в различных странах и зависит от доминирующего класса в революции, направленной против старого режима. В Англии, Франции и США во главе революции стояла буржуазия; в результате появились деформированные капитализм и демократия. В Германии и Японии капитализм установлен аристократией, которая осуществила *револю-*

цию сверху; в результате возник фашизм. В России и Китае старый порядок был разрушен крестьянством; в результате возник политический режим, который начал осуществлять модернизацию деспотическими методами. «Крестьянские революции» привели к «воспроизводству» государства в форме новой «бюрократии развития».

Я не буду задерживаться на связи данной концепции с идеями Л.Троцкого, но подчеркну: понятие «бюрократии» в ней используется в нормативном (рациональный способ управления), а не теоретическом смысле.

Аналогичные процессы объяснения истории советского общества происходили в западной историографии. В ее либеральной и консервативной версии принцип хронологически-событийного отражения истории советского общества тоже связан с переходом от тоталитарной модели к теории модернизации. В итоге историография начала подчеркивать процессы «нормализации» советской власти. Л.Шапиро, Э.Карр, И.Дейчер и др. развивали тоталитарную модель, которую поставил под сомнение Л.Хеймсон. Он считал, что Октябрьская революция возникла из двойной поляризации российской жизни: между государством и обществом; между рабочими и буржуазией. Октябрь был не случайностью (как утверждала либерально-консервативная историография), а закономерностью социального развития России. Советская система эволюционирует в направлении социальной демократии.

Реабилитация этой системы прошла несколько стадий. Если суммировать результаты, возникает следующий образ: Октябрьская революция - это действительная пролетарская революция, а не государственный переворот; советская власть с самого начала была легитимной; партия большевиков была открытой демократической организацией, связанной с радикализмом масс, а не с тоталитарной партией «нового типа»; действительным достижением Октябрьской революции был НЭП, а не военный коммунизм; советская система дрейфовала в направлении «мягкого сталинизма»; началом такого дрейфа были советские «выдвиженцы» 1920-1930-гг.; они привели к смене политического курса после смерти Сталина и благоприятствовали стабилизации советской системы; коллективизация - продукт стремления трудящихся масс к построению социализма, а сталинские чистки и террор - результат борьбы «центра» за контроль над анархической «периферией»; число жертв не может быть предметом научных исследований, поскольку официальные советские источники об этом не упоминают.

Таким образом, под пером историков-советологов каждой фазе развития советской системы приписывалась целесообразность. А процесс в целом рассматривался как история «достижений и успехов» и доказательство способности советской системы к самореформированию.

Перед началом *перестройки* советология использовала модель модернизации, классифицировала все советское прошлое и позитивно оценила советскую систему в сфере экономики, социальной структуры и политики. Согласно такой

оценке, советская власть осуществила модернизацию советского общества и создала развитую урбанизированную сверхдержаву. Она созрела для либеральных реформ, которые преобразуют Россию в «современное» общество. Несмотря на все кошмары советской истории, власть создала потенциал модернизации. Поэтому переход СССР к демократии может быть эволюционным, а не революционным процессом.

На пути к запоздалой проверке

Итак, американские и прочие эпигоны русских меньшевиков в сфере политической экономии, политической науки, социологии и историографии воспроизводят стереотипы советской политики, идеологии и пропаганды на разных этапах существования СССР. В этом смысле создание кафедр социологии, политологии и культурологии (вместо кафедр истории КПСС, теории и истории коммунистического воспитания, теории партийного и советского строительства, научного коммунизма, диалектического и исторического материализма) в вузах России завершило процесс внутренней и внешней апологетики. Указанные концепции вошли в постсоветские учебники и заполонили книжный рынок России.

Система советологических иллюзий начала интенсивно пропагандироваться в СССР в период «перестройки». Даже ее крах не разрушил эти схемы, хотя ни одна из них не репрезентативна при анализе социально-исторического развития России. И не может служить для выработки дистанции в отношении социальных и политических процессов в России XX в. Однако эти схемы в настоящее время широко распространены в общественном сознании и социальных науках России.

Теперь я хочу дополнить выводы М.Малия. Общая ахиллесова пята всех универсалистских теорий модернизации - необходимость такой классификации обществ, социальных систем и цивилизаций, которая удовлетворяла бы строгим критериям и не вызывала сомнений. Такой классификации не существует. Социальные науки пренебрегают этой кардинальной проблемой и делают акцент на процесс развития, а не на стадию развития или состояния социума. На этой основе возникли разные варианты теории модернизации. Их суть сводится к описанию и рецептам преодоления экономической, социальной, технологической, политической, управленческой, инфраструктурной и прочей «отсталости». В широком смысле слова субъектом и объектом модернизации можно полагать весь мир и любую его часть – цивилизацию, общество, государство, регион, сектор экономики и т.п. Сфера произвола при этом становится безграничной.

Следующая процедура – количественное изображение постулированных субъектов (объектов) сравнения. Это невозможно без принятия некого «образца» развития, без которого «доганяющие» процессы имели бы хаотический и не поддающийся осмыслению характер. Таким «образцом» в Новое время по опре-

делению может быть только Западная Европа (а с Х1Х в. Западная Европа вместе с Северной Америкой) и возникшая в ней концепция прогресса. Она выполняет функцию главного идеологического ядра всех теорий модернизации. Согласно такой посылке, модернизационные процессы обычно отождествляются с вестернизацией.

Однако в истории европейской мысли «линейная» модель развития, содержащая прогрессивный и регрессивный вариант, не является единственной моделью социальных трансформаций. Существуют также «точечная» модель, модели «круговорота», «спирали», «высокого уровня порядка». Однако мне неизвестна такая теория модернизации, которая бы описывала социальные и исторические процессы одновременно как неизменные, изменяющиеся в рамках замкнутой кривой, повторяющиеся во времени, уникальные и неповторимые, повторяющиеся с определенной регулярностью по принципу подобия, но неидентичные, и наконец – как не поддающиеся определению, в связи с чем любой образ социальных событий и процессов всегда будет более-менее ложным и субъективным.

Тем более это относится к отражению истории России. Она обычно описывается как совокупность внешних и внутренних факторов, из которых фактор отставания от Европы считается главным на протяжении последних пятисот лет российской истории. Поэтому использование универсалистской схемы модернизации в отношении к России легитимизирует усилия русской власти преодолеть отставание, а также теоретические попытки представить данные усилия как единственно возможные при данных обстоятельствах. В результате возникает ряд более-менее «мудрых» правителей и еще более «мудрых» теоретических холуев…

Можно ли вообще рассматривать реформы Петра 1, территориальные захваты при Екатерине 11 и Александре 1, реформы Александра 11, развитие капитализма на рубеже Х1Х-ХХ вв., все три русские революции начала века, советскую индустриализацию и коллективизацию, «перестройку» 1985-1991 гг. и современные процессы в России как попытки «модернизации», которые осуществлялись ее властителями - царями, вождями, генеральными секретарями и президентами? Можно, если модернизация отождествляется с укреплением власти. Власть - главный внутренний и внешний фактор и одновременно - непреодоленное зло всей российской истории. Поэтому эволюция российского государства представляет собой картину запоздалых и не отвечающих потребностям времени реформ, порождающих политическую нестабильность [5]. Однако мне неизвестная такая история России, которая описывала бы происходящие в ней социальные процессы на основе исключения властно-политического фактора, включая процессы «модернизации».

Итак, теория модернизации не может быть средством выработки познавательной, эстетической, моральной и политической дистанции в отношении истории и любого этапа динамики досоветской, советской, постсоветской России.

Ее руководство не собиралось перенимать западные экономические, социальные и политические институты, если это противоречило его интересам. Наоборот, советское правительство поставило цель полностью уничтожить социальные корни данных институтов в России и показать всему миру возможность совершенно иного пути развития, в котором роль «образца» выполняло бы оно само. Согласно такой логике, советская система не есть разновидность общего процесса модернизации, а качественно новая линия развития человечества. Главная проблема в том, что все попытки замены «образцов» ставят под сомнение саму идею развития на основе «внешних образцов», но не позволяют выйти за пределы альтернативы «самостоятельность - заимствование внешних образцов развития».

В настоящее время стало ясно, что СССР не смог занять место США. Намного менее учитывается, что в период распространения теории модернизации большинство стран третьего мира обратилось в сторону капитализма (несмотря на антикапиталистическую риторику), а не социализма. Эти страны использовали социалистическую альтернативу как противовес, позволяющий проводить политику эгоцентрического балансирования между двумя блоками и тоже ничего принципиально не менять, если это противоречит интересам властно-политических аппаратов и духовно-идеологических групп. Ирония истории в том, что Россия (преемник СССР) и другие государства СНГ сегодня переместились в ряд развивающихся стран.

Теории модернизации были подвергнуты критике многими западными учеными еще в 1960-1970-е гг. Но эти теории в настоящее время распространены в странах бывшего советского блока для легитимизации власти, и переплетены с отечественными и зарубежными теориями цивилизации, конвергенции, мир-системной теорией, глобалистикой, регионалистикой и пр. [7]. В результате увеличилось число идеологических гибридов, популярных на интеллектуальном и политическом рынке России.

Таким образом, главная цель журнала – полемика с автохтонными и закордонными идеологическими гибридами. Обнаружить их ложность и показать многообразные социально-политические следствия лжи в институциональной и когнитивной сфере – первейшая задача. Остальные будут уточняться по мере становления авторского и читательского актива.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Биллингтон Д*. Икона и топор. М., 2001.
2. *Биллингтон Д*. Россия в поисках себя. М., 2005.
3. *Брумберг А*. Советология и распад Советского Союза // Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития. Вып.2. Под ред. Т.А.Заславской. М., 1995.

4. *Быстрова И.В*. Советский военный потенциал периода «холодной войны» в американских оценках // Отечественная история. 2004, № 2.

5. *Власть и реформы: от самодержавия к Советской России*. СПБ, 1996.

6. *Гольц А*. Армия России: 11 потерянных лет. М., 2004.

7. *Игрицкий Ю.И*. Меняющаяся Россия как предмет концептуального анализа // Отечественная история. 1998. № 1.

8. *Крыштановская О*. Возвращение номенклатуры. Предисловие и изданию 2005 года // Восленский М. Номенклатура. М., 2005.

9. *Куприянов А.И*. Историческая антропология в России: проблемы становления // Отечественная история. 1996. № 4.

10. *Макаренко В.П*. Власть и легитимность // Россия – США: опыт политического развития. Ростов-на-Дону, 1993.

11. *Макаренко В.П*. Проблема общего зла: расплата за непоследовательность. М., 2000.

12. *Малия М*. Из-под глыб, но что?.. История западной советологии // Отечественная история. 1997. № 5.

13. *Малия М*. Советская трагедия. История социализма в России. М., 2003.

14. *Хеллер Д*. Поправка 22. М., 1992.

15. *Ясперс К*. Вопрос виновности // Знамя. 1994. № 1.

От редакции

Эту рубрику журнала мы начинаем с публикации монографии Светланы Сергеевны Неретиной и Александра Павловича Огурцова – известных специалистов в сфере истории мысли, философии науки и методологии социального познания.

КОНЦЕПТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ[1]

Светлана Неретина
доктор философских наук, профессор,
главный научный сотрудник Института философии РАН

Александр Огурцов
Лауреат Государственной премии,
доктор философских наук, профессор,
зав. отделом Института философии РАН

Введение

Концепты в политическом сознании? Что за рыночные термины в политической теории, - скажет человек, знакомый с современным маркетингом. Действительно, для него концепт – это модель товара, выброшенного на рынок, но еще не ставшего массовым. Поэтому-то и говорят о концепте автомобиля, шариковой ручки, компьютера и т.д. В развивающейся экономике (а Россия в наши дни именно такова) вокруг нас масса товаров, до этого побывавших в статусе концептов. Что – и в политике возникли такого рода рекламно-маркетинговые профили? Но сами-то термины – концепт, статус, профили – первоначально возникли и развивались в философии, прежде всего в схоластике, а из философии они проникли в сознание инженеров рынка, формирующих вкус и потребности людей перед тем, как запустить этот концепт в массовое производство, изменить его статус, превратив его в однозначный, но массовый товар, или в предмет утвари, в вещь ближайшего окружения. Концепт можно уподобить сигнальному экземпляру книги, с которым Вы знакомитесь до выпуска его в массовый тираж и в который еще можно внести изменения и даже не допустить до тиражирования. Тогда концепт останется символом, квазиобъектом не

[1]Работа выполнена в рамках внутреннего гранта Южного федерального университета № 05/6-33, 2007 г.

осуществленных желаний, тем, что ныне называется симулякром – знаком, не имеющим референта. И это нам знакомо. Сколько изделий, технических и конструкторских новинок дошли до концепта, воплотились в металле, но – увы! – не стали продуктом производства!

Однако, став термином-знаком маркетинга, слово «концепт» исчезло из современной философии. Оно заменено, особенно в англо-американской традиции аналитической философии однозначным понятием, т.е. понятием, имеющим одно-единственное значение и не допускающее каких-то иных толкований. Эта фиксация однозначного значения понятия, отождествившая слово «concept» с понятием, произошла в английском эмпиризме XVII-XVIII вв. и настолько стала устойчивой в сознании философов, что один из авторов данной книги столкнулся с негативным мнением рецензента, написавшего в 1982 г. на полях рукописи о средневековом концептуализме: «Ведь не скажет просто "понятие", а – "концепт"»!? Ему – доктору философских наук, специалисту по средневековой философии не была известна давняя традиция схоластической философии, проводившая различение между концептом и понятием. Философы уже давно, с XII века, выработали тот аппарат, который ныне востребован филологами и специалистами по маркетингу[2].

Лингвисты оказались более чувствительными к изменяющейся семантике своих слов, осознав недостаточность употребляемых терминов. Они стали широко использовать термин «концепт» при уяснении определенных универсалий естественного языка и речевого сообщества. Психолингвисты, анализируя процесс усвоения ребенком своего «родного» языка и иностранцем языка чужой страны, обратили внимание на речевые сообщества (языковые группы), в рамках которых и осуществляется процесс освоения языка. Иными словами, лингвисты сделали объектом своих исследований не только грамматические (лексические, синтаксические, семантические, прагматические и пр.) нормы систем языка, но и потенции и силы реальных языковых коммуникаций внутри речевых сообществ, т.е. обратили внимание на речь, понимая ее как актуализацию языка, или системы возможных норм. Да и современная философия, обратив внимание на прагматику языка, пришла к тому, чтобы осмыслить коммуникативные структуры сознания в различных его «ипостасях» - от рассуждений до процессов обмена стали объектом исследований с разных сторон. Поэтому-то и возник интерес к осознанию «концептов» и их роли в коммуникациях. Но что нового в этом повороте человеческого сознания к коммуникациям и их структурам? Ведь человеческая мысль, начиная, наверное, с Аристотеля давно уже сделала их предметом своего внимания! Напомним хотя бы «Политику» Аристоте-

[2] Этот аппарат начал выявляться, начиная со статьи С.С.Неретиной «Образ мира в "Исторической библии" Гийара де Мулэна» (Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1974). На конференции по знаковым системам, состоявшейся в Тарту, ею был сделан доклад «Проблема высказывания у Абеляра», где была выдвинута идея концепта и его отличие от понятия. Доклад был опубликован сначала в сборнике Института философии РАН «История науки в контексте культуры» (М., 1990), а затем в «Трудах по знаковым системам. 24» (Тарту, 1992). Написанная в 1982 г. книга об Абеляре вышла под названием «Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Петра Абеляра» 12 лет спустя (М., 1994).

ля, его этику или введение И.Кантом категории «отношение» в таблицу категорий. Да и имя К.Маркса не зря вспомнить. Именно он обратил внимание на социальные отношения, не сводя их исключительно к производственным.

В только что вышедшей книге Ю.С.Степанова «Концепты. Тонкая пленка цивилизации» проводится мысль, что понятие концепт родственно понятию в логике, психологии и философии и их можно использовать в качестве основных единиц культурологии. Кардинальное отличие концепта от понятия состоит, по его мнению, в том, что понятие понимается, а концепт переживается. Поэтому в набор рассматриваемых им концептов попали такие концепты, как «мир», «ментальный мир», «слово, «вера», любовь», «радость», «знание», «наука», «число», «страх, тоска», «грех, блуд», «свои-чужие». Сопрягая концепт с переживанием, он исходит из весьма широкой и эмотивистской трактовки концептов. Поэтому, очевидно, лишь некоторые из им проанализированных концептов имеют отношение к политическому сознанию (прежде всего «свои - чужие», «мир», «знание», «наука»). Гораздо более корректное описание концептов дано в «Антологии концептов» [2], написанной авторами из университетов различных российских городов. Пытаясь определить смысл «концепта», они согласны в том, что концепт – основная единица сознания, которая имеет репрезентацию языковыми средствами и вместе с тем обладает невербализированной частью содержания. Среди описанных ими концептов непосредственное отношение к политическому сознанию имеют такие концепты, как «воля», «закон», «обман», « приватность», «свобода», «страх», «язык». В этих двух книгах представлены разные наборы концептов, из которых все же трудно понять, каковы критерии их отбора.

Лингвистическое изучение концептов имеет в России давние традиции. Их продолжение в трудах Н.Д.Арутюновой и в 11 выпусках серии «Логический анализ языка» Института языкознания РАН, в которых представлен спектр концептов не только русского языка и отечественной культуры, но и других языков и культур.[3] Д.С.Лихачев тоже говорил о необходимости осмысления концептосферы русского языка и русской культуры. В.П.Макаренко - о необходимости создания «политической концептологии». По нашему мнению, пока еще рано говорить о логосе в динамике и тем более эволюции концептов. Их надо выявить, артикулировать и осмыслить. И речь идет пока о феноменологии концептов политического сознания, т.е. об описании зарождающихся смысловых структур политического сознания в России. Ведь концепт – это завязь новых смыслов, новых идей, новых понятий, инновационных вариантов, воплощаемых и воплощенных в вещи, в политических решениях и дискурсивных практиках. Не зря русский философ, первый заговоривший о концептах в их отличии от понятия, - С.А. Аскольдов называл их «почками» новых смыслов и считал их предметом психологических исследований. Судьбу идеи концепта в современной философии мы еще проследим в специальной главе.

[3] Содержание всей серии этих трудов см. [26].

На наших глазах менялась социально-политическая жизнь России – мы привыкали (но так и не привыкли!) к выборам своих парламентариев (практику выборов нам заменили якобы более привычной для русских практикой «преемства»), мы привыкаем к изобилию невиданных нами товаров и языковых терминов из бизнеса, банковского дела, компьютерной и автомобильной техники и т.д. Иными словами, лет двадцать каждый из нас живет не по понятиям, а в мире концептов, которые могут стать понятиями, идеями, теориями, а могут и не стать, могут стать привычным образом жизни, вещами окружающей нас утвари, предметами окружающего нас мира, а могут и не стать.

Предваряя более тщательную историко-философскую реконструкцию, которая будет осуществлена во втором разделе данной монографии, сразу же скажем, что поворот к коммуникациям, их универсализация в философии связана именно с XX веком (причем современная философия вынуждена была возродить схоластику и обратиться к тем понятиям, которые исчезли из новоевропейского – научного – сознания: «сингулярии», «универсалии», «концепт», «дискурс», «пресуппозиция», «статус» и т.д.). Иными словами, в философии уже был «наработан» тот аппарат, который оказался востребованным в современной философии вообще и философии политики, в частности. А теперь даже в описаниях маркетинга. Маркетинг дал новую жизнь старым идеям!

Если кратко и предварительно описать, чем же является концепт, то надо прежде всего отметить, что это – порождающая модель языка, формирующаяся в речи и функционирующая в дискурсе речевого сообщества, выполняющая функции овеществленного образца, кванта смысла и фундаментальной единицы вербального и невербального поведения. Концепт завершает концептуализацию и зачинает новое движение в усилиях человека по рационально-эмоциональному постижению мира вообще и политики, в частности. Поэтому трудно согласиться с М.Эпштейном, утверждающим, что описание концептов не является задачей гуманитарных наук, но позволяет открыть какое-то новое состояние общественной духовной жизни, не нашедшей еще своего имени. Одна из целей данной книги и состоит в том, чтобы выявить разные традиции в исследовании концептов, прежде всего давние традиции истории философии, использовать их в социально-политическом анализе и продемонстрировать те повороты мысли, которые предполагаются при тематизации концептов.

Раздел I.
Поворот к концептуализации политики

Глава 1. Концепт политики в исторической перспективе. Автономизация политики из иных областей социальной жизни

Термин «политика» крайне многозначен. Обычно под этим термином имеют в виду совокупность социальных практик и дискурсов, направленных на формирование, развитие, проектирование и исследование правовых и моральных норм, структуры государственно-административных институтов, форм государственного управления, отношений и институтов власти. Историю политики можно рассматривать как 1) процесс вычленения ее из социальной жизни, ее автономизации, 2) выявление специфических ценностей, регулирующих политическое действие и отношения, 3) процесс институциализации политики, приведший к формированию надындивидуальных и сверхколлективных субъектов - правовых институций, репрезентируемых политической системой государства, 4) совокупность актов управления государством, регулируемых или этическими, или юридическими нормами, 5) становление и смена форм политической легитимации политики, когда религия, культура и философия предстают как пути обоснования и средства идентификации политических действий.

Разумеется, что это далеко не все смыслы, в которых употребляется термин «политика». И все же нужно хотя бы кратко и пунктирно проследить этапы существования политической мысли, выделив такие концепты, как civitas – общность политической жизни, добродетель, справедливость, долг, искусство управления, социальное и гражданское, сквозь призму которых рассматривалась идея автономии политики. Такое прослеживание необходимо для того, чтобы мы могли отогнать некоторые навязчивые идеи, будто в истории все идет, как идет, в то время как на деле возможности, наличествовавшие и проговоренные в истории, не исчерпаны и не испробованы до сих пор. Одна из них касается способов манипуляции массовым сознанием, другая – способов индивида избегать подобных ловушек.

На первых порах человеческой истории политика вплетена в социокультурный контекст и не вычленялась как специфическая сфера человеческой жизнедеятельности и отношений. Она отождествлялась с общественной жизнью в целом. Поэтому в античности человек трактовался как zoon politicon (политическое животное). В ходе развития политической практики и дискурса из жизненно-социальных отношений вычленяется специфическая сфера политической и экономической активности, строятся аналитические конструкции, схематизирующие смысл и направленность социальных действий, в том числе и политических.

Обособление политики в специальную область общественной жизни, формирование специфических политических практик со своими нормами и регулятивами, автономизация политического дискурса, отличающегося и от научно-теоретического, и от философско-этического, и от социального дискурсов, – основная линия в развитии политики, приведшая в итоге к созданию не только философии политики и социологии политики, но и политической науки как самостоятельной области исследований. На первых порах политика вплетена в общий контекст социальной жизни, а политический дискурс – в философско-этический. Политика рассматривалась в контексте космического мироустройства и обеспечения социально-государственного порядка, в который вплетен человек со своими гражданскими добродетелями. Область политики совладала с государством и его управлением, а учение о политике строилось на основе этических принципов справедливости, блага, долженствования.

Наиболее значительные учения о политике в античности развиты Платоном и Аристотелем. Согласно Аристотелю, политика в широком смысле охватывает этику и учение о государстве, в узком смысле – искусство и науку государственного управления [4, с. 1181a 26 - 28b, 1130b 28, 1141a 20 – 29, 1145a 10, 1152b 18, 1153a 23 - 26]. Его труд «Политика» включает в себя исследование наилучшего образа правления, теорию полиса, реальных типов государств, причин их крушения и способов упрочения, описание идеального государства, основанного на справедливости и подлинном благе. Государственное управление рассматривается им как форма политической власти, отличаемой от отношений власти в экономике, или домохозяйстве [5, с. 1255, b 15-20], а функции управления состоят в обеспечении очередности занятий государственных должностей, стремления к равенству и уничтожения всех различий. В упрощенной форме (ниже мы еще вернемся к мыслям Аристотеля о политике) этот способ управления вел к централизации власти, а, как писал Фуко, «всякий знает, что в европейских государствах политическая власть развивалась по направлению ко все более централизованным формам» [54, с. 287]. И на первый взгляд, так оно и есть. Можно проследить дальнейшее стремление власти к централизации при изменении форм правления.

В эпоху Римской республики политика отождествлялась с делами гражданской общины (civitas), с Городом (Urbs) и с реализацией таких добродетелей, как мужество (virtus), справедливость (ius), почет (honor) и свобода (libertas). Законность создает человеческую общность, республику богов и людей [64, разд. I.7, II.4.]. Цицерон в диалоге «О республике» обсуждает вопросы наилучшего государственного устройства, дает философско-этическое обоснование идеи государства с помощью понятия «справедливость», характеризует качества и обязанности правителя-реформатора (rector rei publicae), развивает учение Полибия о смешанной форме государственного устройства как наилучшей. В диалоге «О законах» он выясняет сущность права, выводя его из законов природы, рассматривает законы управления государством, причем подчер-

кивает, что закон – мерило права и бесправия, объединитель людей в общество и связующее звено между людьми и богами.

В эпоху Римской империи проблемы политики рассматривались под углом зрения ценностей «вечного Рима», всеобщего и универсального порядка (taxis) и источников правовых институций и норм. Поэтому в то время остро стояла проблема легитимации императорской власти и разумности правления. Авторитет был источником власти и права, принцепс не отличался от сенаторов и магистраторов ничем, кроме масштаба авторитета, приобретенного гражданскими заслугами. Император являлся источником права и высшей апелляционной инстанцией. Так, для Тацита правитель – первый гражданин, ему он противопоставляет тирана. Постепенно происходит сакрализация императорской власти, утверждается со времен Августа культ императоров, отождествляемых с солнцем и соединяющих в себе черты боговдохновенного мудреца, пророка, провидца, справедливого правителя и полководца, хотя даже те, кто подчеркивал божественную природу императоров, считали, что, если они забывают свой долг, они становятся тиранами и их убийство оправданно. Религиозные культы императоров, ставших великими понтификами, и были формой легитимации государственной власти в эпоху Римской империи, способом упрочения сложившегося политического порядка.

Политика в Византии отождествлялась с искусством и наукой управления. Так, в диалоге «О политической науке», приписываемом Петру Патрикию (VI в.), рассматриваются законы монархического государства, выборность императора, сената, взаимоотношение церкви и государства, структура органов управления и правосудия. Однако не выборность, а деификация («обожествление») власти императора является для Византии решающей. Для Евсевия Памфила, Агапита, Юстиниана императорская власть – слуга Бога и не ограничена законом, а сам император – помазанник Божий. Вместе с тем возникают достаточно сложные отношения между формами кодифицированного законодательства и установками сознания (обыденного, религиозного, светского и т.д.), которые привели, с одной стороны, к сакрализации власти императора и к его притязаниям быть одновременно и василевсом и священником (можно напомнить переписку императора Льва III и папы Григория II, который подчеркивал независимость sacerdotium от imperium), а с другой стороны, утверждение независимости друг от друга и целостности двух властей – светской и церковной, одна из которых руководит телами, другая – душами людей (Иоанн Цимисхий, X в.) и отказ от идеи божественного происхождения императорской власти у Плифона, Николая Кавасилы (XIII в.), Феодора Метохита (XIV в.), пришедших к идее переноса суверенитета и полномочий народа императору. Император получал власть из рук своих подданных. Поэтому столь важно было осмыслить качества подлинного правителя и цель политики – заботу об общем благе (как то выражено, например, в сочинениях Константина VII Багрянородного «Об управлении империей», X в., Кекавмена «Советы василевсу», XI в.). Но к этому

времени происходят весьма существенные изменения в структуре власти: публичная политическая власть все более и более эмансипируется, формируются различные политические институты и партии, государственный аппарат, профессиональное чиновничество, вес которых во внутренней политике империи существенно повышается. Соответственно этому происходят изменения и в политическом дискурсе, в котором начинает проводиться различие между двумя видами права – позитивным правом, имеющим дело с гражданским законодательством и управлением магистратами, и нормами власти, которые были представлены императором и определяли характер политического устройства и властных органов, как о том писали Михаил Эфесский в XII в., Димитрий Хоматиан в XIII в. Теократическое обоснование самодержавной власти все более замещалось идеями симфонии между церковной и светской властями и договорного происхождения права и государства

Начиная с античной мысли политическое действие и политические отношения отождествлялись с социальными действиями и отношениями. Политическое действие ориентировано на общее благо, которое представлено в государстве как совокупности традиций, обычаев, моральных и правовых норм. Правовые законы распадаются на две части, одна из них регулирует гражданские действия, другая – систему государственной власти, выборность государственных лиц и т.д. Основание этих законов – в справедливости. Тем самым практика государственного управления укореняется в моральности не только потому, что касается моральных качеств правителей, но и потому, что соотносится со справедливостью актов управления.

Вместе со средневековьем в политической мысли возникли новые проблемы, новые концепты и новые концепты их приложения. Креационизм западной средневековой мысли задавал совершенно иной – религиозно-теологический характер этическому обоснованию политики. Эта мысль исходила из существования двух Градов – небесного и земного и соответственно их двух типов власти – церковной и земной. Политическое действие, выраженное в управлении государством, ориентировано на блаженство и спасение. Бог – творец государства. Поэтому христианство отказывается от негативного отношения к земной жизни и к государству, санкционируя любую власть. «Всякая власть от Бога», – таковы слова ап. Павла. Речь идет не только о естественной необходимости государства, но и о религиозном санкционировании церковью государственной власти. В центре ее внимания находится проблема религиозного оправдания и легитимации социально-политического порядка и определение места человека в нем.

Уже Августин, проведя различие между земным и божественным Градами и связывая первый с себялюбием, а второй – с любовью к истинному Благу – Богу, задал совершенно иную перспективу в легитимации политики государства с помощью сакральных авторитетов, и прежде всего авторитета христианской церкви как мистического тела Бога и веры. Если в земном Граде

«господствует похоть господствования», то в божественном Граде «по любви служат взаимно друг другу и предстоятели, руководя, и подчиненные, повинуясь», царствует любовь, радеющая об общем и потому неизменяемом благе, делающая из многих одно сердце», «единодушное повиновение, основанное на любви» [1, с. 63, 70].

В средневековой теологии утверждается идея доминирования духовного начала, представленного христианской церковью, над земным и имперским. Теократическое обоснование власти связано не только с усилиями Карла Великого создать Священную Римскую империю, но и с поисками религиозно-этического обоснования государства, авторитет и деятельность которого были поставлены на службу божественного права, догматов христианской религии и ее предписаний. Линия, соединяющая в себе религиозную легитимацию императорской власти с требованием уважения со стороны власти закона и справедливости, представлена в XII в. у Иоанна Солсберийского, для которого король – образ Бога, он выше закона и сам является законом.

Однако уже в XIII и особенно в XIV вв. начинается процесс автономизации политической власти государства от церковной власти и поиск новых оснований легитимации государственного управления и политики. Это чувствуется в комментариях Альберта Великого к «Политике» Аристотеля. У.Оккам в ряде своих работ – «Краткая беседа о могуществе папы» (Breviloquium de postate papae), «Компендиум заблуждений папы Иоанна XXII» (Compendium errorum papae Joannis XXII, 1335-38), "О могуществе императоров и епископов" (Dialogus ... de imperatorum et pontificum potestate 3 v., 1343-39) проводил мысль о двух началах и истоках власти: папская власть ограничена, власть принадлежит церкви как общине верующих и авторитет ее обусловлен чистотой веры, светская же власть не нуждается в санкционировании папской властью и император не является вассалом папы. Эта линия, связанная с поисками секулярист-ской легитимации власти с помощью идеи светского авторитета, справедливости, договора, переноса суверенитета находит свое выражение в работах Дж.Уиклифа «О власти папы» и «О долге государя», Данте «О монархии», который подчеркивал, что «власть империи вовсе не зависит от церкви» [12, с. 310-312], Ж. Бодена «О государстве», который называл государством сообщество семей, усматривал в авторитете и разуме принципы государственного управления, а в абсолютной монархии лучшую форму государственной власти.

В эпоху Возрождения представители так называемого гражданского гуманизма видели в справедливости (iustitia) не только моральную и правовую добродетель, но и основание политики. Тем самым политика и система государственно-административного управления получала правовую и этическую санкцию. Сфера политического действия получала у них философско-антропологическое и этическое обоснование, поскольку они подчеркивали достоинство человека, его гражданскую активность, новые этические ценности (наслаждение, счастье, любовь и дружба как средоточие всех человеческих взаимоотношений

и политических сообществ). Государственность и согласие политических сообществ основываются на законности, на равенстве людей перед законом. Политика не просто этически окрашена, она пронизана моралью.

Среди проблем политики, которые обсуждались мыслителями Возрождения, – место человека в обществе, справедливые и несправедливые формы правления, общее благо как ведущая ценность общества-города, наилучшие качества правителя, не превращающие его в тирана, правовые нормы и институции, обеспечивающие поддержание и функционирование государственно-политической системы. Л.Бруни в работах «Восхваление Флоренции», «О Флорентийском государстве» подчеркивал рациональность структуры государственной власти во Флоренции, выборность всех государственных органов, создание магистратур для поддержания законности и правосудия, коллегиальность в принятии решений, обратив внимание на то, что республика превращается в аристократическую олигархию. В предисловии к своему переводу «Политики» Аристотеля он отмечал, что среди предписаний морального учения виднейшее место занимают понимание того, что такое государство и общество, знание того, благодаря чему сохраняется и от чего гибнет гражданское общество, описание различных форм государств, управления ими и путях их сохранения.

М. Пальмиери в «Речи о справедливости» и диалоге «Гражданская жизнь» называл справедливость основой согласия и порядка, выделив два ее типа: 1) «равенство для равных» и «неравенство для неравных», и 2) распределительную справедливость, связанную с воздаянием по заслугам и пропорциональностью налогообложения. Среди всех форм политической деятельности он особо выделял ту, которая совершается ради усиления и блага родины. Д.Манетти в «Речи о справедливости» называл справедливость добродетелью, которой «держится небо и управляется земля и ад» [46, с. 138] и выделял два ее типа – относящуюся к обмену и обращению и распределительную справедливость, связанную с раздачей должностей, званий и почестей. Д.Аччайуоли в «Речи перед Синьорией» называл справедливость универсальной, светоносной добродетелью, направленной на благо других и на общее благо государства. Эта «божественная добродетель, ниспосланная небесами нам» [46, 148] является нормой и мерой любой деятельности человека, тем знаменем, которое указывает лучший и совершенный тип правления. Итак, легитимизация власти на базе концепта справедливости привела к разграничению, по крайней мере, двух типов справедливости, одна из которых имеет отношение к экономическому обмену, а другая – к распределению должностей и ролей во власти.

В дальнейшем в развитии политического дискурса наметились две тенденции, одна из которых, представленная А.Ф.Дони, А.Бручоли и завершаемая Т.Мором и Ф.Бэконом, строила социально-политические утопии о наилучшем государстве, вынося его за пределы политической реальности, а другая стремилась освободить политический дискурс от норм официальной морали. К последней принадлежали Н.Макиавелли, Ф.Гвиччардини.

В противовес политическим деятелям и мыслителям, размышлявшим о государственном устройстве флорентийской республики, в Венеции и Милане реализовалась власть патрициата, например, аристократических семей Висконти и Сфорцы). Поэтому политический дискурс в этих городах свелся или к апологии этих семей, или к культу государственности, долга перед отечеством, святости законов. Г.Контарини в работе «Республика и магистраты Венеции» дал в 1544 г. не только апологию власти аристократической олигархии, но и описание государственно-административных институтов (многоступенчатой системы выборов Большого Совета, Сената, коллегий), причем подчеркивал, что гражданские права принадлежат только свободным, а ремесленникам, торговцам и слугам нельзя доверить власть. Он предлагает определенные меры по укреплению власти нобилитета – знати по крови. Д.Джаннотти в диалоге «О республике венецианцев», написанном в 1525–26 г.г., отстаивая идею смешанного правления (stato misto), предлагает меры по реорганизации системы управления во Флоренции, где утвердилась тирания Медичи, т.е. «создать Совет – орган оптиматов, различные коллегии (Совет двенадцати, Совет десяти, судейскую коллегию), сделать пожизненной должность правителя – гонфалоньера. Это и позволило бы, по его мнению, сформировать объединение свободных людей – citta.

Автономизация политики от этики связана с именем Н. Макиавелли, который в «Государе» проводил мысль о том, что сохранение власти государя связано с его умением отступать от справедливости и добра [28, с. 344-345]. В противовес ему И.Жантийе в работе «Анти-Макиавелли», написанной в Женеве в 1576г. и испанский мыслитель П.Риваденейра в книге «Христианский государь», вышедшей в Мадриде в 1595 г., не приемля автономизации политики от морали, настаивали на зависимости политики от морали, усматривали благо государства в хорошем правлении и в возникновении согласия всех, стремились дать религиозную санкцию государственной власти. Но даже в католической Испании идея божественного происхождения власти короля встретила оппозицию со стороны, например, Х.Мариана. В своей книге «О короле и об институтах королевской власти», изданной в 1599 г. в Толедо, он провел четкое разделение двух сфер управления обществом: папская власть управляет духовной жизнью, земная власть – мирскими делами. Марианна говорил о возможности их объединения узами любви и взаимного согласия.

В социальной философии Нового времени усиливается тенденция автономизации политики от морали и определение политики как сферы управления государством и гражданских обязанностей и прав человека. Правда, сохраняется и тенденция, истолковывающая политику в широком смысле и включающая в себя этические основания – осмысление общего блага, гражданских добродетелей и т.д. Т.Гоббс, отделяя политику от морали, включает в философию политики анализ таких проблем, как свобода и власть, причины возникновения государства – объединения людей, согласующих их волю и направляющих их к од-

ной цели, причины распада государств и формы государственного правления [11]. Он рассматривал государство как способ преодоления «войны всех против всех», присущее естественному состоянию и как гарант человеческих прав в обществе.

Б. Спиноза в «Богословско-политическом трактате» и «Политическом трактате» подчеркивал связь политики как государственного управления с властью и силой, умеряющих и сдерживающих страсти и необузданные порывы людей, со свободой человека, осуществляющейся в государстве. Д.Локк, проводя различие между естественным и гражданским состоянием, связал политику с изучением возникновения единых политических организмов – государств и с анализом принципов и целей правления (прежде всего сохранения собственности), форм государственного устройства [27]. Естественное право совпадает со здравым смыслом, а свобода с реализацией прав человека на жизнь, собственность и защиту в государстве. Для Монтескье политика – исследование различных форм и принципов правления, причем трем формам правления соответствуют три вида добродетелей: страх – деспотии, честь – монархии, подлинная добродетель – республике.

Д.Юм подчеркивал, что «политика рассматривает людей как объединенных в общество и зависимых друг от друга» [62, с. 81]. В эссе «О том, что политика может стать наукой», «О происхождении правления», «О гражданской свободе», «Идея совершенного государства» он обсуждал достоинства и недостатки различных систем правления, фундаментальные принципы правления, генезис государства, те изменения, которые следует осуществить в английской системе правления, чтобы приблизить ее к наиболее совершенному образцу. Д.Дидро связывал политику с проблемами сохранения власти, которая может быть основана или на насилии, или на согласии народа [51, с. 434-440]. Ж.-Ж.Руссо, различая естественное и общественное состояние, связывал политику с деятельностью государства, отождествляемого с гражданской общиной и социальным организмом. П.Гольбах определял политику как искусство управлять людьми и заставлять их содействовать сохранению и благополучию общества.

То, что политика образует специфическую и самостоятельную область общественной жизни, не совпадающую по своим нормам, ценностям и регулятивам ни с моралью, ни с религией, ни с экономикой, было осознано уже в первой половине XVIII в.: в эмотивизме А.Э.К.Шефтсбери мораль была понята как автономная от политики область, а М.Мендельсон подчеркнул автономность государства от религии, поскольку государство, вводя законы, взывает к силе, обязывает и принуждает, а религия, формулируя заповеди, взывает к любви и милосердию, учит и убеждает. А.Смит отделил учение о государстве от теории национальной экономики, правда, позднее К.Маркс введет политическое измерение в исследование экономической жизни и будет говорить о политической экономии. И. Кант, проведя различие между юридически-гражданским (политическим) и этически-гражданским состоянием, связывал возникновение полити-

ческих отношений между людьми с подчинением их в общественном порядке публичным правовым законам, которые имеют принудительный характер [21, с. 163]. Тем самым сфера политики совпадает у него с гражданско-правовым состоянием, с политической общностью, представленной в государстве и его правовых законах. Для Фихте политика– это применение учения о праве к существующим формам государства. Гегель включает в «Философию права» рассмотрение проблем гражданского общества и государства, но, отождествляя государство с действительностью нравственной идеи, возрождает уже преодоленное этическое обоснование политики.

В этот же период начинает проводиться различие между государством и обществом, каждая из которых становится специальной областью исследований – политики и социологии. Уже немецкие романтики сравнивали государство с машиной насильственной власти, а общество – с организмом. В.Гумбольдт обратил внимание на пределы государственной деятельности. А.Сен-Симон проводит различие между общественной организацией и делом управления. О.Конт – между учениями о функционировании социальных систем (социальная статика) и их развитием (социальная динамика), которые противопоставляются социальной политике – программе социального действия. А.Шеффле провел различие между управлением и политикой, которая имеет дело не с существующими правилами и предписаниями, а с решениями, находящимися в процессе становления и ведущих к новообразованиям. Итак, происходит все большая автономизация политики как специфической сферы общественной жизни от социальной системы в целом, от проблем управления, политической теории от социологии и от теории государственного управления. Правда, и в этот период сохраняется стремление понять политику как прикладную социологию (например, у Л.Гумпловича).

Решающей линией в трактовке политики как самостоятельной сферы общественной жизни в начале XX в. являются различные варианты определения специфики политики как системы властных отношений и институтов власти. Власть оказывается тем феноменом, с помощью которого осмысляется вся область политики. Так, для М.Вебера политика «охватывает все виды деятельности по самостоятельному руководству» [8, с. 644], где главным средством выступает насилие, а целью – власть. Процессы рационализации принятия решений в демократических режимах власти были проанализированы К.Манхеймом. Сам феномен власти получает различную трактовку - или как власти элит, или как власти господствующего класса, или как поля, пронизывающего все виды взаимодействия людей. Так, для В.Парето политика связана с формами правления, движущей силой которых является циркуляция (круговорот) элит. Эта же линия продолжена Г.Моска, для которого политическая наука – это наука о правящем классе или элите. Причем эта форма политического устройства присуща, по их мнению, не только деспотии, но и демократии. Й.Шумпетер выдвигает идею «элитарной демократии». С середины 30-х годов нашего века политика

как наука все более и более отождествляется с исследованием феномена власти. Эта ориентация политики на исследование феномена власти, воли к власти, мотивации любых форм деятельности структурой властных отношений выражает собой те изменения, которые произошли в социально-политической и экономической реальности в XX в.

Если классический капитализм основывался на автономизации различных сфер общественной жизни (политики от экономики, от морали, от культуры), а идеология либерализма отстаивала именно автономность и нередуцируемость политики к другим областям человеческой жизни, подчеркивая специфичность ее норм, регулятивов и ценностей, то в XX в. наблюдается обратный процесс – проникновения политики, отождествляемой с властью, во все сферы жизни. Как заметил К.Шмитт, «области, прежде 'нейтральные' – религия, культура, образование, хозяйство – перестают быть 'нейтральными' (в смысле негосударственными и неполитическими)» [57, с. 292].

Вместе с определением политики как власти происходит тотализация политики, ее распространение на все области человеческой жизни – от семьи до государства, когда все становится политическим. Шмитт усматривает критерий политического действия в различении друга и врага, в восприятии другого как чужого. Этот экзистенциальный критерий политики показывает, что даже межличностные отношения людей могут быть нагружены политическим содержанием, коль скоро партнер оказывается чужим и даже врагом. С помощью этого критерия Шмитт достигает осознания интересов противоположных групп (классов, партий) внутри государства как организованного политического целого, подчеркивает борьбу между противоположными по интересам групп, даже военную борьбу. Р.Гвардини также обращает внимание на противоположности, существующие в социально-политической жизни между людьми и группами [67]. Наибольшей силы эта тотализация политики как власти нашла свое выражение в тоталитаризме, где политическая власть пронизывала все области жизни и подавлена система разделения властей. Особенности тоталитарных движений и режимов были проанализированы Х.Арендт, Н.Боббио, М.Джиласом. Р.Арон, связав политику с программой действий и деятельностью людей, групп и правительства, предложил типологию политических режимов, дал сравнительный анализ политических систем (прежде всего демократии и тоталитаризма).

В современной политической науке, которая окончательно выделилась из философии и социологии, проводится различие между политической наукой и политической философией как выявлением оснований политики (Л.Штраус), подчеркивается связь политики с опытом человека и культурой общества (Р.Коллингвуд, Р.Оукшотт), выявляются особенности политической культуры демократии, понятой как распределение образцов ориентации относительно политических объектов среди граждан нации (Г.Алмонд), раскрывается значение самоуправления в механизме власти (Э.Кардель), дается системный анализ ди-

намики политических систем (Д.Истон), многообразия политических институтов как механизма власти и подчинения (М.Дюверже), демократии как полиархии элит, сформированных по критерию заслуг (Д.Сартори). В политической науке осознается своеобразие политических систем, не сводимых ни к государству, ни к устройству управления (А.Турэн). Структурный функционализм (Т.Парсонс), исходя из оппозиции процесс-структура, рассматривает власть как ядро политической системы, которое пронизывает все остальные подсистемы общества (экономическую подсистему, подсистему интеграции и поддержания культурных образцов, процессы институциализации власти).

Этой линии, подчеркивающей интегрирующую функцию политики в обществе, экономике и культуре, противостоит другая линия, делающая акцент на конфликтности современного общества с его различными группами интересов, партиями, группами и классами. Так, для Р.Дарендорфа, отстаивающего идеалы нового либерализма и приоритет социального государства, гарантирующего в отличие от политической демократии минимальный уровень цивилизованного существования, конфликт - творческая основа общества. В теории коммуникативного действия. Ю.Хабермаса коммуникация понимается как источник политической власти, а ее легитимность, испытывающая в наши дни кризис, достигается благодаря политической системе. Согласно М.Фуко, власть в обществе рассредоточена и осуществляется из бесчисленных микролокальных точек в сети отношений власти. В противовес институциализму, отождествляющего политику с системой институтов власти, Фуко исходит из допущения континуума власти, где государство является общей рамкой дисциплинарных институтов и отношений власти.

Итак, ведущий тренд в уяснении сути политики заключается в ее автономизации от разных сфер социальной жизни и поиск путей ее собственного определения. Процесс автономизации политики предполагал не только модификацию и даже радикальную трансформацию способов ее определения, но и отказ от прежних отождествлений и способов легитимизации с помощью этики, практического разума, религиозного опыта, включения ее сферу деятельности с такими ее характеристиками, как волевое решение, его осуществление, управление, государственное законодательство, камералистика и т.д. Каждый шаг в самоопределении политики, в отказе от прежних форм ее санкционирования и в поиске новых форм ее легитимизации сопровождался новыми формами отождествлений: определение политики в рамках этики добродетелей сменилось поворотом к санкционированию политики с помощью религии и ее институций, умаление религиозного санкционирования политики привело к правовой легитимизации политики в рамках национально-государственной жизни, определение политики через национально-государственное право сменилось возвращением к новым отождествлениям политики с экономикой и правом, когда стали говорить о политической экономии и о правовой политике, наконец, политика была отождествлена с принятием решений и их реализацией в актах воли элит,

которое опять-таки сменилось идентификацией политики с господством и властью. В ходе таких модификаций и трансформаций смыслов понимание политики изменялось, конечно, трансформировалось и понимание политического сознания. Но ведущей линией в трактовке политического сознания было отождествление его с идеологиями, утопиями и политическими теориями.

Этот долгий экскурс в историю политических идей понадобился для проведения одной линии, ведущей сперва к централизации, а затем к автономизации политики без углубления в существо представленных идей. На это, мы уже писали, обратил внимание Фуко, предложивший другой ход мысли: «о развитии технологий власти, обращенных к отдельному индивиду и предназначенных управлять им последовательно и непрерывно» [54, с. 287]. В качестве примера таких технологий он приводит пастырство, называя его индивидуализирующей властью. Смысл пасторства, по Фуко, возникшего в жизни и мысли Древнего Востока (Египет, Ассирия и Иудея), а затем вместе с христианством перебравшегося в Западную Европу, заключается во-первых, в том, что пастырь – это бог или царь, спасающий свой народ через «непрерывное, индивидуализированное и благосклонное участие», заботясь о пропитании, участвуя в каждом отдельном индивиде, находясь в постоянном бдении. Именно эти общества, «способные на…ошеломляющее насилие», породили многочисленные политические структуры и технологии, полностью перевернувшие структуры античного общества [54, с. 291].

Вопрос в том, так ли это.

Обращаясь к политическим текстам Исократа, Демосфена и Аристотеля, Фуко не находит в них метафоры пастырства, хотя находит их в пифагорейских текстах и у Платона, которого он склонен в данном отношении причислять к пифагорейцам. Но о чем ведет речь Фуко, анализируя диалоги Платона, прежде всего «Политику»? О том, что пастырем может быть не только царь, но много разных людей, например, врач, учитель гимнастики. И, следовательно, задача политика – лишь обеспечить единство полиса, в то время как в христианстве «пастырь должен отчитываться не только за каждую овцу, но и за каждое из действий овец, за все хорошее и дурное, что они способны сделать, за все, что с ними происходит» [54, с. 297]. В христианстве, по Фуко, отношения между пастырем-Богом и овцами являются отношениями личного подчинения, и это совершенно справедливо, как справедливо и то, что эти отношения индивидуализируются. Знание каждой из овец – частное знание. Исследование сознания и направление сознания оказывались завязанными в один узел причастия Богу при умерщвлении себя для мира. Сказанное относится к раннему средневековью (что под ним понимает Фуко – неясно). В период образования государств в современном смысле слова (очевидно, имеется в виду период с XVI в.),.то он не стал периодом «торжествующего пастырства» [54, с. 301] по разным причинам, хотя она и не исчезла.

Фуко прекрасно понимал фрагментарность своих построений (он, как сам говорил, «не вдавался в подробности» [54, с. 302]), а потому натяжек много и в первом и во втором случае. Если вспомнить Платона, то его диалог «Государство» многое объясняет в идее пастырства. Оно-то как раз для Сократа (в отличие от Фрасимаха, считавшего, что пастухи заботятся об овцах не ради них самих, а ради блага их владельцев), было наилучшим выражением справедливости (345 с - 345е). Фуко, не желая того, использует в анализе диалогов Платона не «специфическую политическую рациональность, порожденную государством» [54, с. 303], а «разум вообще», выдавая его за «частный тип рациональности». Рациональность власти действительно была осознанной, но не в этих терминах.

Для Сократа с его желанием утвердить чистоту эйдоса, к чему стремился желающий отведать мудрости, была ясна несправедливость тех, кого он называл софистами, то есть взимающих плату за свое служение. К ним он относил также риторов и политиков. Это действительно «частный тип рациональности». Стремление заработать деньги и получить почетные должности не принадлежали к сократической жизненной мудрости, а потому он желал остаться частным человеком. И пастырство нельзя назвать средневековым (пусть и раннесредневековым) идеалом, поскольку в варварских королевствах всегда было личное подчинение своему непосредственному начальнику, а потому вассал моего вассала не был моим вассалом, что породило необычайную пестроту личных взаимоотношений между Богом и человеком, с одной стороны, между индивидом и светской властью, с другой, между членом общины и общиной, в-третьих, между господином и слугой, в-четвертых.

Принцип личной свободы каждого действительно отличал политическое средневековье от античности, но одновременно породил и государственное единообразие. Там при едином эйдетическом разуме было политическое разнообразие, а здесь при причащающемся Богу разуме политическая мысль остановилась на монархии. Победила ли она античную мысль? На тысячелетие – да, но потом на основании нового возрожденческого рационализма заставила ее воскресить. И хотя в средневековье и в эпоху Возрождения, как и в античности благо государства предполагало справедливость, все же само управление называлось искусством, то есть техникой, и эту технику применяли курфюрсты при выборах короля, а Макиавелли («Государь») написал специальное наставление, как пользоваться этой техникой. В этом не было ничего удивительного, это были практики внутри некоего единого поля жизни и поля внутреннего ее осмысления. Мысли Сократа не преследовали установлению централизации власти, поскольку основывались на совершенно других основаниях, как не было такой цели и у Фомы Аквинского, ибо и без него мир предстал как теоцентричный, но в то же время живший в условиях противостояния двух мечей – сакральной и светской власти.

И в античности и в средние века люди не работали на нашу современность. Они работали и жили для себя. Пастырь своего вассала, сеньор, скажем Прованса, не был пастырем для вассалов нормандских сеньоров. Эту идею вполне можно признать объективно пригодной и для античности, и для средневековья, и тем более для нашей технологически устремленной на индивида современности. Но сама идея власти не превалировала над идеями Слова, свободы и свободного решения, предопределения, воплощения, спасения, а там – эйдоса, незнающего знания, единого и его отношения к времени, к бытию и пр., если, конечно, все это не свести к власти (говорят же о власти слова), не поддаться редукционистской методологии и не показать возможности независимости дискурса от контекстов (которые не всегда присутствуют в качестве контекстов из-за слишком туманных описаний некоей суммарной вещи), их подчиненности неким принятым практикам.

Однако каков смысл в подобной нивелировке старых и новых практик?

Если не установлены самые жизненно важные и философски осмысленные принципы свободы, собственности, определения человека, самого определения как такового? Иначе мы рискуем «снять историю» даже не дойдя до нее, и найти основания для, скажем ГУЛАГА, которого не было во Франции или Италии, в идее пастырства, а основания Освенцима в предельно развитом рационализме в духе Гоббса, с которого, возможно, началось «политическое новое время» и который речь считал простой регистрацией мыслей, разум счетом, а рассуждение «образует в уме лишь итоговую сумму путем сложения частей или образует остаток путем вычитания одной суммы из другой» [11, с. 58].

Глава 2. Философия и политика как стремление к общему

Философия политики – сравнительно новая дисциплина. Более того, ее можно отличить от другой дисциплины, называемой политологией, на том основании, что философия политики в принципе не занята политтехнологиями, анализ которых входит в состав политологии как дисциплины, но выявлением принципов общего бытия, что изначально роднит философию и политику. Более того, их связывает и то, что в основаниях той и другой лежит состязательный агон, борьба за схватывание того, что в руки не дается, мучительная схватка на грани жизни и смерти, получившая имя агонии и связанная с рискованным усилием понять. Сократ, всю свою жизнь пытавшийся добраться до самой сути главных вещей мира, таких как справедливость, знание, речь и язык и пр., в конце любой своей попытки это осмыслить, пришел в результате к одному только выводу: я знаю, что ничего не знаю.

Напомнить о том, что политика вновь вошла, как во времена Аристотеля, в состав философии заставил XX век, на флаге которого написаны два слова – Освенцим и ГУЛАГ (создание разного типа бомб, массовый террор – акты, продолжающие линию этих событий, поскольку их осмысления нет). Эти два

разных события, которые, разумеется, надо рассматривать отдельно, отставив в сторону политиканские соображения о поражении левой или правой *философской* мысли, если мы хотим заниматься собственно философствованием начала, у которого нет сторон, изменили само философствование.

Крен в сторону истории философии можно объяснить тем фактом, что ужас, исходящий от этих двух событий, не преодолен. Мы видели статью с названием «обжить катастрофу». На наш взгляд, катастрофа не обживается. Она меняет разом все. И зная о том, что разом изменилось все, но не зная, во что это изменилось в мысли, философ преобразился в специалиста, но не по универсумам, по истории, с одной стороны, и по политтехнологиям, с другой. Этим можно объяснить и крен в сторону истории философии и крен в сторону философии политики. И та и другая – щели, в которые можно нечто подсмотреть, закрывшись от ужаса. Исключение составляет философия М. Хайдеггера, которая не случайно возымела такой успех, поскольку заставила обратить внимание на ужас, правда не персонифицированный и такой, что произнесенный звуками речи он уже ужаса не вселяет. Молчание философии в данном случае как раз и обусловлено невместимостью этого ужаса, переживаемого всем существом человека, нутром, незадетыми мыслью прожилками, в мысль как свидетельство ее глобальной отделенности от бытия, от ее некорреспондентности с ним. Ведь и Хайдеггер, осмелившийся поднять веки бытия, все же не заглянул в его глаза.

Это, видимо, чувствовал Р.Декарт, не переживавший ни Освенцима, ни ГУЛАГА, но пытавшийся проникнуть глазами во все соединительные ткани человека. С этим, по-видимому, связан долговременный отказ от публикаций, писание в стол. Философия – человеческое стремление, а здесь задачей было уничтожение человечества, представленное как один народ. Если вся философия может быть представлена как политика, если даже Бог может быть описан только как Благо, как Красота или Ум, если один Сократ представлял всю философию, то почему бы одному народу не представить все человечество? Философия молчит.

Декарт, заставивший обратиться к естественному свету разума, предполагал возможность невозврата к метафизическим корням: дисциплины, и какие дисциплины – медицина, механика, этика! – рвутся ввысь. И вот уже медицина стала механикой, как и этика. Их взаимопревращение в XX и XXI веках столь ощутимо, что вновь надо идти на поиски своего собственного, своей собственности и своих прав. В молчании философии, ищущей всеобщих оснований мира, скрыта небывалая сила. Политика как общее дело людей – поверхность этих всеобщих оснований. Попытка через это общее дело понять дело всеобщего и заставила создать философию политики. Она требует включения этого дела в опыт мысли, без которого все разговоры о метафизике в философии, больше – о самой философии несостоятельны, и она, поскольку стремление остается, долго будет вынуждена влачить тягостное существование.

Многие философы сейчас обращаются к кризисным эпохам именно ради приобретения этого опыта. Разрушение Карфагена сродни геноциду. Библейский потоп еще хуже. Но в религии есть вера. Есть вера и в философии: любой акт полагания – верующий акт, осмысленный как акт, положенный разумом. Найти корень такой подмены веры разумом – это, возможно, оказать неоценимую услугу и вере и философии. Но вера в данном случае – не религиозная вера, это, как и разум - способ понимания.

Поэтому вызывает сомнение иногда возникающее желание осуществить *синтез* философии, экономики, политики, социологии, прежде всего потому, что такого рода синтез предполагает отношение к философии как дисциплине, в то время как в ее задачу, в задачу стремления к мудрости, если уж оставлять за философией имя философии. Входит, повторим, выявление всеобщих оснований, которыми вовсе не обязаны заниматься прочие науки. Если исходить из такого понимания философии, как занятия принципиально недисциплинарного, а потому в известной степени непрофессионального, – поскольку философ, следуя к началам, ставит себя в точку неопределенности, в ту точку, где начал еще нет, и они еще только могут быть, – то нельзя исходить при исследовании любого феномена с позиций какой-нибудь *школы*. Под школой понимается часто не ее исконное значение *остановки* с ее попытками терпеливого вглядывания в вещь, а строго определенный набор уже сложившихся представлений и правил. Тем более что расколдовывание мира, начатое в XVII в., когда древо философии обратило свои ветви к естественному разуму, в XX в. завершилось «новым очарованием мира», провозглашенным И.Пригожиным, проанализировавшим термодинамику неравновесных систем.

Многие философы пытались в разное время дать определение философии, но всегда получалось так, что они давали определение своей философии, того, как они понимают философию. М.М.Бахтин – через идею поступка, В.С.Библер – через идею диалога культур, М.К.Петров – через лингвистику и номотетику. Мы сейчас упомянули несколько российских имен (можно назвать и другие) только потому, что они – свои, что они языком своим ближе к нам. И они не менее чем западноевропейский опыт (о котором говорят как об истинной философии, у которой нам бы надо учиться, а потому зачастую вместо собственной мысли нам предлагают плохо изложенную европейскую[4]) свидетельствуют моменты расставания философии с метафизикой. Такое состояние совершенно справедливо назвали кризисом философии, который случается тогда, когда предмет философии, сама истинность, исчезает из поля зрения, оставляя философам одно стремление, которое, лишившись телеологичности, направляется не по старому сократическому обычаю на то, не знаю что, а на написанную, данную историю философии, представленную в качестве пакета знаний, тем самым облегчая задачу поисков неведомого «Х», находя и сводя разные филосо-

[4] Сам европейский опыт философствования можно свести к древнегреческому, не позволяя собственно мыслить себе самому и словно бы перелагая на «их» плечи тяготы мысли бытия.

фии друг к другу, архаизируя новые мысли или модернизируя старые, в зависимости от поставленной перед собой задачи, переводя философствование в игру ума.

Однако (судя по конкурсам в вуз) по-прежнему остается древнее и всегда новое любовное стремление к мудрости, несмотря на скептические переопределения философии как специальности, занимающейся универсумами, и пр. Чрезвычайная страстность нынешней политики, изменение политической карты мира, политических состояний разных стран особенно в свете глобализации словно бы естественное указание на ту точку напряженности, в которой, как многие посчитали, могли разместиться если не мудрость, то те усилия философов, жаждущих их применения. И в этом смысле политика есть уже не предмет философии как некоей философии, которая каким-то боком стала анализировать эти политические состояния, а сама является философией. Политика является не какой-то неведомо какой политикой философии, но философией как политикой, как одним из фокусов, через который она может явиться вся, подобно тому, как Сократ являл собою саму добродетель, или Красота, Благо и пр. у Псевдо-Дионисия Ареопагита целиком предъявляли Бога.

Кажется, что это более интересный способ схватывания политического целого как только всегда начинающегося *опыта мысли*. Это и есть собственно концепт, не понятие или термин, к которому жестко привязывается некое политическое состояние, от которого его потом трудно оторвать и через который его можно соотносить с Сократом или Хайдеггером (редуцировать к Сократу или Хайдеггеру, а то и к обоим вместе), а именно завязь чего-то нового, с чем мы еще не имели дело и что рождается на наших глазах, меняя форму и очертания, ломая старую терминологию, вводя в нее новое содержание, придавая этим ситуациям новый смысл, оставаясь при этом внутри старого языка, который с трудом расстается со своими завоеваниями.

Говоря о рождении нового, мы говорим о свободе этого рождения, не обусловленной никаким решением (никакого решения еще нет). Это не arbitrium liberum – *свобода выбора*, а сама libertas, *свобода*, которая персонифицирована в том, кто ведет дело начинания. Как правило, о том, что начинание и есть свобода, не говорится, это подразумевается как само собой разумеющееся, знание такой свободы воспринимается как сама способность мыслить. Однако состояние свободы – не только состояние мысли, оно требуется и для определения социального и политического статуса человека. Определение теоретического статуса любого человека как свободного в Западной Европе завершилось в эпоху Просвещения созданием Общественного договора, в России формально во второй половине XIX в. отменой крепостного права, признавшего природное равенство людей (юридически значительно позже, когда равные права с мужчинами получили и женщины). Однако слова о свободе последние два десятилетия произносятся часто в связи с политическими статусами стран друг относительно друга и соответственно людей. При смене власти в России в 1991 г. всем

входившим в ее состав народам было обещано столько суверенитета, сколько те смогут его взять.[5]

Само это вынесение суверенитета заставило обновить старую проблему свободы, поскольку свершилось это на почве политики, изначально предполагающей *выборы*. Даже исполняя некую политическую, пиаром обставленную акцию, выбирающий поступает *или* как стадный человек (animal), покорно поднимающий руку как жест согласия с тем-то и тем-то, и такого человека-специалиста принимал любой институт как целое, выживший в условиях всеобщей жестовой согласности и выживший, как институт, только полностью слившись с властью, не выбирающий и не выбиравший (примером могут служить разнообразные философские институции); *или* как индивидуальный, собственный, свой, и это означало выдавливаемость мыслителя-одиночки из любого института, а если он там некоторое время оставался, это означало, что до него не дошли руки. Большая часть таких одиночек или металась с одной работы на другую, или (меньшая) эмигрировала, или отправлялась в ссылку, а то и в лагеря. *Ни в одном философском институте не было возможности сохранения философии*, хотя были отдельные *историки* философии, умело редуцировавшие понятия друг к другу и успешно проводившие в дело мысль о том, что история философии и есть сама философия. Нет никакой уверенности, что мог сохраняться и философский профессионализм, если таковое слово вообще может быть привязано к философии. *Ибо философия, если это философия, настолько по сути непрофессиональна* («я знаю, что ничего не знаю»), что сохранять здесь можно только некий тезаурус сведений; осмысление же и постановка проблем внеконфессиональны, внеинституциональны и даже внешкольны, если под школой понимать попытку некоторых философов проработать некую проблему, отталкиваясь от определенной философии. Но поскольку каждый создает свою всеобщую философию, то они выступают как отдельные философии, каждая – начинание, поэтому при единстве стремления мир оказывался множественным и поэтому же вопрос об истории весьма серьезен.

Ибо есть история и история.

Глава 3. Философия как стремление к смыслу и как порождение смысла

Кадм, сын финикийского царя Агенора, который считается первым, кто открыл письменность для продления памяти о прошлом времени и для взаимной связи людей разных возрастов и эпох, можно сказать, был и первым историком. Но обычно, когда говорят об истории, имеют в виду документально под-

[5] Почему-то при этом вспоминается реклама банка «Империал» об осаде некоего города неким конунгом, разрешившем покинуть город женщинам со всем самым ценным для них – те взяли с собой израненных мужей. Вот эта свобода решения взять столько суверенитета, сколько можно, напоминает этих израненных мужей, ибо сама свобода за советские годы была настолько изранена, что спасти ее можно было только при условии такого выноса.

твержденную историю, историю свидетельств, всеобщую (всемирную), христианскую. Эта история в XIX в. была обмирщена и «онаучена», разбита – на образец науки – на дисциплины, оснащена не только Божественным законом, но и мирскими законами, получившими имя законов истории, чаще всего связанных с формационными и экономическими марксистскими законами [36].

Отсюда до сих пор сохраняются неизжитые параллели «капитализм – социализм», «материализм – идеализм», «демократия – диктатура» и пр. Метафизика при этом присутствовала всегда, ибо всегда – в западной ли, в восточной ли Европе - велись разговоры о существе-сущности власти, пояснения к этому существу, попытки дать определения власти, народа, права, описания форм собственности. И это было не только в России, но и в западных странах. Другое дело, что иногда эти описания-определения выражали суть дела, чаще же они были всего лишь метафорами, не относящимися к реальной жизни. Так, вряд ли кто, кроме сентиментально настроенных носителей «пятого пункта», всерьез верил, что в России к 70-м годам XX в. сформировалась новая общность «советский народ», слишком быстро развалившаяся уже в середине 80-х. Это, если и имеет какое-то отношение к понятию истории, то точно не к марксистским законам, а к некоей болезни истории, к ее вырождению, к замещению ее некоей виртуальностью, словом, не имеющим референта, но воздействующим на разум так, словно речь идет о реальности. Вот здесь мы действительно столкнулись с забытым христианским представлением о мире, сотворенном из двух природ, одна из которых божественно-благая, другая – ничто, которая и отнимает от первой ее благо.

Но неужели история связана с философией лишь постольку, поскольку в ней рождались философы? Для того ли надо изучать опыт их мысли, чтобы не повторять его и суметь начать новый как бы с чистого листа? Но тогда зачем вообще память? Очевидно, что речь идет не о точном повторе опыта: этого сделать нельзя, ибо иначе мы имели бы дело с тождеством, и это вело бы к тому, что истории как памяти нет, а раз у нее нет памятных следов, меток, регистрирующих ход мыслей, то нет и самой истории, и времени, поскольку время осознается в том числе и как память.

История – хранитель не только следов событий, но, может быть, прежде всего невостребованных смыслов. Смысл же подразумевает самое изменение выраженной словами мысли, ибо постоянно меняющие значения слово и мысль – другие в разные моменты своего выражения, они всегда больше тех наличных знаков, которыми они выражены в каждый данный момент высказывания или мышления. Поэтому история – не просто регистратор событий, она – такой хранитель смыслов, который может проявить себя в каждый момент времени не по-новому (это могло бы вести к редукционизму), а как только сейчас понятый и рожденный. Она сродни реке, в воды которой нельзя ступить дважды.

История – спасение для цепляющегося за нее от ужаса неведения настоящего, и она же – то, что открывает этот ужас перед мужественно глядящим в неизвестное будущее, никогда не несущим с собой того настоящего, в котором был первый, прокладывавший дорогу, но всегда несущий с собой то *своё* настоящее, в котором рожден испытующий ее.

В свое время Платон в диалоге «Парменид» составил непривычную линию движения времени для впередсмотрящего: это не прошлое → настоящее → будущее, а настоящее → прошлое → будущее. При этом тот момент времени, в который появился человек, идущий вперед, не исчезает ни в прошлом, ни в будущем, он всегда при этом человеке [452, с. 152cd.]. Потому любой человек – всегда не «тот» человек. Как говорил Петр Абеляр, «тот» – не «этот». И потому бессмысленны любые попытки снять историцизм в любом виде знания. Тем более в политике, которая всегда актуальна, но которая постоянно находится в споре с предшественниками.

Критик историцизма Лео Штраус, один из ведущих представителей политической философии, полагал, что «типичный для XX в. историцизм требует, чтобы каждое поколение заново перетолковывало прошлое на основе своего опыта, глядя в собственное будущее» [цит. по: 44, с. 14]. Перетолковывание для Штрауса имеет смысл изменения, отвержения постоянства в человеческой природе и зависимости от будущего. Гадамеровский смысл интерпретации, предполагающий захваченность узнаванием, которое есть ты сам и которое обладает «доверительной интимностью» и опознается как своё, здесь не учитывается. А потому смысл интерпретации оказывается суженным, возможно, действительно ведущим к политическому конформизму. Но опознание в прошлом своего, собственного устанавливает с ним партнерские отношения, носящие характер взаимопомощи и взаимообоснования, в диалоге с которыми между ними, за границами обоснований вырастает новая вещь, применительно к политике – новые политические взаимоотношения. Возврат к прошлому (новых поколений и новых социальных сил) оказывается возможным в силу плохо опознанного своего, в силу вялости усилий своего собственного. А то, что «постоянное в человеческой природе и в истории» сохраняется, свидетельствует наличие одних и тех же форм правления – установленных древними монархии, тирании-деспотии, олигархии, демократии в их отклоняющихся от образцовых формах. Более того, при любом строе любой эпохи основополагающими остаются отношения к праву и собственности, связанные с отношением людей друг к другу.

Философия как политика не только для нас сейчас приобретает уникальную значимость. Она таковой была всегда в моменты разломов, иногда в прямом смысле слова. Достаточно напомнить крито-микенскую трагедию, в результате которой мир получил универсально-понятийное мышление [см. об этом: 41] и все формы правления, которые существуют в западной части мира до сих пор. Ибо все эти формы – и монархии, и аристократии, и политии – основаны на этом универсализме и иерархии властей (достаточно почитать

Платонову и Аристотелеву «Политии») и часто отмечены не геологическими катаклизмами, но уж точно катаклизмами мысли и социальности. Можно вспомнить и Гоббсова «Левиафана», рожденного в момент революционного кризиса в Англии.

Глава 4. Концепты политического сознания: от моделей рефлексии к моделям коммуникации

В истории политической философии сосуществовали и сосуществуют альтернативные линии в трактовке политического сознания, будь то личности, группы и даже общества. Одна из них делает акцент на прозрачности сознания, его подвластности рефлексии, на определении бытия через процедуру рефлексии. Характеризуя политику как контролирование актов деятельности и ее результатов, этот подход исходит из того, что контролю сознания подчиняется все и вся в социальной жизни. Цель политического сознания – уяснение и осуществление контроля за социальными процессами и напряжениями, избавление общества от деформаций и кризисов, выявление глобальных проблем и глобальных кризисов (экономических, экологических и др.) и, наконец, осуществление контроля за собственным поведением и межличностными отношениями. Итак, при таком подходе акцент делается на ясности, открытости, транспарентности (конечно, не для всех, а лишь для вышестоящих инстанций) и на контроле за социальными явлениями и процессами.

Вторая линия в политическом сознании обращает внимание на существование в любом сознании нерефлексивных слоев, не поддающихся рефлексивному контролю процессов, образующих скрытое ядро познания и самосознания. Эти скрытые, не поддающиеся рефлексии слои сознания могут по-разному называться – бессознательное, предустановки, предрассудки, фоновое знание и т.д., но существенно то, что они не просто фиксируются в сознании, но и осознается их фундаментальная роль в сознательных актах.

И.Берлин обратил внимание на использование в политических исследованиях различных моделей – от заимствованных из естественных наук до собственно гуманитарных: «научная процедура нацелена в первую очередь на то, чтобы создать идеальную модель, с помощью которой можно проанализировать определенную часть реальной действительности и, так сказать, привести ее в соответствие с этой моделью; так, чтобы эту действительность можно было описать и проверить в терминах ее отклонения от модели» [7, с. 48]. В картине мира, создаваемой науками, существует одна или несколько моделей или парадигм, которые определяют как содержание, так и форму убеждений [7, с. 97]. Различая концепты, категории и модели, среди моделей в сфере политики Бер-

лин перечисляет такие, как общественный договор, патриархат, органическое общество, негативная и позитивная свобода и др.[6].

Модели рефлексии в политической философии. Рефлексия — понятие философского дискурса, характеризующее формы концептуализации и теоретической деятельности человека, которые направлены на осмысление своих собственных действий, культуры и ее оснований; деятельность самопознания, раскрывающая специфику душевно-духовного мира человека. Рефлексия в конечном счете есть осознание *практики,* мира культуры и ее модусов – науки, искусства, религии и самой философии. В этом смысле рефлексия – способ определения и метод философии, а философия – рефлексия *разума.* Рефлексия мышления над предельными основаниями знания и жизнедеятельности человека составляет собственно предмет философии. Изменение предмета философии выражалось и в изменении трактовки рефлексии. Рефлексия имеет два смысла - размышления, объективирующегося в языке, действиях, в том числе и политических, и произведениях культуры, и собственно рефлексии, размышляющей об актах и содержании чувств, представлений и мысли.

Одной из проблем, поставленной в связи с процедурами рефлексии, была возможность существования дорефлективного и в принципе нерефлектируемого опыта. Если классический рационализм, фиксируя сферы аффектов и воли, все же не допускал существования до и внерефлективного опыта, постепенно расширяя сферу действия рефлексии от восприятия до воли, коль скоро рефлексия предполагает усилия мысли и воли, то иррационализм подчеркивал нередуцируемость непосредственного опыта, его изначальность и неподвластность рефлексии. Нередко рефлексия отождествляется с процессами самосознания, самопознания, самопонимания и понимания *Другого*, хотя уже давно в истории философии акты самосознания относились к антропологии и психологии, а акты рефлексии - к способам организации и обоснования мышления, ориентированного на постижение истины, и тем самым к внеличностному, трансцендентальному и божественному знанию.

Выдвижение идеи рефлексии и ее приложение к познавательным актам было связано с метафизикой света и с трактовкой знания как "естественного" или "божественного" света разума. Особенностями рефлексии являются 1) ретроспективность, предполагающая, что мысль поворачивает назад к опытно-постигающему субъекту, 2) делает объектом размышления его акты и их содержание, 3) противостоит созиданию и предметно-практической деятельности, 4) продуцируя свою субъективность 5) и проводя отстраненную дистанцию между тем, что рефлектируется, и субъектом рефлексии. Метафизика субъективности, рассматривавшая рефлексию как мышление о мышлении, противопоставляется в современной философии онтологической интерпретации актов понимания, неотторжимых от той действительности, с которой они сопряжены и которую

[6] Об этом различении И.Берлина см. [71]. В переводах на русский язык работ И.Берлина это различение исчезло, хотя в ряде работ оно фиксируется (например, в диссертации О.Л.Мартыненко [30, с. 4, 16]).

они выражают. Мышление трактуется как мышление-в-потоке жизни, а дистанцирование, в которой делается акцент на рефлексивной трактовке мышления, рассматривается как ограниченное и требующее деконструкции.[7]

Как мы видим, существовали и существуют различные исторические формы интерпретации рефлексии. Между ними существовали не только расхождения, но и определенная общность. В этих разных способах мысли речь идет о том, как разум мыслит самого себя, как мышление делает себя объектом своей мысли. В античности рефлексия – это способ самопознания, самосозерцания мудрости, постижения предмета как чего-то единого. Акцент в этом способе мысли делается на созерцании. Для христианства рефлексия – это способ приобщения человеческого ума к божественному на пути к вере. Здесь уже акцент делается на вере, а интеллект является вспомогательным средством в постижении универсалий и в причащении к Богу. В новоевропейской философии рефлексия противопоставляется внешнему опыту и, будучи способом познания мышлением своих действий, является характеристикой внутреннего опыта. Основная цель новоевропейской философии – достичь контроля и рационализации в мышлении его собственных действий. Поэтому наряду с психологической рефлексией (самосознанием, самонаблюдением, интроспекцией, внутренним опытом и т.д.) выделяются *методологическая рефлексия*, направленная на выявление и описание процедур, операций и уровней интеллектуальных усилий (аналитические методы, синтез процедур, эксперимент, сравнительные методы и др.), социально-политическое самопознание, постигающая начала государственно-правовой жизни и т.д. В рефлексии новоевропейские философы усматривали источник моральной идентичности личности, т.е. не только тождества человека с самим собой, но и идентификации личности как морального субъекта. Существуют различия в трактовке сферы действия рефлексии: для Локка подвластны все действия нашего ума, а для Лейбница – мышление сталкивается с нерефлективными и принципиально нерефлектируемыми слоями сознания.

В немецком идеализме рефлексия была противопоставлена созидательно-практическим актам. Это нашло свое выражение в противопоставлении Я и не-Я у И.Г.Фихте, в противопоставлении отчуждения и рефлексии у Гегеля, в противопоставлении бессознательного существования духа в природе и раскрытия его в историческом процессе у Шеллинга. В отличие от романтиков, которые видели в рефлексии единственный и универсальный способ развертывания сознания, немецкий идеализм существенно ограничил сферу рефлексии, сначала противопоставив ее созиданию и объективации, а затем выявив ограниченности рефлексии, приписав их рассудку, различаемому от разума(вычленение абстрактных оппозиций, их наращивание и уход рефлексивного анализа в бесконечность). В противовес немецкому идеализму существовала и иная философская традиция, которая подчеркивала значимость нерефлективных процессов (философия чувства и веры Ф.Якоби, антропология любви Л.Фейербаха, двой-

[7] См. статью «Рефлексия» в [61].

ная субъективность С.Киркегора, одна из которых в принципе не коммуницируема, философия воли А.Шопенгауэра, философия бессознательного Э.фон Гартмана и др.). В конце XIX в. уже осознается, что не все и вся поддается контролю и рефлексии, которая имеет свои границы.

Но при всех расхождениях философской мысли существовали и определенные пункты единства мысли в трактовке рефлексии. Она обеспечивает *контроль* за действиями не только теоретического интеллекта и практического ума человека, но и является гарантом их постижимости (интеллегибельности, как сказал бы Кант). Рефлексия основывается на *открытости* (транспарентности) как сознания другого человека, так и созданного людьми мира культуры и социально-политических форм – норм права и морали, имеющих интерсубъективную и даже объективную значимость. При всех различиях в трактовке способностей человека (самосознание, понимание себя и понимание другого, интеллект, рассудок, разум, воображение, переживание, чувства и т.д.) философы и психологи были единодушны в том, что рефлексия противостоит нерефлексивным и нерефлектируемым актам, таким, как страсти, интуиция, переживания, чувство надежды, страха и др. Лишь в XX в. то, что еще в XVIII в. считалось нерефлективным, стало пониматься как поддающееся рефлексивному анализу. Поэтому в сфере последнего оказались как переживания разного рода (да и сама рефлексия стала трактоваться как переживание), так и различного рода эмоции и чувства (например, надежда стала трактоваться у Э.Блоха как принцип надежды, объясняющий утопические формы сознания; страх понимается у Хайдеггера как онтологическая характеристика бытия-в-мире). Прежнее различение научного сознания с его принципом рефлексии и утопии, основанной на несбыточных надеждах, преодолевается и в каждом философском, научно-теоретические, так и утопические элементы.

Философия политики и возникшая политическая наука широко использовали тот категориальный аппарат, который был наработан в общей философии и методологии науки, прежде всего понятие рефлексии. При таком подходе цель политического знания формулировалась как рефлексия политической жизни, политических установок и ориентаций и, наконец, собственно политического сознания. Исходная позиция трактовки политического сознания – открытость и прозрачность социального мира «модернити», обусловленные открытостью и прозрачностью рефлексивности, на которой это общество основывается. У защитников этой позиции не возникает даже тени сомнения в том, что рефлексивность, которая, по их мнению, составляет ядро современности не оставляет никаких нерефлексивных и не поддающихся рефлексии слоев сознания и соответственно мотивов человеческой деятельности, возникающих социальных институтов, процессов, уровней общественной системы. Все и вся подвластно рефлексии без какого-либо остатка. Все и вся рефлексивно и все может быть репрезентировано рефлексией.

Конечно, во многих политических концепциях наряду с акцентом на процедуры рациональности фиксируются и нерефлексивные акты – либо аффективные, либо эмоциональные, либо ценностно-ориентированные, либо «жизненно-мирские», но они фиксируются как альтернатива рефлексивным актам, которым приписывается доминирующая роль не только в политике, но и в социальной жизни в целом. Фиксируются как «остатки», «пережитки», «осадки прежних форм» и т.д. *Итак, рефлексия отождествляется с рационализацией, с контролем и с подвластностью социального бытия мысли.*

Рассмотрим то, *как определяется политика* и ее составляющие при использовании *модели рефлексии* в XX веке. Первым в XX в., кто рассмотрел политику как призвание и как профессию, был М.Вебер. Для него исходным было понятие социального действия. Именно оно задавало весь социально-политический мир и перспективу его анализа. М.Вебер, исходя при определении социальности и социального действия из модели обмена (обмена результатов действия на социальное признание), различал формальный и материальный способы рационализации. Решающим процессом в эволюции политики для него была смена материальной рациональности формальной, которая является всемирно-историческим процессом и с которой он и связывает судьбу европейской цивилизации. Как известно, он вычленял четыре типа социального действия в соответствии с ориентациями на цель (целерациональное действие), на ценность (ценностно-рациональное), аффективное и традиционное. Первые два типа и есть собственно социальные, причем ценностно-рациональное связано с материальной рационализацией, а целерациональное – с формальной рационализацией. «Одним из существенных компонентов “рационализации” действия является замена внутренней приверженности привычным нравам и обычаям планомерным приспособлением к соображениям интереса. Конечно, этот процесс не исчерпывает понятия “рационализации” действия, ибо последняя может протекать, кроме того, позитивно – в направлении сознательной ценностной рационализации, – и негативно – не только за счет разрушения нравов, а также и за счет вытеснения аффективного действия и, наконец, за счет вытеснения ценностно-рационального поведения в пользу чисто целерационального, при котором уже не верят в ценности» [70, S. 558].

Формальная рациональность предполагает соизмерение целей и средств, калькуляцию возможных последствий и целей относительно друг друга, расчет и измерение технически возможного и действительного в хозяйстве и в других сферах общественной жизни. Этому типу социального действия соответствуют не только капиталистическое хозяйство, но и специфические формы религии (прежде всего протестантизм). На принципах формальной рациональности основывается и рационально-бюрократическое управление, тип господства и власти в рациональном государстве. Ориентация на этот принцип требует от политика ряда особенностей – этики ответственности, проведение дистанции между собой и другими людьми, ориентации на существо дела и пр. По словам

М.Вебера, « политика делается головой, а не какими-нибудь другими частями тела или души» [8, с. 690], хотя М.Вебер не отрицал существования ни аффективных, ни ценностно-рациональных действий.

Но не только социальное действие оказалось подвластным рационализации. Властвующие группы, или, как их называли политические мыслители, элиты, стали объектом рационализации, поскольку они были подчинены критериям рационализации. Г.Моска, выделив элиты как объект исследования политической науки,[8] среди факторов формирования правящей элиты называл известность, хорошее образование, специальную подготовку, высокий сан в церковной иерархии, в системе управления и др. «Специальные знания и подлинно научная культура, очищенные от всякой духовно-религиозной ауры, становятся важной политической силой только на высокой ступени цивилизации, и тогда доступ в правящий класс получают лишь те, кто владеет этими знаниями. Но и в этом случае не столько знание само по себе обладает политической ценностью, сколько его практическое применение на благо власти и государства» [34, с. 126]. Обладание знаниями и способность к рационализации окружающего мира оказывается у него способом рекрутирования человека в политическую элиту.

Ч.Э.Мерриам в книге «Новые аспекты политики», вышедшей в свет в 1925 г., выявил десять изменений политического мышления вплоть до начала XX в., а также трудности на пути научного изучения управления, среди которых он особо выделяет «недостаток исчерпывающего набора данных о политических явлениях с соответствующей их классификацией и анализом» и «нехватку достаточно четких стандартов измерения и точного знания о последовательности процессов» [31, с. 177]. Правда, в конечном итоге Мериам сводит «политическое теоретизирование …к завуалированной в большей или меньшей степени пропаганде определенных интересов» [31, 178], т.е. к выражению аффективных и ценностных мотивов человеческого поведения в обществе. Но все же он предсказывает увеличение роли политической науки в понимании «политического поведения людей, причем такими средствами и в таких формах, которые не в состоянии представить себе даже самые проницательные предсказатели» [31, с. 183].

Р.Михельс – аналитик политических партий, автор «железного закона олигархических тенденций» в своей теории правящего партийного меньшинства, или элиты, одним из критериев политической партии считал выдвижение определенной теоретической программы, выражающей интересы определенного класса, а критерием членства в элите – «высокую компетенцию по отдельным вопросам» [33, с. 192]. Различия в уровне образования, ограниченный кругозор чиновников и парламентариев, подчиненность масс «сиюминутным впечатлениям и эмоциям» затрудняет отбор элит, которые с неизбежностью превращаются в касты, в партийные олигархии, где властвуют вожди, создающие види-

[8]«Начала политической науки» - так называлось первое издание его книги «Правящий класс» (1939).

мость того, что массы делегируют им свои полномочия, а на самом деле они «отстранены от всяких форм соучастия в принятии решений» [33, с. 195]. Й.Шумпетер, критикуя способы рационализации, присущие классическим политическим доктринам, согласно которым партии – это группы людей, заботящиеся о благосостоянии народа, исходя из некоторого принципа, по которому все ее члены пришли к согласию, отдает приоритет психотехнике управления партией, ее рекламным кампаниям, лозунгам и маршам. В противовес классической концепции демократии, основанной на идеях суверенитета народа, общей воли и общего блага, рациональности политического действия избирателей Шумпетер отстаивает идеалы «элитарной демократии». Но и он обращает внимание на правдоподобность посылок и логическую обоснованность предположений в политике, которые позволяют «значительно улучшить теорию демократического процесса» [60, 222].

И Мериам, и Михельс, и Шумпетер – исследователи политических элит, у которых принцип рефлексии и критерий рациональности выступает в специфической форме – форме компетентности тех, кого рекрутируют в элиту.

Иные мотивы обращения к принципу рациональности у известного теоретика либерализма Л.фон Мизеса, провозгласившего незыблемость собственности. Он подчеркивал, что программа сегодняшнего либерализма «основана на более глубоком и лучшем понимании общественных взаимоотношений и опирается на прогресс, который сделала наука в последние десятилетия» [32, с. 200]. Обсуждая проблему равенства людей, он не сомневается в том, что один из путей осуществления равенства – знание законодательства своей страны, а «знание юриспруденции есть необходимая предпосылка для осуществления правосудия» [32, с. 209]. К.Манхейм в «Идеологии и утопии» (1929) обратил внимание на сплав политики и научной мысли, наступивший в новоевропейской социальной жизни, отметив, правда, и трудности такого объединения. Одна из такого рода трудностей состоит в том, что «наука должна всегда сохранять свой эмпирический характер, тогда как мышление, подчиненное политической установке, не может позволить себе постоянно применяться к новому опыту» [29, с. 348]. Другая трудность – то, что кризисы политического мышления становятся кризисами научной мысли. Это реальные трудности рационализации политических событий и процессов, трудности, усугубляемые интеллектуализмом, игнорирующего элементы воли, интереса, эмоциональности и мировоззрения в политических процессах. Различая идеологии и утопии по стилю мышления, по экзистенциальным основам мышления, Манхейм не только обсуждает вопрос о том, что политика есть наука, которой можно обучить; он также стремится разработать метод и возрастающие по своей точности критерии, которые позволят нам «различать и изолировать различные стили мышления и соотносить их с соответствующими группами» [29, с. 349].

Для Манхейма существенно то, что в политике, политических решениях и дискуссиях важнейшую роль играют акты воли. Так, выявляя особенности по-

нимания ситуации в политике и в науке, Манхейм замечает, что «и здесь ориентированная на определенную цель воля является отправным пунктом для понимания ситуации» [29, с. 349]. Можно сказать, что политическое действие и мышление предстает у Манхейма как сплав рационализации и воли, интеллектуальных и эмоциональных моментов. В противовес классическим способам рационализации политической жизни[9] Манхейм проводит мысль о необходимости новой формы рационализации, где было бы осуществлено «изучение структурных связей между решением и видением, между социальным процессом и волевым процессом» [29, с. 377]. Постоянно фиксируя расширение сферы рационализации и одновременно нерационализированные области среды, он считает, что область, подвластная рационализации все расширяется, а иррациональная среда все более сужается. Сомневаясь в том, что возможна полная рационализация социально-политической жизни, он усматривает существо рационализации в том, что благодаря ей достигается больший уровень контроля над социальными процессами, самоуяснения и тем самым подготовки пути к политическому действию.

Штраус, обсуждая проблему «Что такое политическая философия?» и отличая ее как от политического мнения, так и от политической мысли в целом, считал, что «политическая философия – это и есть стремление познать обе природы политических явлений и права – добра и политического порядка» [59, с. 400]. Описывая вычленение политической философии из политической мысли и связывая ее генезис с именем Макьявелли, он полагал, что ныне политическая философия находится в упадке и замещена специализированным политическим знанием. По его мнению, поворот к политической философии и сравнительно-исторический анализ политических концепций прошлого позволит уяснить ограниченности прежних доктрин и значимость философского размышления о добре и политическом порядке, двух ведущих трендов и волн «современности» («модерности»). «Тематика политической философии – великие задачи человечества, свобода и правление либо господство, задачи, решение которых может поднять человека над его собственным убогим существом» [59, 399].

Р.Арон видел в политике и сферу отношений в обществе, и форму ее познания, причем «осознание действительности – часть самой действительности» [6, с. 510]. При этом политическое знание для него есть часть философии истории, коль скоро политика – неотъемлемая часть исторического процесса. Д.Ролз в книге «Теория справедливости» рассматривает принципы справедливости как базисную структуру общества и как форму договора между свободными и рациональными индивидами, которые должны раз и навсегда осуществить рациональный выбор относительно того, что считать справедливым и несправедливым [43, с. 684]. Анализируя концепции рациональности, он проводит различие между рациональностью в широком и узком смысле слова: первая от-

[9] «Сознание буржуазии основывалось на ее социально-жизненном интересе скрыть посредством такого интеллектуализма от самой себя границы осуществляемой ею рационализации и создать видимость того, что в ходе дискуссий все реальные конфликты могут быть полностью разрешены» [29, с. 371].

носится к поведению индивида как рационального существа, а вторая сводится к поиску и нахождению наиболее эффективных средств для достижений определенных целей [43, с. 686].

К той линии, которая акцентирует внимание на рефлексивности сознания, поведения и любого социологического знания, в том числе и политического, принадлежит известный британский социолог Энтони Гидденс. Он усматривает в рефлексивности определяющую характеристику любой человеческой деятельности и, само собой разумеется, и любой социально-политической теории. Рефлексивность дает импульс к социальным изменениям, образуя differentia specifica современного общества, или общества модернити. С рефлексивностью он связывает «контроль над поведением и его контекстами» [10, с. 100]. Противопоставляя современное общество и традиционное общество, он отмечает, что именно рефлексивность ответственна за постижение новоприобретенного знания [10, с. 105], которое отделяется от сложившейся традиции. Именно традициям и обществам, основанным на них, он приписывает инерцию и отсутствие контроля и за природным, и за социальным миром, и за поведением человека.

Рефлексивность ответственна за радикальное изменение правил человеческого поведения и жизни. Рефлексия становится всеохватывающей. Этот процесс, начавшийся в античности и приобретший невиданные масштабы в эпоху Просвещения, приобретает в модернити универсальный и глобальный характер (о глобализации и о тех изменениях в сознании, которые ею обусловлены мы будем говорить позднее). Она охватывает ныне рефлексию о природе самой рефлексии [10, с. 105]. Не только знание – естественнонаучное и социальное – конституируется благодаря рефлексии, но и сам мир конституируется благодаря приложению знания, которое постоянно пересматривается, изменяется, модифицируется. Вместе с ним пересматриваются, изменяются, модифицируются и социальные практики, основанные на рефлексивном знании. Рефлексия ответственна не только за расширение нашего знания и нашей власти над социальным миром, но и за повышение контроля над природным и социальным миром, за рост рациональности нашего поведения, за рационализацию мотивов человеческого поведения, интересов, ценностных установок. Вместе с тем рост рефлексивности нашей деятельности влечет за собой дестабилизацию социального мира, поскольку рост знания приводит к социальным изменениям.

Гидденс определяет рефлексивность как «непрерывное производство систематического самопознания» [10, с. 109], как усиление радикализации в самоуяснении мысли [10, с. 113]. С ростом рефлексивности он связывает «чувство онтологической безопасности», которое возникает благодаря знанию об окружающем мире и о социальном универсуме, подвластном человеческому контролю [10. с. 122]. Согласно Гидденсу, социологический анализ современной социальной жизни раскрывает темпоральные характеристики общества, их историческую изменчивость и возможность дальнейших трансформаций. Изменения в социальной и политической жизни он связывает как с рефлексивностью

социальной критики, так и утопическими компонентами социально-политического сознания: «Иначе говоря, любой социальный анализ имплицитно является социальной критикой и имеет трансформативные импликации для того, что он описывает» [66, p. 337]. Рефлексивность направлена на зазор между реалистическими компонентами социальной теории и утопическими компонентами. Этот зазор он объясняет тем, что из того, что есть нельзя вывести то, что желательно. Иными словами, из того, что называется «гильотиной Д.Юма», которая запрещает выводить из фактических суждений суждения долженствования. Как сочетаются эти два компонента любой социальной теории, остается не ясным. Но одно ясно, что и реалистические, и утопические компоненты социально-политической теории подвластны рефлексивному анализу, являются прозрачными для рефлексии. В противовес нерефлексивному самовоспроизводству систем общества и личности, Гидденс отдает приоритет рефлексивности социальных и антропологических процессов, усматривая в ней исток и движущую силу как социальной критики, так и функционирования социальных систем.

И.Берлин, характеризуя различные формы постижения свободы в истории, обратил внимание на отождествление рациональности и свободы воли. «Рациональное поведение – это поведение, которое (по крайней мере, в принципе) может быть объяснено действующим лицом или наблюдателем мотивами, намерениями, выбором, причинами, правилами, а не только законами природы» [7, с. 127]. Для Берлина такая рациональная модель поведения человека предполагает, что человек не находится во власти сил, которые он не может контролировать. Эта модель, по его мнению, хотя и рациональна, но все же недостаточна: «наше знание увеличивает нашу рациональность, придает нам силы, внутренней гармонии, мудрости, эффективности, но не обязательно увеличивает нашу свободу». Знание делает нас свободными, «если на самом деле существует свобода выбора…» [7, с. 140].

Рационализация человеческого поведения, в том числе и в области политики, непосредственно выразилась в отождествлении переводов на русский язык терминов политической философии И.Берлина: то, что он называл «концептами» и отличал от «категорий», исчезло из русских переводов его тезауруса. В концепты Берлин включает модели человеческого мышления и поведения людей (именно они определяют их мышление и деятельность). Их задача – задать спектр восприятия фактов, их отбор, дать им оценку, сопоставить с данными наблюдения и самонаблюдения. Концепты базируются на определенного рода метафорах и могут перерасти в логически последовательную и прочную концептуальную систему, отличаемую Берлиным от теоретической системы категорий. Концепты, по его словам, «образуют непрерывные ряды от «постоянных» стандартов до мимолетных мгновенных реакций, от «объективных» истин и правил до «субъективных» отношений, они пересекаются друг с другом на

разных уровнях, иной раз под неожиданными углами, охватить, распознать и описать которые мог бы только гений» [7, с. 231].

Итак, политическая философия, развивавшаяся в рамках моделей рефлексии и подчеркивавшая необходимость и значимость рационализации социальных, в том числе и политических процессов, сделала предметом своего исследования целый спектр феноменов и процессов политики – от власти до социального действия, от эволюции форм представительства до формирования политических элит, от идеологий до демократического устройства общества. Политическое сознание, принимающее парадигму рефлексии, универсализирует разум, противопоставляемый нерефлексивным предрассудкам и аффектам. Она выносит их за пределы универсального разума и подчиняет его контролю силы природы и социальные процессы. Субъект политического сознания трактуется как автономный субъект мышления и действия, противопоставляемый его растворенности в гетерономных традиционных общинах и сообществах. Общей чертой такого политического сознания является его историчность, доминанта которой – идея прогрессирующего роста рациональности и эмансипации. Политическое действие в рамках парадигмы рефлексии также резко сужается. Любое действие предполагает усилия – усилия мышления и воли, усилия индивидуальные и коллективные, однако, в соответствии с моделью рефлексии, оно, вытесняя все аффективные компоненты и мотивы, подчиняет разуму волю и выносит волевые акты субъекта политического действия.

Вытеснение воли в рефлексивном действии. В истории классической политической мысли политические структуры трактовались, начиная с Аристотеля и вплоть до XX в., как формы практического разума, предполагающие прежде всего разум, воплощаемый в воле. Именно воля составляла антропологическое ядро философских размышлений об этических и политических добродетелях, о формах менового обмена товарами. Воля как вектор определения прежде всего этики и права сохраняется вплоть до XX века. Но как понимается воля? Воля трактуется как свободная, а свободна она лишь постольку, поскольку пронизана разумом, нормативной рациональностью, рациональным дискурсом. Иными словами, воля – категория психологического и философского дискурса, которая характеризует психическую, душевно-духовную способность человека, заключающуюся в усилиях по осуществлению замысленного, в подчинении себя поставленным целям и принятому решению, в сопротивлении наличным обстоятельствам (пассивная воля) или в привнесении изменений в них (активная воля), в целестремительных и целерациональных, а не спонтанно-своевольных, поступках и действиях. Разумная воля обуславливает вменяемость человека, его моральную и правовую вину и ответственность за действия, их мотивы и последствия. Воля - это одно из условий существования и роста мира культуры, юридических законов, идей мышления и норм морали, рассмотренных как формы объективации разумной воли и волевых усилий человека, в том числе и в политике.

Философия перенесла центр тяжести в осмыслении воли с собственно волевых характеристик (мотивов, целей, стремлений и т.д.) на разум. Воля, будучи рассмотрена в философии под углом зрения свободы, оказалась тождественной практическому *разуму.* С философским осмыслением воли связаны такие проблемы, как отношение свободы с волей (образует ли свобода суть воли или она является просто эпифеноменом поступка, в чем исток злой воли?), соотношение судьбы, божественного предопределения или необходимого, причинно-следственного порядка со свободной волей.

Проблемы свободы воли в истории теологии и философии решались поразному: наряду с отрицанием свободы воли во имя судьбы, божественного предопределения или природной необходимости существовали и существуют концепции, исходящие из приоритетности воли перед умом и трактовки ее свободы как свободы выбора (они неадекватно называются «волюнтаризмом»). Длительное обсуждение проблемы свободы воли как свободы выбора (называемое «арбитраризмом») привело к различению формальной и материальной свободы, к выявлению различных слоев в феноменах воли – от интенций до мотивов, от воли как законодательной силы до осознания воли как феномена, коренящегося в повседневности, к сужению сферы свободы воли, к ограничению ее стремлениями и мотивами, действием как актом выбора, определяемого неопытностью, некомпетентностью или невежеством, к уяснению противоречивости (амбивалентности) стремлений и мотивов [см. подробнее: 40, с. 23-36].

Воля образует неотъемлемую составляющую любого политического акта и политического бытия, но не всякая воля, а свободная и разумная. Иными словами, в саму характеристику свободной воли уже включена рациональность и рационализация поведения и действия. Такое отождествление свободной воли с рациональной волей, ставшее основной линией в философской интерпретации феноменов воли, превращало волю в одномерный феномен, а все ее размерности превращало в плоскость. Такое отождествление воли с разумным стремлением началось уже в античности – у Платона и Аристотеля, которые отдавали приоритет интеллектуализации воли, ее подчинения уму, связывали сознательное стремление с принятием решений, с сознательным выбором. Это понимание воли сохранилось у стоиков, выделивших мотив в качестве ведущего критерия оценки актов выбора между добром и злом, а также было воспринято в римской философии с ее идеалами долга и «эвдемонии», включавшей помимо блаженной жизни равнодушие к судьбе.

Средневековые мыслители развернули широкую и многогранную картину воли и свободы как ее сути. Теологические споры об отношении свободной воли и божественной благодати имели не только теологическое, но и философское значение. Уже Аврелий Августин в трактате «О Граде Божьим» в споре с Цицероном, который сказал, что из двух возможностей, данных человеку – быть предопределенным и быть свободным, – он выбирает свободу, утверждал необходимость для христианина и предопределения, и свободы воли. Если Бог

предвидит нечто в нашей воле, – говорил он, – значит, это нечто в нашей воле есть, ибо нельзя познать ничто. Воля как дар Бога блага. Злые направления воли возникают от второй природы человека – от ничто, которое способно ничтожить изначальное благо. Воля тесно связана с разумом. Это подчеркивает Петр Абеляр, но особенно интеллектуализирует волю, во многом в противовес Августину и августинианцам, Фома Аквинский. Для него ум является движущей силой воли, а ум достойнее воли. Главная функция свободной воли – выбор, а выбор отсылает нас к суждению, т.е. к уму, а во всяком уме присутствует решение. Для Фомы (а еще раньше для Бернарда Клервоского) неприемлема мысль о различии воли и свободной воли.

Новые ценности эпохи Возрождения, приведшие к формированию идеалов vita activa в противовес vita contemplativa, привели не только к культу свободы, но и к осознанию важности гражданских свобод и справедливых дел. Правда, культ свободы нередко превращался в апологию своенравности воли и волевой активности человека. В множестве трактатов и диалогов, посвященных проблеме свободы воли (А.Ринуччини «О свободе воли», К.Салютати « О роке, судьбе и случайности», Л.Бруни «Введение в моральную философию», диалог Л.Валлы «О свободе воли», Дж.Пико делла Мирандола «Речь о достоинстве человека» и др.) жизнестроительная воля человека противопоставлялась неизбежному фатуму, ставшего миром естественной необходимости, описывались новые добродетели человека (доблесть, мужество, стойкость, творческая активность и др.). Альтернатива в интерпретации воли выразилась в споре между Эразмом Роттердамским, отстаивавшим свободу воли, и М.Лютером, написавшим в 1525 г. трактат «О рабстве воли».

В новоевропейской философии трактовка воли как разумного стремления и вытеснение ее как аффекта за пределы рационализируемого стало общепризнанным. И у Декарта, и у Спинозы, и у Локка, и у Лейбница – при всех их различиях - сохраняется стремление понять волю как твердое суждение о добре и зле, основанное на разумном решении, на совпадении воли и разума, на осуществлении способности выбора. Воля же как аффект выносится ими за пределы философского исследования.

Для французских просветителей не только разумная воля, но и воля вообще являются химерами, созданными человеческим абстрактным умом. Причина этих химер – наше незнание. Правда, при анализе генезиса социального договора среди французских просветителей формируется линия, отдающая приоритет воле (вспомним Руссо с его различением «воли всех» и «всеобщей воли»). Это различение сыграло большую роль в истолковании соотношения разума и воли у Канта, который уже усматривал в свободной воле не только разумную волю, но и волю, способную самостоятельно определять свои действия независимо от принуждения со стороны чувственности, быть законодателем общеобязательных норм морали и права. В противовес воле как законодателя легальности и моральности (Wille) он фиксирует и эмпирическую волю, совпадающую

с волениями и желаниями (Wollen). Это разграничение между двумя типами воль, где отдается приоритет чистой воле (Wille) будет воспринято всем немецким идеализмом, который не только описал феномены воли как восхождение от самосознающего и свободного Я через объективацию Я в деяниях к изначальному, абсолютному акту воли Бога. Так, Гегель в философии права анализирует ряд юридических феноменов под углом зрения тождества объективности и субъективности: вступление во владение, потребление, отчуждение вещей на рынке, договор, юридический закон. Эти процессы свидетельствуют не только о росте объективности, но и о росте субъективности, которая разворачивается от умысла и вины к добру и совести.

Уже в философии XIX в. соотношение между разумом и волей переворачивается – теперь уже мышление, ум, разум оказывается эпифеноменом воли. В воле усматривается исток движения мысли, каузальность сознания, исток и тайна сознания. Этот поворот начат А.Шопенгауэром, продолжен в разных направлениях такими мыслителями, как Ф.Ницше, Ч.Пирс, Д.Дьюи, Г.Динглер, П.У.-Бриджмен и др. И социальность стала определяться с помощью понятия «воля». Так, О.Шпенглер в основу такого типа цивилизации, как «фаустовская культура», положил именно культ воли, устремленной в бесконечность и обладающей техникой. Ф.Теннис, проведя различие между сущностной волей (Wesenswille) и избирательной волей (Kuerwille), положил их в основание разных типов социальности – общины (Gemeinschaft) как живого организма и общества (Gesellschaft) как искусственного и механического агрегата.

В целом для политического знания, развиваемого, исходя из модели рефлексии и рациональности, характерно вытеснение аффективных и ценностно-ориентированных действий. В противовес этой линии в интерпретации политики существовала и существует иная линия, в центре которой именно аффективные и волюнтаристские мотивы действия, рекрутирования элит и т.д. Так, В.Парето, анализируя политический процесс как циркуляцию элит, связывает элиты с участием в делах управления и подразделяет их на правящую элиту и неуправляющую элиту. Исходя из модели социального равновесия и его нарушения, Парето сделал акцент на существовании «резидуентов» - неких осадков эмоций, страстей, предрасположенностей, сохраняющихся после того, как из социального действия и взаимодействия будут устранены все рациональные соображения. Его типология политического правления подразделяет его на правительства, использующие материальную силу и силу религиозных чувств, и на правительства, использующие главным образом искусство и хитрость. Примерами первого типа правления для Парето служат органы управления античных тираний (например, Спарты), Римской империи времен Августа и Тиберия, Венецианской республики, европейские государства XVIII в.). Примерами второго типа правления – теократические правительства, эпоха царств в Греции и Италии и др. Существенно то, что вполне рациональные схемы правления, модели равновесия и его нарушения базируются на эмотивистски толкуемой силе

определенных чувств – искусности, хитрости, мощи религиозных убеждений и пр.). А.Шютц выявлял фундаментальное значение нерефлексивного «жизненного мира» для любых теоретически-рефлексивных построений. Надо сказать, что в конце XX в. возрождаются теории, в которых даже существование такого рода «остатков» вообще не допускается, а рефлексивность оказывается всеохватывающей процедурой мысли и построения социального мира, в том числе и политики.

Раздел II.
Поворот к риторике
и к актам коммуникативной концептуализации

Глава 5. Неориторика и исследование коммуникаций

Политические концепты в контексте коммуникаций**.** Отказ от моделей рефлексии и поворот к исследованию социально-философских проблем в контексте коммуникаций начался еще в 50-60-е гг. прошлого века и тогда он проходил под знаменем поворота к риторике. Этот поворот, а тем более осознание универсальной значимости коммуникаций в социальной жизни, в культуре и науке привел к существенным изменениям в трактовке норм как этических, так и логико-методологических, к иному пониманию их статуса, к изменению приоритетов, которые давались тем или иным методам и процедурам научного знания – к выдвижению на первый план логики аргументации и сдвига на периферию процедур дедуктивного вывода. Однако философия науки, в том числе и политической науки, долгое время отдавала предпочтение строгому доказательству и дедуктивным методам рассуждения, испытывая аллергию к «нестрогим методам» аргументации, применяемым в различных сферах человеческой жизнедеятельности – от судебной практики до деловой беседы. Громадную роль в повороте философии вообще и философии науки, в частности, к идее коммуникации сыграли социология знания и социология науки, обратившие внимание на научное сообщество и коммуникации в нем при изучении науки как социального института.

Э.Гуссерль в своих «Картезианских размышлениях» и опубликованных после смерти рукописях обсуждал проблему интерсубъективности и коммуникативной социальной онтологии, обратив внимание на речевые сообщества [39, с. 79-100] и особые когнитивные структуры, функционирующие в этих контекстах (тема, тематизация и др.). В центре экзистенциальной философии К.Ясперса – анализ экзистенции как коммуникативного существования. В этом же контексте трактуется и истина: «Искать истину означает постоянно быть готовым к коммуникации и ждать этой готовности от других» [63, с. 271].

Новизна коммуникативного подхода не осталась без внимания со стороны философов политики. Так, Э.Фегелин в книге «Новая наука о политике» и в пя-

титомном труде «Порядок и история» на материале генезиса и эволюции политического представительства раскрывает содержание политической науки как самоинтерпретации общества, как «самопознания общества посредством символов». В политической науке речь идет о двух порядках символов: с одной стороны, о языковых символах как неотъемлемой части социального микрокосма, и с другой стороны, о языке символов политической науки [49, с. 430-431]. Перекрещение этих двух форм символического бытия и является особенностью политического бытия человека.. Анализируя различные периоды в формировании теории и практики представительства в истории общества, Фегелин использует метафору «артикуляция» из фонетики, тем самым подчеркивая, как верно замечает И.И.Кравченко в своих примечаниях к тексту фрагментов Фегелина, что структурная организация общества проходит ряд этапов (замысел, организация, реализация и т.п.), включая создание политических структур и политических символов.

В это же самое время, в 1952 г., бельгийско-израильский логик Х.Перельман заново «переоткрывает» «Топику» Аристотеля, реконструируя ее как логику аргументации в суде и в народных собраниях, как выявление «общих мест», столь важных для ораторских речей и аргументации в них. Он и стал инициатором нового движения в логике, названного им «неориторикой» [68].

Поворот к риторике и к осознанию роли коммуникативных процессов в философии науки начинается с работ С.Тулмина, в частности, его книги «Использование аргумента» [69]. Основные принципы этой книги Тулмин применил и в анализе абсолютистского и релятивистского аргумента в книге «Человеческое понимание» (1972). Не приемля отождествления рациональности с логичностью, Тулмин обращается к практическому опыту применения теорий, не приемля ограничения философии науки сугубо рациональными практиками и формальными идеализациями научных теорий. В статье, где он критикует методологию И.Лакатоса, Тулмин подчеркивал: «Если интеллектуальное содержание любой действительной естественной науки включает не только *высказывания*, но и *практику*, не только ее теоретические предложения, но также процедуры их применения в исследовательской практике, то ни ученый, ни философ не могут ограничить свое ‘рациональное’ или ‘критическое’ внимание *формальными идеализациями* этих теорий, т.е. представлениями этих теорий как чистых систем высказываний и выводов, образующих логико-математическую структуру» [69, P. 81]. Иными словами, Тулмин противопоставляет способ репрезентации теоретических построений в логике и математике, где они имеют вид чистых систем высказываний, от способа репрезентации знания в естественных науках, где наряду с языковыми терминами и высказываниями представлены и неязыковые процедуры, благодаря которым их идеи приобретают эмпирическую релевантность и применение. Рациональность в естественных науках не может быть отождествлена с логичностью. Поэтому-то и «третий мир» К.Поппера должен быть существенно расширен и включать в себя не

только стандарты математического доказательства, но и практику их применения, не языковые и практические элементы, характерные для естествознания.

Тулмин осуществил поворот к практике применения идей естествознания. Это объясняет и его обращение к *практике законодательства* и *к понятиям, аргументам и стандартам судебных решений*, которые «обходят затруднения философской теории», *к судебной практике прецедентов* [48, с. 100, 106, 269]. Эти мотивы, подчеркнутые Тулминым, привели его к тому, что в противовес отождествлению рациональности и логичности он обращается к рациональным инициативам и к интеллектуальным нововведениям, их отбору и к генеалогии проблем науки. Иными словами, весь концептуальный аппарат философии науки, предложенный Тулминым, гораздо менее облигативен, в гораздо меньшей степени отягощен стандартами логико-математической дедукции, он более гибок и динамичен, чем те критерии и нормы, которым отдавала предпочтение философия науки этого времени.

Если Тулмин не приемлет универсальности и абсолютности стандартов научного рассуждения, то его современник – П. Фейерабенд не приемлет логического принуждения, характерного для методов науки. Фейерабенд представил свою позицию как защиту анархистской теории познания. В ней не существует единообразных, стандартизированных действий, упорядоченных или согласно методу исследования, или согласно каким-либо гносеологическим приоритетам. «Идея метода, содержащего жесткие, неизменные и абсолютно обязательные принципы научной деятельности», делает действия исследователей более единообразными, хотя и всегда нарушается» [50, с. 153]. Он подчеркивает, что необходимо обратиться к «существующим формам речи, которые...должны быть разрушены, перекроены и трансформированы в новые способы выражения, пригодные для непредвиденных ситуаций» [50, с. 157-158]. Необходимо исходить из одного принципа - *допустимо все.* Допустимо использование гипотез, противоречащих хорошо подтвержденным теориям и фактам. Допустима контриндукция. При всей эпатажности «анархистской» позиции Фейерабенда он сделал акцент на значении *риторики в росте науки.* Этим и движим его отказ от методологических правил, от их обязательности и принудительности. На громадном историко-научном материале (прежде всего работ Галилея) он показал значение тех аргументов, которые использовал Галилей в защите гелиоцентрического учения Коперника и в собственном построении механики. Согласно интерпретации Фейерабенда, Галилей одержал победу благодаря своему стилю и блестящей технике убеждения, с помощью введения гипотез ad hoc и допущений, которые вели к парадоксальным утверждениям. Фейерабенд даже говорит о «мистификациях Галилея» и его «пропагандистских махинациях». Его вывод состоит в следующем: «Галилей нарушает важнейшие правила научного метода», он «добивается успеха потому, что не следует этим правилам... *Невежество обернулось удачей»* [50, с. 252]. Галилей, по его интерпретации, использует иррациональные средства защиты учения Коперника.

Может быть, это относится только к Галилею и далеко от научной практики современного дня? Обращение Фейерабенда к риторике далеко выходит за рамки историко-научной реконструкции идей Галилея. Он имеет в виду и современную науку, когда говорит о ее близости к мифу и требует отделения науки от государства и от процесса обучения [50, с. 451]. Фейерабенд отказался от всех критериев и стандартов научности и риторики ради утверждения науки как «анархистского предприятия». Должны быть отброшены все критерии научного метода как обязательные, а формы риторики как «софистические» во имя пропаганды основной идеи Фейерабенда – действия науки всегда силовые, подавляющие, принудительные.[10]

Этот мотив дисциплинарности, принудительности, властности знания стал ведущим в работах французского философа М.Фуко. В 1969 г. в "Археологии знания" он разработал учение о дискурсивной формации как условии функционирования специфических дискурсивных практик со своими правилами, концептами и стратегиями. Все гуманитарное знание мыслится им как археологический анализ дискурсивных практик, коренящихся не в субъекте познания или деятельности, а в анонимной воле к знанию, систематически формирующей объекты, о которых эти дискурсы говорят. Для Фуко дискурс – это "совокупность словесных перформансов", "то, что было произведено... совокупностью знаков", "совокупность актов формулировки, ряд фраз или пропозиций", а дискурсивная формация - принцип рассеивания и распределения высказываний [52, с. 108].

Фуко связывает дискурс с прагматическими, социокультурными факторами, со взаимодействием людей и с погруженностью в жизненные контексты. Это погружение в конкретные условия места и времени он осуществляет с помощью понятия "дискурсивной практики". Отличая ее от экспрессивной и рациональной деятельности, он называет дискурсивной практикой "совокупность анонимных исторических правил, всегда определенных во времени и пространстве, которые установили в данную эпоху и для данного социального, экономического, географического или лингвистического пространства условия выполнения функции высказывания" [52, с. 118]. Дискурс – это историческое априори, задающее возможность совокупности актов высказывания, и актуализирующееся в дискурсивной практике, формирующей правила создания и преобразования совокупности высказываний. В курсе лекций, прочитанных в мае 1978 г. в Рио-де-Жанейро и называемом «Истина и правовые установления», Фуко анализирует институции «дисциплинарного общества», их генезис и функционирование, выделяя среди ведущих осей исследования анализ дискурса как стратегической и полемической игры, как «комплекса стратегий, составляющих социальные практики» [53, с. 43].

[10] Гораздо более корректен М. Финокьяро, который подчеркивал, что «не только аргументация, но и риторика играет принципиальную роль в науке и, следовательно, она важная часть для научной рациональности. Нельзя упускать из виду риторический аспект науки» [65, P.5].

Итак, поворот к риторике в философии науки привел к поиску новых критериев знания (вместо истины вводится критерий правдоподобия), к трактовке знания как вероятного в той или иной степени, к уяснению различных модальностей речевых актов внутри научного микросообщества, а логики рационально-логического и дедуктивного доказательства как логики аргументации, из чего следует превращение знания в убеждения сторонников той или иной исследовательской программы и отождествление направленности знания с его направленностью на другого субъекта коммуникации, а не на объект исследования.

Поворот к дискурсу. К середине XX в. разрыв между риторикой и философией, политической философией в частности, был очевиден. Риторика трактовалась как учение о стилистических приемах и фигурах речи, важных для ораторов, в том числе и политических, но не более того. В середине XX в. ситуация радикально меняется – политика трактуется как совокупность дискурсивных практик, включая в том числе и риторическую практику, а в анализе дискурса стали видеть путь преодоления разрыва между риторикой и политической философией.

Дискурс (от греч. δ ι ε ξ о δ о ζ - путь, изложение, рассказ, лат. discoursus - беседа, аргумент, разговор, франц. discourse - речь) – весьма неоднозначное понятие, ставшее центральным в методологии структуралистов и постструктуралистов. Если в классической философии дискурс характеризовал практику мышления, последовательно переходящего от одного, дискретного шага к другому и его развертывания в понятиях и суждениях в противовес интуитивному схватыванию целого до его частей, то в структурализме и в современной философии постмодернизма дискурс стал пониматься как выражение "исторически бессознательного" или ментальности, выраженных в речи и тексте, обладающих связностью и целостностью и погруженных в жизнь, в социокультурный, социально-психо-логический и др. контексты. Тем самым были преодолены оппозиции, характерные для классического сознания, в частности для классического политического сознания с его противопоставлением «дискурсивного» и «интуитивного».

Итак, исходная оппозиция "дискурсивный - интуитивный". Дискурсивность связывалась с опосредованностью, с возможностью аналитического вычленения отдельных элементов - понятий, идей, абстракций, суждений и предложений, с их последовательностью и с движением мышления от простых элементов к более сложным. В классической философии дискурсивное мышление, развертывающееся в последовательности понятий или суждений, противопоставляется интуитивному мышлению, схватывающему целое независимо и вне всякого последовательного развертывания. Разделение истин на непосредственные (интуитивные) и опосредованные (принимаемые на основе доказательства) проведено уже Платоном и Аристотелем. Плотин проводит различие между всеобщим, целостным и неиндивидуальным единым Умом и дис-

курсивным умом, постигающим все отдельные смыслы. Фома Аквинский противопоставляет дискурсивное и интуитивное знание, рассматривая дискурсивное мышление как движение интеллекта от одного объекта к другому.

Развитие науки в XVII-XVIII вв. привело к построению различных интерпретаций интуитивного и дискурсивного познания. Для Декарта, Спинозы и Лейбница всеобщность и необходимость научного познания гарантируется интеллектуальной интуицией, лежащей в основе доказательства и обеспечивающей дискурсивному мышлению и созерцание, и последовательное доказательство.

Вторая оппозиция классического сознания, в том числе и в области политики, - "дискурс - мысль", где дискурс отождествляется с речью, состоящей из имен в их связи, а мышление – с речью в уме. Гоббс, определяя специфику человеческого понимания, связывает ее с пониманием последовательности (или следования) представлений одно за другим, которое называют (в отличие от речи, выраженной словами) речью в уме [11, с. 46]. Он связывает дискурсивность мышления со способностью слов языка быть знаками общих понятий. Гоббс обратил внимание на существование различных языков - рассуждения, обдумывания, языка желания, тщеславия, негодования, жалости и мстительности, которые имеют различные формы выражения. Так, язык рассуждения оперирует именами общего значения (универсалиями), язык обдумывания выражается в сослагательной форме и имеет дело с сингуляриями. Язык желания выражается в императивной форме. Формы выражения - это формы речи. Он фиксирует четыре способа использования речи и четыре способа злоупотребления ею. Критерии истинности и ложности относятся к речи ("истина состоит в правильной расстановке имен в наших утверждениях" [11, с. 55], а ложность коренится в злоупотреблении речью). Локк полагал, что фундаментальные истины постигаются интуитивно, другие же через посредство других идей, с помощью демонстрации или последовательного рассуждения и чем больше шагов в этой последовательности, тем более ясным оказывается вывод. Ясность сложных идей зависит от количества и расположения простых идей, причем существуют три способа образования сложных идей (предметов, отношений и общих понятий).

В немецкой философии эпохи Просвещения сложились две линии в трактовке дискурсивности мышления, одна из которых (Х.Вольф, М.Мендельсон) преувеличивала роль дискурсивного мышления, а другая (Ф.Г.Якоби, И.Г.Гаман) противопоставляла опосредованному знанию интуицию, чувство, веру. Кант в "Критике чистого разума" противопоставляет дискурсивную ясность посредством понятий интуитивной ясности созерцания [19, с. 79], называя рассудочное познание посредством понятий дискурсивным мышлением [19, с. 166; 603][11]. Понятие трактуется им как дискурсивная репрезентация того, что общо многим объектам. Гегель противопоставляет дискурсивное мышление,

[11] См. также: [20, с. 155], [21, с. 395].

отождествляемое им с формальным и рассудочным, спекулятивному мышлению, постигающему единство непосредственного и опосредованного, многообразие абстрактных определений в конкретно-жизненном понятии. Итак, исходная оппозиция "дискурсивного и интуитивного" не просто наложилась на другую оппозицию ("дискурса как речи" и "понимания как мышления в уме"), но и приобрела иные размерности, став оппозицией "рассудка" и "разума", "рассудочного" (raisonnierendes Denken), разворачивающегося в цепочке суждений, и "спекулятивного мышления", развивающегося в системе умозаключений.

Трактовка дискурсивного познания в качестве антитезы интуитивному сохранилось и в XX веке (например, у А.Бергсона, противопоставившего логику твердых тел, присущую интеллекту, интуиции, у Н.О.Лосского, развившего учение о чувственной, интеллектуальной и мистической интуициях, у Л.Шестова, стремившегося прорваться сквозь логические цепи умозаключений к вере как новому измерению мышления.

Лингвистический поворот в философии XX в., ее обращение к лингвистическим моделям и методам, различение ею языка и речи, интерес к семантическим и прагматическим аспектам функционирования языка, к анализу семиотической деятельности привел к тому, что она перешла от изучения типов связки в отдельном предложении к осознанию речи как важнейшего компонента взаимодействия людей и механизма осуществления когнитивных процессов, как связанной последовательности речевых актов, выраженных в различных текстах и анализируемой в различных аспектах (прагматическом, семантическом, референтном, эмоционально-оценочном и др.). Со своей стороны лингвистика, прежде всего лингвистика текста, не только осознала целостность текста, но и обратилась к сверхфразовым, устойчивым единствам, или дискурсам, понимая их как механизм порождения высказываний и производства текстов. В центре внимания лингвистов оказались проблемы дискурса, понятого как сложное коммуникативное явление, включающее помимо текста и ряд внелингвистических факторов (установки, цели адресатов, их мнения, самооценки и оценки другого).

Исходным было различение Ф.Соссюра языка и речи, согласно которому язык - часть речевой деятельности, система знаков, выражающих понятия, а речь как манифестация языка [45, с. 17]. Это противопоставление Соссюром языка и речи по-разному, трактуемое в различных лингвистических концепциях (то как противопоставление кода сообщению, парадигматика синтагматике, норма стилю и т.д.), было интерпретировано Э.Косериу противопоставление языка как открытой системы возможностей и речи как совокупности реализованных форм и норм. Язык представляет собой систему идеальных форм реализации, т.е. технику и эталоны для соответствующей языковой деятельности, речь же есть совокупность норм, обязательных реализаций и исторически реализованных возможностей языка [25, с. 175].

В 1969 г. М.Пеше разрабатывает теорию дискурса на основе учения об идеологии и идеологических формациях Л.Альтюссера. В этом же году Фуко в "Археологии знания" разработал учение о дискурсивной формации как условии функционирования специфических дискурсивных практик со своими правилами, концептами и стратегиями. Все гуманитарное знание мыслится им как археологический анализ дискурсивных практик, коренящихся не в субъекте познания или деятельности, а в анонимной воле к знанию, систематически формирующей объекты, о которых эти дискурсы говорят. Для Фуко дискурс - это "совокупность словесных перформансов", а дискурсивная формация – принцип рассеивания и распределения высказываний [52, с. 108]. Поэтому и говорят об экономическом, политическом, биологическом дискурсах. Тем самым Фуко связывает дискурс с прагматическими, социокультурными факторами, со взаимодействием людей и с погруженностью в жизненные контексты. Это погружение в конкретные условия места и времени он осуществляет с помощью понятия "дискурсивной практики". Дискурс – это историческое априори, задающее возможность совокупности актов высказывания, и актуализирующееся в дискурсивной практике, формирующей правила создания и преобразования совокупности высказываний.

Э.Бенвенист, противопоставив дискурс объективному повествованию, характеризовал дискурс как определенный тип речи – "речь, присваиваемую говорящим". Отождествление повествовательного дискурса с дискурсом вообще существенно сузило смысл этого понятия, однако позволило рассмотреть ряд дискурсов культуры под одним углом зрения, прежде всего литературный дискурс, сценический и кинематографический дискурсы, осмыслить систему времен, длительность повествования, отклонения от принятых норм и т.д. В последующем это понимание дискурса было распространено на все виды прагматически обусловленной речи. В американской функциональной лингвистике дискурс включал в себя и языковую деятельность и ее результат (текст). Для функционалистов функционирование языка в реальном времени и есть дискурс. Исследуется структура дискурса, понятая как иерархия отношений риторических структур (У.Манн, С.Томпсон). У.Чейф в книге " Дискурс, сознание и время. Текущий и отстраненный сознательный опыт в речи и письме" (1994) исходит из приоритетности разговорного языка (прежде всего бытового) и непосредственного опыта сознания перед письменным языком и отстраненным сознанием, представленным в воспоминании и воображении. Поэтому квантом дискурса для него является интонационная единица.

Анализ письменного языка и отстраненного опыта включает в себя изучение прозы от первого лица, прозы от третьего лица и цитируемой речью, что важно для осмысления литературных текстов [см. подробнее: 24, с. 126-139]. Однако основная линия в трактовке дискурса состояла в отождествлении дискурса и текста в его социокультурном контексте. Из этого отождествления выросла лингвистика текста. Еще в 1968 г. Ц. Тодоров заметил, что

"лингвистической теории связного текста (discours) пока еще не существует, так что здесь нам ориентироваться не на что" [47, с. 459]. За прошедшее время положение дел существенноизменилось - лингвистика текста как специальная научная дисциплина сформировалась.[12]

Проведение принципиального различия между дискурсом и текстом связано со школой дискурсного анализа Т.А.ван Дейка. Текст был понят как абстрактная формальная конструкция, задающая возможности для реализации и актуализации в дискурсе в определенном социокультурном контексте и в связи с экстралингвистическими факторами (установки, мнения, знания, цели адресата и др.). "действительное понимание дискурса зависит от изменяющихся когнитивных характеристик пользователей языка и от контекста" [13, с. 45]. Дискурс трактуется как сложное коммуникативное событие и одновременно как связная последовательность предложений, которые анализируются с точки зрения лингвистических кодов, фреймов, сценарий, установок, моделей контекста, социальных репрезентаций, организующих социальное общение и понимание. Иными словами, ван Дейк иначе сформулировал оппозицию: "текст" - "дискурс", где текст предстает как абстрактное поле возможностей, актуализирующихся в различных формах дискурса.

В 1975 г. П.Серио проводит анализ советского политического дискурса как выражение особой, советской ментальности и обезличенной идеологии. Этот тип дискурса использует особую грамматику и особые правила лексики, создавая "суконный язык" или "деревянный язык" (gueulle de bois). С помощью анализа дискурса лингвистика и философия стали ориентироваться на смыслы, которые существуют для человека в актах его взаимодействия с другими людьми, обратились не к абстрактно значимым и строго однозначным понятиям, а к концептам, функционирующим в актах коммуникации и в дискурсах (А.Вежбицка, Н.Д.Арутюнова).

Неоднозначность трактовки дискурса в лингвистике и философии XX в. выражается в том, что под ним понимается монологически развиваемая языково-речевая конструкция, например, речь или текст. Вместе с тем нередко под дискурсом понимается последовательность совершаемых в языке взаимоинтенциональных коммуникативных актов. Такой последовательностью может быть разговор, диалог, письменные тексты, содержащие взаимные ссылки и посвященные общей тематике и т.д. Дискурс связывают с такой активностью в языке, которая соответствует специфической языковой сфере и обладает специфической лексикой. Кроме того, продуцирование дискурса осуществляется по определенным правилам (синтаксиса) и с определенной семантикой. Дискурс тем самым создается в определенном смысловом поле и призван передавать определенные смыслы, нацелен на коммуникативное действие со своей прагматикой. Решающим критерием дискурса оказывается особая языковая среда, в которой создаются языковые конструкции. Поэтому сам термин дискурс требует

[12] Об этом см. [38] и [22].

соответствующего определения - "политический дискурс", "научный дискурс", "философский дискурс". В соответствии с этим пониманием дискурс - это "язык в языке", то есть определенная лексика, семантика, прагматика и синтаксис, являющие себя в актуальных коммуникативных актах, речи и текстах. Вне актов живой речи о дискурсе говорить невозможно.

Итак, многобразны те оппозиции, в которых анализируется дискурс. По нашему мнению, дискурс является синтезом логико-семантических структур значения, который представлен в специфических правилах комбинации и трансформации. Это тот глубинный смысловой уровень, который выражен в поверхностных уровнях и манифестируется в высказываниях, речи, тексте. Он задает систему возможностей, которая реализуется в нормах актуальной речи, в актуальных высказываниях и в письменном тексте. В нарратологии как теории "диалогического взаимодействия" писателя и читателя выявляются различные уровни дискурса, зависящих в том числе и от повествовательных инстанций (нарратора, наррататора и актора), от дискурса персонажей, его дискурса о моем дискурсе, моего дискурса о его дискурсе и т.д.). Тем самым в анализ дискурса включается анализ "своего" и "чужого" слова, взаимоинтенциональность и рефлексивность диалога, моего понимания (схватывания, конципирования) чужой речи и понимания (конципирования) другим моей речи. Дискурсный анализ в нарратологии и стал весьма эффективным методом исследования произведений культуры – литературных (поэтических и прозаических), театрально-сценических, кинофильмов.

Поворот к концепту. Элементарной единицей дискурса является концепт, который можно истолковать как логически смысловой компонент глубинной семантической структуры отдельного высказывания или цепочки высказываний. Этот компонент характеризует акт понимания, его выражение в коммуникации и его результат, полученный в коммуникации. Коммуникация немыслима без достижения понимания, вне концепта, в котором схватывается смысл речи и высказываний другого, участника коммуникации. Со своей стороны и другой участник коммуникации, осуществляя акт понимания, вырабатывает в ходе диалога концепт. в котором выражено схватывание им смысла моего высказывания, моей речи. Концепты – это не просто общие "топосы", формирующиеся в ходе диалога и обеспечивающие его нормальное функционирование. Это вместе с тем акты схватывания смыслов (проблемы, речи) в единстве речевого высказывания.

Идея концепта изначально предполагает направленность на другого. Это легко обнаружить, даже если просто исходить из этимологии слова: латинское conceptus означает не только схватывание, замысел, но и зачатие. Схватывание в один ментальный узел, или постижение смысла чего-то вообще, еще не ясного, еще слишком общего и абстрактного, требует своей выраженности, а поскольку такого рода схватывание всегда в той или иной мере интуитивно, оно требует постоянных поправок выражений его, прояснений и обговарива-

ний, в результате чего из неясного нечто формируются контуры вещи. Вещь как раз и возникает как вещь в результате такого конципирования, выраженного в речевом процессе. Вопрос, однако, в том, как именно возникает сама идея концепта.

В философии нового времени концепт был замещен понятием с его однозначностью и конвенциональной значимостью. Ориентация на однозначное истинное знание, характерная для гносеологии нового времени, привела к освобождению знания от всех коммуникативных связей, от включенности в коммуникативный (в том числе и речевые) контексты и задала лишь одну перспективу рассмотрения ментальных образований - анализа обусловленности идей эмпирическим базисом (эмпиристская программа) или автономности теоретических идей относительно эмпирического базиса (рационализм). Концептуальные акты смыслопорождения и смыслопонимания не включались в горизонт гносеологического анализа.

Лишь Кант, обратившись к исследованию синтетических суждений априори и актов синтеза, прибегнул к разграничению conceptus communis, concepus comparationis, conceptus cosmicus, conceptus ratiocinantes, conceptus rationalis, conceptus ratiocinati. Он использовал термины begreifen и verstehen для характеристика актов постижения и понимания. Немецкий кантовед Н. Хинске [55] осуществил детальный и источниковедчески обоснованный анализ генезиса терминологии Канта, продемонстрировав связи Канта с предшественниками и те изменения, которые были осуществлены им в философской терминологии при создании «Критики чистого разума». Это относится прежде всего к двум понятиям его философии – концепт и система.

В отечественной литературе [37, с. 692-693, 705-706] уже обращали внимание на то, что в блестящем и ставшим каноническим переводе «Критики чистого разума» Н.Лосского не проводилось различия между двумя видами понятий, хотя самим Кантом они различались, – между conceptus и notiones. Их различие состоит в том, что первые являются опытными понятиями, а вторые – априорными и имеют свое происхождение лишь в рассудке. В свою очередь концепты он подразделяет на эмпирические и чистые, на данные (conceptus dati) и созданные (conceptus facticii). В «Критике чистого разума» он проведет еще одно различие - различие между рациональными (conceptus ratiocinati) и рационализирующими концептами (conceptus ratiocinantes). Понятия рассудка (notiones), выходящие за пределы возможного опыта, тождественны понятиям разума, или идеям. Чистый концепт (безотносительно к представлениям, восприятиям, к интуициям) – это ноция. Отметим, что Кант фиксирует эти различия, приводя латинские термины, по-немецки и то, и другое переведены как Begriff, но их функции в мышлении как деятельности и их отношение к опыту различны: в случае концепта речь идет о формировании общего схватывания (conceptus communis) и категорий на базе эмпирического опыта, во втором случае – о

выходе за пределы возможного опыта и о генезисе альтернативных идей – антиномий разума.

После выхода книги Хинске становится ясным истоки кантовских различений – философские работы немецких просветителей – Вольфа и вольфианца Г.Ф.Майера. Но если Майер полагал, что «все наши представления суть понятия», то Кант в своих лекциях по логике подчеркивает: «Не всякое представление есть понятие» [55, с. 129]. В одной из рукописей по логике (в «Логике Филиппи») он уже вычленяет три характеристики познания: 1) представления (representation), 2) общие понятия рассудка (conceptus) и 3) всеобщие понятия разума, или идеи (ideae). В рукописях 1773-1777 гг. он отмечает пять характеристик познания – представления, восприятия, концепты, ноции, идеи, сосредотачивая свое основное внимание на различении «intuitus» и «conceptus». В т.н. «Бреславской логике», обнаруженной уже после публикации лекций по логике в академическом издании Канта, вводится шестичленная структура познавательных способностей и функций: представление, восприятие, интуиция, концепт, ноция, идея. Здесь уже notion intellectus могут быть даны в опыте, а идея трактуется как то, что выходит за пределы всякого опыта. В «Венской логике» (1794-1795) сохраняется шестичленная структура и проводится различие между двумя видами ноций – notion intellectualis, предмет которого может быть дан в опыте, и notio rationis, предмет которого не может быть ни в каком опыте и которое тождественно идее.

Так, понятия разума служат, по его словам, для понимания понятий рассудка и если они имеют объективное значение, то они называются правильно выведенными понятиями (conceptus raticinati), если не имеют объективного значения, то они называются им умствующими понятиями (conceptus ratiocinantes). Что такое "умствующее понятие? Эта новая сущность появилась в результате стремления переводчика отказаться от слова "концепт". Хотя сам же Кант писал: "Создавать новые слова - это значит иметь притязание на законодательство в языке, редко венчающееся успехом. Раньше, чем прибегнуть к этому крайнему средству, полезно обратиться к мертвым языкам и к языку науки с целью поискать, нет ли в этой области занимающего нас понятия вместе с соответствующим ему термином..." [18, с. 295-296].

Кант рассматривает понятия как акты синтеза, подчиняющиеся и включающие в себя определенные правила, отличаемые им от законов и принципов. И хотя Кант анализирует познавательные акты вне стихии языка, как процедуры синтеза чистого рассудка и разума, отягощенные лишь аффицированием чувственности и ничем больше, все же Кант весьма ригористичен в употреблении старых и новых философских терминов. Так, проводя различие между понятиями рассудка и разума, он употребляет различные термины для фиксации различных актов познания: "понятия разума служат для постижения (zum Begreifen) понятия рассудка подобно тому, как понятия рассудка - для понимания (zum Verstehen) восприятий» [18, с. 348]. Понятия разума, имеющие объек-

тивное значение, он называет conceptus ratiocinanti (рациональным пониманием), а понятия разума, которые не имеют объективного значения, conceptus ratiocinantes (рационализирующим пониманием).

В русском переводе вообще скрыто то, что речь идет об актах познания, их различие, а перевод первого как правильно выведенного понятия, а второго как умствующего понятия вообще не позволяет понять смысл этих терминов. Перевод conceptus communis как общего понятия также неадекватен, поскольку речь идет о совместном понимании, а не о всеобщем понятии. Кант обращается к старому термину conceptus для того, чтобы подчеркнуть активность познавательных способностей: "познание является или интуитивным, или концептуальным"[13]. Синтез есть акт рассудка. Наглядные представления чувственности должны быть соединены с самодеятельностью рассудка. Это соединение, или синтез, присущий знанию, осуществляется в трех формах: 1) синтезе аппрегензии (схватывания) в наглядном представлении; 2)синтезе воспроизведения в воображении; 3) синтезе соузнавания в понятии. Эти три формы синтеза основаны на разделении трех способностей - чистое созерцание, чистое воображение и чистый рассудок, кроме того, как показал М.Хайдеггер в работе "Кант и проблема метафизики", на различной роли времени в деятельности воображения в этих актах синтеза. Чистые рассудочные понятия, повторим, он называет нociями (Notion), их соединение представлено в суждениях, в их способах предикации. Чистые понятия рассудка имеют характер онтологических предикатов суждений, на основе которых выявляются определенные категории. Чистое рефлектирующее понимание (conceptus reflectens) репрезентировано в суждении и в самодеятельности рассудка, которая ориентирована в суждении на отношения и служат правилам. Рассудок и есть *способность создавать правила*.

Согласно Канту, объекты конституируются нами вне связи с какими-либо правилами или в соответствии с правилами, которые устанавливаются неустранимыми концептами, вплетенными в наши трансцендентальные способности. Без самодеятельности рассудка, или без его спонтанности, невозможно помыслить формы синтеза. И хотя Кант стремился освободить мышление от его связанности с языком, все же, обратив внимание на процедуру синтеза или понимания многообразия различных представлений в едином акте познания, он вычленил чистые понятия синтеза, которые рассудок содержит в себе априори, на базе их синтеза в *суждениях* различного типа. Поэтому и категории трактуются им как *логические функции* во всех возможных суждениях, а способность рассудка сводится к этим функциям. Иными словами, опосредованно, поскольку речь идет о дедукции категорий как логических функций из суждений, им осознается концептуальный характер познания, постигаемый в различных актах синтеза.

В последующем развитии немецкой философии акцент все более и более смещался в сторону объективного и однозначного понятия, которое стало фун-

[13] Ср. с переводом [18, с. 300]

даментальной характеристикой познания. Такой подход предполагал вынесение за скобку проблем языка и речи. И хотя Гегель называл язык "первой внешней формой, которую сообщает себе человек", но все же это «стихия, чужеродная для духа, который существует лишь под условием свободной духовности субъекта" [9, с. 198-199]. Поэтому, очевидно, характеризуя спор реалистов и номиналистов, он прошел мимо концептуализма (причислив Абеляра к номиналистам). Э.В.Ильенков посвятил проблеме языка у Гегеля статью [17], все же Гегель рассматривал язык как абстрактную нейтральность, как стихию, нейтральную относительно познания. Поэтому от этой стихии следует освободиться для того, чтобы постичь жизнь духа в его понятийных формах и в его понятийном движении, истину как характеристику безличного абсолютного духа.

Анализ концептов в современной философии. В английском эмпиризме XIX в., который не смог принять логоцентризма и панлогизма немецкого идеализма, начинается поворот к идее концепта, правда, понятого как восстановление целостности перцептивного опыта. Иными словами, У.Гамильтон, Ш.Х.Ходжсон обращаются к концепту в качестве чего-то дополнительного относительно перцепта, опять-таки анализируя и перцептивный опыт, и концепты вне их связи с языком и вне их репрезентации в языке и речи.

Само собой напрашивается *психологическое истолкование концепта.* Ведь это образование индивидуального сознания, еще не приобретшее интерсубъективного характера, а тем более объективного характера, хотя оно может быть овеществлено, опредмечено в вещи, в техническом изделии, в тексте. Русский философ С.А.Алексеев-Аскольдов, возражая Э.Гуссерлю за его возрождение панлогистического реализма, развивает точку зрения, которую он называет концептуализмом: " По крайней мере, точка зрения концептуализма представляется нам способной выдержать все направляемые против нее возражения, которые зачастую производят впечатление лишь некоторых искусственных изобретений, а не естественных аргументов" [3, с. 357]. Не приемля допущение некоего трансцендентального, безличного субъекта, он выдвигал в противовес обезличенному гносеологическому субъекту индивидуального субъекта, а в качестве познавательной формы - концепт, возникающий на основе символизации интуиций. "Концепт есть образование индивидуальной мысли, пригодное для осуществления всех тех значений, которые даются вышеприведенными категориями общих имен, более того, содержащие эти значения вполне и целиком в себе, а не где-нибудь вне себя". [3, с. 357].

Аскольдов делает акцент на индивидуальном статусе концепта, его генезисе в индивидуальном сознании, фиксируя тот момент, который обычно упускался во всех антипсихологистских, трансценденталистских учениях о сознании. И речь у него не идет о смешении содержания и актов сознания, как это считает И.М.Чубаров в своих развязно-снисходительных комментариях к текстам Аскольдова, о том, чтобы преодолеть гуссерлианский разрыв между актом и предметным содержанием, чтобы интерпретировать предметное значе-

ние как смыслопорождение. осуществляемое индивидуальным субъектом. Но все же тот вопрос, который он задавал Гуссерлю: "Что же является связующим звеном между идеальными предметами и конкретностями восприятий и представлений?", так и остается вопросом и для него самого. Ответа на него он не смог дать, поскольку опять-таки строит вариант "мистического рационализма" вне всякой соотнесенности мышления и языка. актов мысли, предметного содержания, или значений, и речи.

Не удовлетворенный психологизацией когнитивных структур, Г.Г.Шпет в своей незаконченной рукописи "Язык и смысл" (середина 20-х годов XX века), анализирует в специальных параграфах специфику понятия концепта. Он определяет концепт как экстенсиональную характеристику понятия, т.е. связывая его с объемом понятий, с пустыми формами, независимыми от предметного значения: "Такое понимание формы, перерезающей нити, которые связывают ее постоянно текучими отношениями со знаниями, приводит к идее чисто *внешней формы*, устанавливаемой в результате искусственных приемов абстрагирующих актов мышления. Для дальнейшего назовем такие понятия, имеющие в виду только объемные отношения, *концептами*, а соответствующие отношения - *концептуальными отношениями.* Основные категории этих отношений: рол, вид, класс и пр. суть *концептуальные категории*" [58, с. 119]. В противовес понятиям, которые для Шпета "полные, живые понятия, суть "осмысленные разумные формы", концепты, по его мнению, пусты и мертвы. И хотя Шпет занимался проблемами этнопсихологии и даже написал первую отечественную книгу по этнической психологии, все же его ориентация на однозначность понятий, на приоритетность понятийных форм является определяющей. Поэтому он подчеркивает автосемантичность понятия в отличие от синсемантической природы концептов и отождествляет понятие со значением терминативного знака.

Логика, пришедшая вместе с семантикой к различению экстенсиональных и интенсиональных контекстов, экстенсионала и интенсионала (Р.Карнап), перевернула взаимоотношение внешней и внутренней форм слова: то, что Шпет считал внешней формой слова, отождествляя его с концептом, стало считаться более глубинным смысловым слоем. Так, А.Черч, определяя смысл как то, что "бывает усвоено, когда понято имя, так что возможно понимать смысл имени, ничего не зная о его денотате" [56, с. 18-19]. Тем самым Черч дает концептам не психологистическое, а семантическое обоснование, связывая их со смысловым значением. Такая трактовка концептов сложилась у Черча не без влияния Р.Карнапа в ходе их переписки в 1943 г. Черч проводит различие между предметным значением и смысловым значением формы. Последнее значание определяется "концептом некоторого значения переменной x и совпадает со смыслом выражения, получаемого из формулы при подстановке в нее вместо всех вхождений x произвольного имени, смыслом которого является этот концепт" [56, с. 348].

Однако трактовка Черча отличается от интерпретации концепта у Р.Карнапа. Главной целью своей книги "Значение и необходимость" Р.Карнап видел в развитии "нового метода семантического анализа значения, то есть нового метода анализа и описания значений языковых выражений" [23, с. 23]. Этот метод им был назван методом экстенсионала и интенсионала. Для него концепты - это значение термина, относящегося к метаязыку, который говорит о семантической системе. По его определению, "термин ‘концепт’ будет употребляться здесь как общее обозначение для свойств, отношений и тому подобных объектов (включая индивидные концепты... и функции, но не суждения). Для этого термина особенно важно подчеркнуть то обстоятельство, что он не должен пониматься в психологическом смысле, то есть как относящийся к процессу воображения, мышления, понимания и т.п., он скорее должен пониматься как термин, который относится к чему-то объективному, находящемуся в природе и выражаемому в языке десигнатором, не имеющим формы предложения" [23, с. 55].

В противовес психологистическому истолкованию значения языковых выражений и концептов (например, у К.Твардовского) Карнап дает логическую интерпретацию концепта и понятия, которая связана с различением экстенсионала и интенсионала, объектного языка и метаязыка. Такова линия в логике, которая вместе с семантикой привела к различению двух уровней слова – предметного содержания и смыслового значения, понятия и концепта, экстенсионала и интенсионала и, соответственно, двух теорий – теории референции и теории смысла, где смысл выражений все более и более ставится в зависимость от коммуникативных аспектов и от употребления языка.

Лишь после лингвистического поворота, осуществленного в философии в 30-е годы, после различения Ф.Соссюром языка и речи, после возрождения неогумбольдтианства начинается интенсивное обсуждение концепта как специфической познавательной формы, его размежевание от понятия. Поэтому начинается и обсуждение роли троп в познавательных актах. Так, С.Лангер связывает концептуализацию с символизацией личностного перцептивного опыта через воображение, Г.Блюменберг фиксирует роль метафор в актах познания и строит "метафорологию", Х.Уайт раскрывает систему тропов, существенных для исторического познания. Таково движение от объективного и однозначного понятия в сторону концептов, их метафоричности и многозначности.

Ж. Делез и Ф. Гваттари проводят принципиальное различие между научными понятиями и философскими концептами: наука связана с исследованием функций, представленных в пропозициях, и ее понятия могут быть проанализированы с позиций экстенсионального и интенсионального контекстов, а философия имеет дело со смысловыми характеристиками и не может быть рассмотрена под теми углами зрения, которые прилагаются к научному знанию. Согласно Делезу и Гваттари, философия изобретает концепты и мыслит ими. В каждой философии свои концепты. Их составляющими являются возможный

мир, существующее лицо и речь. «Концепт нетелесен, хотя он воплощается или осуществляется в телах» [14, с. 32] – в вещах, состояниях вещей, телах. Он, хотя и обладает пространственно-временными координатами, лишь интенсивен. Если философия имеет дело с событиями, то наука – с референцией функций, выраженных в состояниях вещей. «Концепт – это событие» [14, с. 32], «у него нет референции; он автореферентен, будучи творим, он одновременно сам полагает и себя и свой объект» [14, с. 33-34], формируя концептуальные персонажи (Сократ у Платона, Дионис у Ф.Ницше, Простец у Николая Кузанца), а не абстрактные символы и аллегории. Концепты никогда не выразимы в пропозициях, «их можно только показать» [14, с. 179]. Чистые события, с которыми имеет дело философия, ускользают от своей актуализации, они всегда сохраняют тайную сторону [14, с. 199].

Термин "концепт" предложил использовать переводчик книги Делеза и Гваттари "Что такое философия?", уловив, что термин "понятие" не вполне уместен в представленной этими авторами философии. Ясно, что концепт здесь не объективное единство различных моментов предмета понятия, поскольку он связан с субъектом и речью, направлен на другое, отсылает к проблемам, без которых он не имеет смысла, отсылает к миру возможного, принадлежит философии, где движение мысли к истине предполагает взаимообратимость: движение истины к мысли. Вернуться к концепту французу легче, чем немцу: термину le concept, уже давно переводившемуся как «понятие», не пришлось менять ни буквы, ибо в себе самом французское понятие столь же издавно заточило в себе концепт, связанный не столько с идеальностью, сколько с персонажностью, каким, например, является «друг», «нечто внутренне присутствующее в мысли, условие самой ее возможности, живая категория, элемент трансцендентального опыта" [14, с. 11].

Существенно то, что концепт обладает реальностью виртуального. Бытие трактуется Делезом как унивокальное (единогласное, унисонное) единое, которое дифференсируется до множественности, до многоголосья. Вместе с тем бытие не есть отношение, не есть репрезентация, в нем нет онтологической раздвоенности (как у Гегеля), но оно не совпадает и с тавтологией. В бытии - событии существуют разные силовые уровни, перепады, перегибы единогласного (унивокального) бытия. Эти перепады сил ведут бытие к обособлению сущностей, к распадению его на виртуальное и актуальное, на вечную истину и на время и т.д. Философскую концепцию Ж.Делеза можно интерпретировать как неоплатонизм, соединенный с бергсонианством в осознании роли творческой эволюции, уникальности бытия.

Поскольку в основание философствования положен физический мир со вполне синергетической идеей хаоса и математический мир фрактальной геометрии (о чем, как правило, не размышляют поклонники постмодернизма), то естественно, что не только собственной, но и собственно реальностью для представителей такой позиции является возможностный мир. Хаос

обнаруживается в зазоре между мыслями как предельное состояние мышления, выраженное в идее произведения, требующего в виде ответа нового произведения. По Делезу же и Гваттари, хаос преобладает над космосом, собственно хаос нейтрален, они ни субъект, ни объект. Реальный мир рассматривается как поле опыта не относительно субъекта, а относительно "наличествования". Внутри этого наличествования есть творческие субъекты, но это творчество понимается не как творение мира впервые, а как способность устроения некоторого порядка внутри хаоса, превращая его в хаосмос. Философия в таком случае действительно не созерцание, не коммуникация, творящая консенсус, то есть снятие проблем, не рефлексия, она способ мгновенного схватывания чего-то, сравнимого с глотком воздуха. "Все, что нам нужно, - немного порядка, чтобы защититься от хаоса" [14, с. 256]. Философия становится своего рода терапией, избавляющей на время от раздвоенности, растроенности или расстроенности сознания от бесконечной текучести среды (которая и есть хаос), являющейся результатом проблемы бесконечной скорости, решаемой со времен Спинозы. Субъект образуется лишь в результате решения этой проблемы, то есть он сформирован хаосом и концептом, который как схватывание некоторого порядка есть событие, целостность, и таких концептов может быть множество – множество прорывов из хаоса, множество глотков воздуха.

Как и в Средневековье, идея концепта связана с идеей речи (движение у Делеза в "Логике смысла" происходит «от шума к голосу», «от голоса к речи», от речи к слову, к глагольному слову, изнутри интенционально содержащему возможность изменения). Но в силу изначальности хаоса снимается и оппозиция речь - язык. "Реальный язык, то есть речь" [14, с. 28]. Все оказывается погруженным в речевую стихию, и слабые выбросы из нее есть не грамматика языка, непременно связанная с предложениями, это то, что Делез и Гваттари назвали философской грамматикой, которая "говорит фразами, но из фраз… не всегда извлекаются пропозиции" [14, с. 36]. Так что абсолютно оправданно называть это речевое схватывание концептом, которому нет оппозиции в понятии, ибо в мире возможностей, связанном с текучестью, а потому и основанном на эквивокации, нет места понятию, останавливающему текучесть, связывающему разнообразие субъектов в некое объективное единство. Концепт - это событие, а "события - это не понятие. Приписываемая им противоречивость (манифестируемая в понятии) есть как раз результат их несовместимости, а не наоборот" [15, с. 205].

Фактически, Делез и Гваттари своей идеей Другого и концепта дали логическое объяснение известным сказочным (фольклорным) сюжетам, связанных с походами туда, не знаю, куда, и приносами (переносами, трансфертами) из одного места в другое того, не знаю что [35]. Они обнаружили то, что Ницше назвал "скрытой точкой, где житейский анекдот и афоризм мысли сливаются воедино" [14, с. 159]. Концепт, берущий свое рождение в нейтральном возмож-

ном Другом и выраженный через субъект, есть не субъект-субстанция, как то было в Средневековье, а объект, поглощающий субъекта и предполагающий его. Концепт, ведущий к схватыванию однозначного (единогласного), непременно сталкивается, а затем и поглощается эквивокацией, двуосмысленностью, двухголосием, которое представляет мир возможностей. Как писал Делез в книге "Логика смысла", "молния однозначности" (или - единомыслия, единогласия, унисонного, то, что у Боэция было передано термином univocatio) переоткрывает эквивокацию, как и наоборот: эквивокация подготавливает язык для откровения единомыслия-однозначности, что есть "тотальное выражающее уникального выражения – события " [14, с. 297-298], которое есть концепт. Потому логика концепта требует становления, а не сущностного решения, что очень важно для понимания политических схваток. Его введение направлено на прекрасную, очень тонкую, остроумную фиксацию имманентного плана бытия (исключающего трансцендентное), его «бесконечных *переменностей*», с чем, по мнению авторов "Что такое философия?", связана фрагментарность концептов. "В качестве фрагментарных целых концепты, полагают они, не являются даже деталями мозаики, так как их неправильные очертания не соответствуют друг другу. Даже мосты между концептами – тоже перекрестки или же окольные пути, не описывающие никаких дискурсивных комплексов. Это подвижные мосты. В таком случае не будет ошибкой считать, что философия постоянно находится в состоянии отклонения или дигрессивности" [14, с. 35].

Что касается последнего, то с этим трудно не согласиться, поскольку, сомневаясь, философия всегда отклонялась. Весь вопрос: ради чего? Ради того, чтобы обнаружить некое правильное одно, или ради того, чтобы стать одной из множества правильностей. Делез и Гваттари также, как средневековые мыслители, связывают идею концепта с Другим. Но для них – в полном соответствии с возможностной философией – Другой есть, конечно, субъект, но по отношению к "я" он предстает как объект, и наоборот: если представить его как субъект, то объектом по отношению к нему, Другим, предстоящим (стоящим перед ним) оказываюсь я. Смена позиций Другого (то субъект, то объект) переворачивает саму идею Другого, который отныне становится безличностным.

Чаще всего это бывает именно в политической деятельности. Это особенно ярко наблюдалось в наблюдаемую нами «эпоху Ельцина», когда выражение «не так сидим» выражало сиюминутную смену политических ориентиров (высокие чины, немолодые люди, не выражая неудовольствия, однако, вероятно, не без внутреннего смущения на глазах телезрителей пересаживались из одного, более почетного, кресла, в другое, менее важное). "Другой - это никто, ни субъект, ни объект" [14, с. 35]. Идея речи, направленная на понимание и соответственно правильность/праведность исчезает, речь начинает быть направленной исключительно на связность. Цель философии, искусства и науки направлены на выявление «приближения к связности, не более присущей нам, людям, чем богу или миру" [16, с. 37], то есть вырисовывается идея связности, действительно не-

зависимая от «антропологических предикатов». Но тогда от чего? Какой силой она вообще возможна, если за непрерывным скольжением смыслов и игрой незакрепленных сигнификаций исчезает субъект и сама идея другого оказывается властью не поддержки Я собеседующим словом, а уничтожению Я, превращению его в набор мнений, помогающих удержать хоть какой-то порядок внутри хаоса?

Речь, о которой столь проницательно пишет Делез в «Логике смысла», оказывается всего лишь игрой ассоциаций и интерпретаций, уничтожающей любой текст – речь прежде всего идет о священных текстах, - превращая его в объект властных претензий, уничтожающих его как цельное произведение. Власть философии закончилась. "Она не есть ни созерцание, ни рефлексия, ни коммуникация… Философия не созерцание, так как созерцания суть сами же вещи, рассматриваемые в ходе творения соответствующих концептов. Философия - не рефлексия, так как никому не нужна философия, чтобы о чем-то размышлять…, ибо чистые математики вовсе не дожидались философии, чтобы размышлять о математике, как и художники – о живописи или музыке; говорить же, будто при этом они становятся философами, – скверная шутка, настолько неотъемлемо их рефлексия принадлежит их собственному творчеству. Философия не обретает окончательного прибежища и в коммуникации, которая потенциально работает только с мнениями, дабы сотворить в итоге "консенсус", а не концепт. Идея дружеской беседы в духе западной демократии никогда не производила ни малейшего концепта" [14, с. 15]. «Универсалии созерцания, а затем Универсалии рефлексии – таковы две иллюзии, через которые уже прошла философия в своих мечтах о господстве над другими дисциплинами…, и ей доставит ничуть не больше чести, если она начнет представлять себя в роли новых Афин и отыгрываться Универсалиями коммуникации, долженствующими-де доставить нам правила для воображаемого господства над рынком и масс-медиа…. Творчество всегда единично, и концепт как собственно философское творение всегда есть нечто единичное. Первейший принцип философии состоит в том, что Универсалии ничего не объясняют, они сами подлежат объяснению" [14, с. 16]. Все это совершенно ясно при условии полной незакрепленности значения, плывущего текста-речи. Вопрос лишь в основаниях, на которых математик (художник…) не нуждается в философии, вещи-созерцания - не созерцание, а дружеская беседа в духе западной демократии ведет к консенсусу? И только познание чистых концептов можно считать окончательным определением философии.

Концепт в его новофранцузском понимании, утратив силу понятия, отождествив творение с изобретением, подчинившись физическому хаосу, действительно стал полем распространенных в пространстве суггестивных знаков. Когда концепт определяется как энциклопедия, педагогика и профессионально-коммерческая подготовка, то ясно, что он со своими оптимистическими родственниками из средневековья, жившими упованиями на веру, надежду,

любовь, позволявшими им превозмогать себя, а не выживать, утратил связь, ибо личная, уникальная форма собеседующего слова позволяла ему стать над рынком в трансцендентную позицию. Это в некотором роде пессимистическая философия ("все, что нам нужно, - это немного порядка, чтобы защититься от хаоса") является своего рода пределом и изживанием прежнего натурфилософского взгляда на мир, усложненного современными открытиями в физике и математике. И в этом ее сила – сила концептуального видения, предполагающего возможность множества философий. Это лишний раз показывает и доказывает (через эту точку зрения) универсальность современной идеи философской полифонии, ибо о такого рода полифонии (используя разные системы показательств-доказательств) говорили Х.Ортега–и-Гассет, М.М.Бахтин, В.С.Библер.

(продолжение следует)

ЛИТЕРАТУРА

1. *Августин Блаженный*. О граде Божием. В 4-ех тт. М., 1994.
2. *Антология концептов*. М., 2007.
3. *Антология феноменологической философии в России*. Т.1. М., 1998.
4. *Аристотель*. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения в 4-ех тт. Т. 4. М., 1983.
5. *Аристотель*. Политика // Аристотель. Сочинения в 4-ех тт. Т. 4. М., 1983.
6. *Арон Р*. Демократия и тоталитаризм // Антология мировой политической мысли. Т.2. М., 1997.
7. *Берлин И*. Подлинная цель познания. М., 2002.
8. *Вебер М*. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
9. *Гегель Г.В.Ф*. Лекции по истории философии. Кн. 3 // Гегель Г.В.Ф. Сочинения в 14 тт. Т. 11. М. – Л., 1935.
10. *Гидденс Э*. Последствия модернити // Новая постиндустриальная волна на Западе. М., 1999.
11. *Гоббс Т*. Левиафан. М., 1936.
12. *Данте Алигьери*. Малые произведения. М., 1968.
13. *Дейк Т.А. ван*. Язык, познание, коммуникация. М., 1989.
14. *Делез Ж., Гваттари Ф*. Что такое философия? СПб., 1998.
15. *Делез Ж*. Логика смысла. М., 1995.
16. *Делез Ж*. Различие и повторение. СПб., 1998.

17. *Ильенков Э.В.* Гегель и герменевтика. К проблеме соотношения языка и мышления в концепции Гегеля // Вопросы Философии. 1974. № 8.

18. *Кант И.* Критика чистого разума. М., 1998.

19. *Кант И.* Критика чистого разума // Кант И. Сочинения в 6-ти тт. Т.3. М., 1964.

20. *Кант И.* Пролегомены // Кант И. Сочинения в 6-ти тт. Т.4. Ч.1. М., 1965.

21. *Кант И.* Трактаты и письма. М., 1980.

22. *Карасик В.И.* Дискурс // Социальная психолингвистика. Хрестоматия. М., 2007.

23. *Карнап Р.* Значение и необходимость. М., 1959.

24. *Кибрик А.А.*Когнитивные исследования по дискурсу // Вопросы языкознания. 1994. № 5.

25. *Косериу Э.* Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.

26. *Логический анализ языка*. Избранное. 1985-1995. М., 2003.

27. *Локк Д.* Два трактата о правлении // Локк Д. Сочинения в 3 тт. Т. 3. М., 1988.

28. *Макиавелли Н.* Государь // Макиавелли Н. Избранные произведения. М., 1982.

29. *Манхейм К.* Идеология и утопия // Антология мировой политической мысли. Т. 2. М., 1997.

30. *Мартыненко О.Л.* Политическая философия Исайи Берлина. Автореф. дисс. на соискание степени кандидата философ. наук. М., 2002.

31. *Мерриам Ч.Э.* Новые аспекты политики // Антология мировой политической мысли. Т.2. М., 1997.

32. *Мизес Л.фон.* Либерализм в классической традиции// Антология мировой политической мысли. Т.2. М., 1997.

33. *Михельс Р.* Социология политической партии в условиях демократии // Антология мировой политической мысли. Т.2. М., 1997.

34. *Моска Г.* Правящий класс // Антология мировой политической мысли. Т.2. М., 1997.

35. *Неретина С.С.* Опыт словаря средневековой культуры. Загадка // Благо и истина: классические и неклассические регулятивы. М., 1998.

36. *Неретина С.С.* Парадигмы исторического сознания в России начала века // Философские исследования. 1993. № 3.

37. *Неретина С.С., Огурцов А.П.* Пути к универсалиям. СПб., 2006.

38. *Николаева Т.М*. Краткий словарь терминов лингвистики текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста. М., 1978.

39. *Огурцов А.П.* Интерсубъективность как поле философских исследований // Личность. Культура. Общество. Т. IX. Вып. 2 (36). М., 2007.

40. *Огурцов А.П.* Что такое воля? (Взгляд философа) // Мир психологии. 2007. № 3.

41. *Петров М.К.* Язык, знак, культура. М., 1991.

42. *Платон.* Парменид // Платон. Собрание сочинений в 4-ех тт. Т. 2. М., 1993.

43. *Ролз Д.* Теория справедливости // Антология мировой политической мысли. Т.2. М., 1997.

44. *Руткевич А.М.* Политическая философия Л.Штрауса // Штраус Л. О тирании. СПб., 2006.

45. *Соссюр Ф*. Труды по языкознанию. М., 1977.

46. *Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (15 век*). М., 1985.

47. *Тодоров Ц.* Грамматика повествовательного текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста. М., 1978.

48. *Тулмин С.* История. Практика и «третий мир» (трудности методологии Лакатоса) // Философия науки. Вып. 5. М., 1999.

49. *Фегелин Э.* Представительство и существование // Антология мировой политической мысли. Т. 2. М., 1997.

50. *Фейерабенд П.* Избранные труды по методологии науки. М., 1986.

51. *Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера*. М., 1994.

52. *Фуко М.* Археология знания. Киев, 1996.

53. *Фуко М.* Истина и правовые установления // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 2. М., 2005

54. *Фуко М.* Omnes et singulatim: к критике политического разума // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч.2. М., 2005.

55. *Хинске Н.* Между Просвещением и критикой разума. М., 2007.

56. *Черч А.*Введение в математическую логику. Т. 1. М., 1960.

57. *Шмитт К.*. Понятие политического // Антология мировой политической мысли. Т. 2. М., 1997.

58. *Шпет Г.Г.* Язык и смысл // Логос. 1996. № 7.

59. *Штраус Л.* Что такое политическая философия? // Антология мировой политической мысли. Т.2. М., 1997.

60. *Шумпетер Й.* Капитализм, социализм и демократия // Антология мировой политической мысли. Т.2. М., 1997.

61. *Энциклопедия эпистемологии и философии науки*. М., 2008.

62. *Юм Д.* Трактат о человеческой природе // Юм Д. Сочинения в 2-х т. Т. 1. М., 1965.

63. *Ясперс К.* Истоки истории и ее цель // Антология мировой политической мысли. Т. 2. М., 1997.

64. *Cicero M.T.* De legibus.

65. *Finocciaro M*. Galileo and the art of reasoning: Rhetorical foundations of logic and scientific method. Dordrecht etc., 1960.

66. *Giddens A*. The Nation-State and Violence. Berkeley and Los Angeles, 1987.

67. *Guardini R.* Der Gegensatz – Versuche einer Philosophie des Lebendig-Konkreten. Mainz, 1925.

68. *Perelman Ch*. The new Rhetoric and Humanities. Dordrecht, 1979.

69. *Toulmin S.* The uses of Argument. Cambridge, 1958.

70. *Weber M*. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen, 1951.

71. *Williams B*. Concepts and Categories. Philosophical Essays. Princeton, 1999.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАЗРАБОТКИ

В.П. Макаренко
Заслуженный деятель науки РФ,
академик Академии педагогических наук Украины,
доктор политических и философских наук, профессор,
Южный федеральный университет

Впервые идея политической концептологии (или политической метатеории) была высказана мною в 1995 г. на международной конференции, посвященной столетнему юбилею Львовско-Варшавской школы, а затем изложена в первой публикации [19]. Вначале я хотел создать политическую концептологию (далее ПК) для обобщения цикла моих исследований проблем бюрократии, оппозиции, истории и теории марксизма, легитимности. Однако в ходе реализации замысла оказалось, что ПК не исчерпывается интеграцией перечисленных сфер исследования и не помещается в рамки канонической политической науки (далее ПН). Поворотную роль в формулировке такого убеждения сыграло изучение аналитической философии.

Исходная проблема

Применение аналитической философии (далее АФ) к изучению социо-политических феноменов началось недавно. В аналитических дисциплинах последних лет на первый план начала выходить политическая философия (далее ПФ) [6, с. 8]. Я занимаюсь ПФ давно[1]. Мои штудии пересекаются с проблемой использования АФ для анализа отечественной социо-культурной и политической реальности. Применение философских методов для анализа конкретных объектов меня всегда интересовало больше философии как таковой. В 1995 я получил грант по теме «Метатеория политической реальности» и до 2000 гг. написал ряд книг и статей, посвященных анализу русской власти, главных идеологий современности, категории интереса и т.д.[2] Промежуточное резюме этих исследований можно сформулировать следующим образом.

[1] См.: [21]. Эта книга – первая в России с таким названием.
[2] См. [27; 52; 16; 24; 25; 14; 33; 17] и др.

Политическая концептология – это междисциплинарный подход к исследованию, пониманию и моделированию политической реальности в ее взаимосвязях со всеми сферами социальной и природной реальности. В философии науки существуют разные концепции междисциплинарности, анализа и понимания. Для конституирования ПК главной является процедура *методологического выбора.* Этот выбор предполагает *дистанцирование* исследователя от реальных политических процессов, систем, коньюнктуры и всего корпуса социогуманитарных и политологических знаний. Необходимость дистанции определяется тем, что указанные феномены являются вариантами традиционализма, экономикоцентризма, кратоцентризма и идеократии в региональном, национальном, государственном, цивилизационном и мировом измерениях.

Корпус ныне существующих политологических знаний есть комплекс пространственно-временных, властно-ситуационных и институциональных модификаций обыденных стереотипов поведения, экономического и политико-правового утилитаризма и прагматизма. Эти модификации отражены в системах международного, конституционного и обычного права, принципах государственного управления. Однако *различие* религиозных и светских идеологий, систем права и функционирования аппарата власти не преодолено ни в одном государстве современного мира. Поэтому комплекс нормативно-оценочных систем есть множество разновидностей повседневного, административного, юридического и политического нормативизма. Проблема состоит в разработке методологии анализа указанного различия.

Любая нормативно-оценочная система не является политическим фактом. Так называемая «реальная политика» связана с иной фактуальностью, типологическими схемами, пониманием разума, воли и интересов, нежели это предполагается философско-политическими доктринами, концепциями и проектами. Институты политических экспертов и советников более-менее «пристегнуты» к политическим процессам и коньюнктуре. Поэтому политики и эксперты не могут считаться субъектами адекватного познания реальности. «Рациональность» любых политических решений, программ и действий всегда сомнительна. Систематический анализ вытекающих отсюда политических ошибок как направление исследований делает лишь первые шаги. Это относится к целерациональному и субстанциальному пониманию рациональности (М.Вебер, К.Мангейм, теории индустриального, постиндустриального, сетевого и прочего общества) в теории и практике.

Если целерациональное и субстанциальное понимание рациональности не годится для описания политики, то как определить меру «рациональности» политических решений и действий? Один из распространенных способов – ссылка на интересы как конституирующий феномен социо-политической реальности. Однако реализация интересов всегда ведет к «неожиданным последствиям» и порождает «замкнутый круг идеологий» [48]. Ни одно

государство не смогло преодолеть ни того, ни другого. Другой способ – классификация групповых интересов данного общества по степени их политической выраженности, легальности и легитимности. Однако легальность и легитимность не совпадают ни в одном государстве. Кроме того, наиболее значимые решения никогда не принимаются публично. Этому способствуют институциональные и неинституциональные формы политического процесса. Нельзя также упускать из виду меру репрессивности культуры, общества, морали и социальных групп в отношении политического выражения любых социальных интересов. Следовательно, *конфликт* между «рациональностью» и действительными мотивами и целями участников политических процессов типичен для всех государств. А для АФ проблема рациональности является ключевой.

Этот конфликт не может быть адекватно отражен ни религиозными (иудаизм, христианство, ислам), ни светскими классическими (либерализм, консерватизм, социализм) и романтическими (анархо-свободомыслие, фашизм, традиционализм) идеологиями (такую типологию предлагает Н.Боббио). В XX в. к ним прибавились национализм, регионализм, коммунитаризм, феминизм, экологизм, этноцентризм, атлантизм, евразийство и другие идеологические гибриды. Они существуют ныне в мире и в России в самых причудливых комбинациях. Но их связь с цивилизационными и геополитическими концепциями в каждом конкретном политическом решении пока не изучена.

Все формы индустриального, социально-экономического, социально-политического и культурно-исторического овеществления способствуют производству и трансляции квазисубъектов экономических, политических и духовных процессов [34]. Неясно, как установить меру данной квазисубъективности. Видимо, здесь не обойтись без анализа отношения между нормативно-элиминационной и конструктивно-генетической концепциями факта во всем корпусе языка социальных наук, политологии и практической политики. Для АФ эта проблема является центральной.

В методологии науки показано, что не существует инвариантных базисных истин и единых критериев истинности для всех субъектов и объектов познания. Субъекты и объекты познания мозаичны и гетерогенны. Тактика выбора базисного основания знания зависит от той или иной формы приоритета индивидуального сознания над целокупным [37]. Но программа сбора первичных данных о политических процессах, институтах и решениях в контексте указанных идей пока не выработана. Неясно также, какую из концепций истины предпочесть при разработке такой программы.

Я думаю, можно исходить из того, что политические факты не зависят от опыта индивидов, участвующих в политических процессах. Если перефразировать Б.Рассела, то классы политических объектов сами не являются политическими объектами, но классы вещей и процессов, которые не являются политическими объектами, сами являются вещами и процессами, которые не

являются политическими объектами [1, с. 19-21]. В этом можно видеть исходный парадокс ПК. Он выражен в дискуссии об универсальной или локальной природе социальных и политических объектов и знания о них. О каком-либо итоге данной дискуссии говорить пока невозможно [8].

В сформулированном парадоксе каждая из альтернатив ведет к своей противоположности. Конфликт между ними может быть использован для систематизации множества *абсурдных событий в политической истории всех стран.* По сути дела, политическая история в основном и сводится к таким событиям. Однако мне неизвестна политическая история какой-либо страны (в том числе России), написанная под таким углом зрения. Хотя возможность такой историографии уже осознана [41; 4]. По мере ее реализации можно строить теорию политических типов. Она не может базироваться на субъект-объектном разделении мира, пространственно-временных характеристиках государств и культурно-цивилизационных принципах типологии, поскольку все они оспариваются. Следовательно, государства не являются субъектами социального развития или их время в качестве таких субъектов подходит к концу[3].

ПК не может базироваться также на допущении о «здравом смысле» практических политиков и властно-управленческих аппаратов государств. Такое допущение размывает границы традиционализма и современности и не дает возможности изучать *политику как мир реализованного абсурда.* Политический произвол и абсурд существует под прикрытием «воли Бога», «государственного разума», «здравого смысла», «исторических закономерностей», «модернизации», «мегатенденций», «цивилизационных вызовов» и тому подобного религиозно-научного жаргона. Однако независимо от фразеологии и контекста ее употребления большинство политиков всех времен и народов вдохновляются следующими мотивами деятельности: эмпиризм, оппортунизм, волюнтаризм, идеализм, эпигонство, индивидуально-групповой и организационный макиавеллизм как господствующий тип политической этики, искусство внутренней дипломатии. Ни тирания, ни демократия не в состоянии преодолеть эти мотивы. В результате политика стала неопределенным множеством действий, в составе которого прямое насилие все более заменяется символическим насилием и манипуляцией. Большинство политиков ведет игру с общественным мнением и не способствует разрушению указанных политических мотивов, стереотипов и иллюзий [32].

В XX в. развивались следующие тенденции: рост числа государств и властно-управленческих аппаратов; рост числа международных организаций; возможность превращения любого действия, стереотипа мышления и даже

[3] См.: [49]. В последние годы литература о крахе государственности как таковой (а не ее отдельных воплощений) нарастает. Укажу несколько бестселлеров, переведенных на русский язык: [45; 10; 43].

чувства в «событие» внутренней и международной политики.[4] Ни одна тенденция не предотвратила классических и современных форм насилия и манипуляции. Следовательно, нельзя приписывать статус бытия существующим государствам. Можно исходить из постоянного *колебания* между политическим бытием и небытием. Чем дольше существует то или иное государство, тем больше опасность превращения его в «онтологическую» реальность. Однако шаткость государств пока еще не стала принципом исследования политической истории и современного состояния государственности.

На данных фактах и тенденциях может строиться модель расширяющейся политической вселенной. В данной модели значимость фактов и событий устанавливается задним числом и «задним умом» политиков и их научно-религиозной обслуги. Поэтому политическая вселенная в большей степени потенциальна, нежели актуальна. Политическое время течет не вперед, а назад, при одновременном сужении политического пространства. Принимаемая «субъектами» политики трактовка времени-пространства непосредственно влияет на понимание ими политической ответственности. Однако теория политической ответственности (или вины) в ее уголовном, моральном, политическом и мировоззренческом измерении (проект К.Ясперса) пока не разработана [51]. Для этого требуется строгое знание о способах соединения в одно целое философских, аксиологических и прагматических элементов всех политических доктрин, концепций и программ. Такого знания не существует. Классические, романтические и пост-классические идеологии лишь в отрицательном смысле определяют то, каким будет вложенное в каждую из них содержание, как используются результаты осмысления эмпирии и какой последняя видится людям, участвующим в политических процессах. Следовательно, познание реальности на основе каждой из указанных идеологий (на уровне интересов, чувств и символов) остается дискуссионным [5].

Таковы главные итоги моих предшествующих исследований в области ПК. Что могут дать аналитические дисциплины для ее уточнения, конкретизации и развития? Для ответа на вопрос я написал две книги. В первой из них обобщил некоторые результаты и контекст аналитических исследований в области философии, экономической теории, социологии, политологии, права, историографии, во второй разработал ключевые политические концепты – от свободы и политики до республики и пределов толерантности [11; 19]. В этой статье дам краткую аннотацию основных результатов первой и второй книг.

[4] Я имею в виду такие, к примеру, события: какова связь между рождением В.В.Путина и появлением концепции «суверенная демократия», которую идеологические холуи из «Единой России» нынче пропагандируют от его имени на полном серьезе? См. [46]. Потребность в систематизации множества таких фактов в истории всех государств рано или поздно породит своего Ф.Броделя… Впрочем, идею такой систематизации можно обнаружить и у А.Зиновьева, который характеризует всю партийно-государственную сферу нашей страны как ничтожества в отношении ума, талантов и нравственности: «Сколько я ни приглядывался к ним, я не замечал значительной разницы между ними, как не замечал разницы между клопами, забившимися в щели деревенского деревянного дома». [9, с. 13].

Базовые термины

Существуют разные понимания концептов. В философии науки под *концептом* понимается акт схватывания смыслов вещи (проблемы) в единстве речевого высказывания. Концепт включает следующие параметры: полнота смысла выражения в целостном процессе произнесения; субъектность, смыслоразделительная функция и смысловое единство речи; в отличие от понятия концепт есть продукт возвышенного ума (духа), который способен творчески воспроизводить и собирать смыслы; концепт предельно субъектен и предполагает другого субъекта (слушателя, читателя), актуализируя смыслы в ответах на вопросы и рождает диспут; память и воображение; направленность на понимание здесь и теперь; синтез способностей души: как акт памяти концепт ориентирован в прошлое, как акт воображения – в будущее, как акт суждения – в настоящее [36].

В последнее десятилетие концептология (сходные термины – концептуализм, концептивизм) используется для анализа общих проблем социо- и культуролингвистики [3; 44; 42] и рефлексии о будущем гуманитарных наук [50, с. 52-60]. Для меня особое значение имеет историко-концептологический метод. Он разработан Д.Б.Расселом для анализа физического, ментального и духовного насилия и базируется на изучении прямого, непосредственного и экзистенциального зла в христианстве и других религиях. Этот метод противостоит сравнительному религиоведению, теории архетипов Юнга, феноменологии и структурализму. Для обобщения используется материал социологии и истории идей: «История концептов имеет двойственную цель: объяснить развитие концептов и понять сами концепты. Этот метод предполагает реальность и важность самих по себе концептов, поскольку не события беспокоят умы людей, но суждения об этих событиях. История концептов подобна традиционной истории идей, но отличается от нее по двум пунктам. Во-первых, история концептов опирается на социальную историю… Во-вторых история концептов стремится к сочетанию «высшего» и «низшего» уровней мышления, теологии и философии, мифа и искусства, результатов сознательной и бессознательной деятельности… Концепт отличается от идеи тем, что он (1) имеет более широкое социальное и культурное основание и (2) содержит в себе не только рациональный, но и более глубокие психологические уровни» [39, с. 50-51].

Концепт не метафизичен, не объективен и не субстанциален. Его восприятие обусловлено психологическими и социальными установками наблюдателя. Концепт – это то, что думали о нем люди. Он заключается в традиции представлений, получившей общественное признание во время их высказывания или позже. Традиция концепта включает: верность образу; развитие, усложнение и дифференциация во времени; большое множество идей; центральная идея; постижение центральной идеи путем показа того, что

традиция целиком или частично не соответствует непосредственному восприятию тех или иных концептов.

Христианство - наиболее яркий пример истории концептов: «Истина христианства будет лучше всего раскрыта не исследованием его источников, а скорее наблюдением его развития в традиции… Персонификация зла получила наиболее полное развитие в иудео-христианской мысли… Этот метод признает важность социальной среды для формирования концепта, но самому концепту уделяет большее внимание, чем социуму» [39, с. 60-63]. История концептов обеспечивает: наилучшее из возможных определений зла; представление о концепте зла изнутри человеческой психологии; демонстрацию процесса развития мышления о зле; интеграцию религиозно-философских формул зла с мифологией, искусством и поэзией; связь с исторической социологией знания, глубинной психологией, феноменологией и традиционной историей идей; понимание проблемы зла и страдания [39, с. 65].

Эти замечания не исчерпывают проблемы историко-концептологического метода. Но в соответствии с темой сделаю следующую оговорку: физическое, политическое, ментальное и духовное насилие (которое воплощается во многих формах, включая политику) было и остается злом, едва оно выходит за рамки уголовно-правовых санкций. Историко-концептологический метод базируется на тщательном изучении истории и современной формы христианства. Поэтому религиозно-идеологическое насилие и манипуляция входят в предмет исследования. Этим объясняется отбор теорий, которые способствуют движению в этом направлении.

Теперь скажу о термине *политическая философия*. Вместо политической *философии* я мог бы использовать термин *теория* по причине распространенности представления о совпадении политической теории с политической философией. Я предпочитаю термин *философия* для акцентирования интереса к нормативной мысли. Выражение *политическая теория* означает не только нормативную, но и эмпирическую мысль, которая стремится объяснить, а не оценивать любые явления. Политическая философия безоговорочно высказывает оценки на основе принятого метода исследования. Но отсюда не вытекает методологический пуризм. Наоборот, круг поставленных проблем широк. Поэтому вопрос о возможностях определенной сферы знания не менее значим для нормативных целей, нежели вопрос о реальном состоянии дел в данной сфере. Я думаю, политическая философия не должна замыкаться в узкой группе специалистов, которые созерцают или изучают конкретные сферы и ценности. Поэтому описываю вклад разных научных дисциплин (аналитической философии, экономической теории, социологии, политологии, правоведения, историографии) в политическую философию.

Если речь идет о *политической* философии, то ее цель состоит в определении типов политических институтов, которые необходимы для

эффективного функционирования и динамики данного общества. Но в обычных обстоятельствах такие институты несвободны от многообразной социокультурной детерминации. Следовательно, политическая философия не обязана обеспечивать индивидов знанием о том, как они должны вести себя в несовершенном мире. В нем не было, нет и не будет идеальных институтов. Лица, стоящие у кормила власти, всегда используют политические институты в своих интересах. Теория не содержит указаний, которыми индивиды могут руководствоваться при решении проблемы политических обязанностей.

К тому же существует узкое и широкое понимание политических институтов. В первом случае в их состав входит избирательная система, парламент, система отбора лиц в институты исполнительной власти и т.д. Во втором случае в состав политических институтов входят все правовые, экономические и культурные институты, возникшие в результате политической деятельности. Я буду руководствоваться широким смыслом термина. Отсюда вытекает, что политическая философия изучает различные политические процедуры и социальные системы, для формирования которых используется политика. Предмет политической философии – множество институтов, которые создают «базисную социальную структуру» (если применить понятие Д.Ролза).

Теперь несколько слов об *аналитической философии*. Уже говорилось, что на протяжении последних 20-30-ти лет политическая философия стала главным предметом интереса аналитической философии. Правда, такой статус у нее уже был в Х1Х в., хотя в первой половине ХХ в. она его потеряла. Я уделяю преимущественное внимание трудам, которые появились после 1970 г. и еще не вошли в научный и политический оборот России. Просто сообщить о них коллегам (слушателям и читателям) – попутная, но важная задача. Разумеется, для обсуждения новейших концепций требуется комментарий ранее опубликованной литературы. Но эту задачу я реализую лишь в той степени, в которой она необходима для понимания современной ситуации в политической философии.

В неаналитической традиции трудно установить современность тех или иных концепций. Неаналитическая традиция тесно связана с фигурами прошлого, и потому присутствие философского музея восковых фигур здесь ощущается на каждом шагу. Например, современный постмодернизм (особенно его французский вариант) нельзя понять без учета наследия Ф.Ницше. Постмодернисты считают его пророком, предвосхитившим указанную интеллектуальную моду. То же самое можно сказать о других фигурах, которые пока не спрятаны в запасники музея.

Наконец, политической философией занимаются представители разных научных дисциплин, ссылаясь при этом на труды, принадлежащие к разным сферам знания. В любом случае происходит концентрация на междисциплинарных проблемах. Однако дисциплинарные различия создают множество трудностей. К сожалению, здесь не место их обсуждать. Остается

только надеяться на то, что коллеги заметят междисциплинарную связь политической концептологии с аналитической политической философией. По крайней мере, узнают о разных направлениях современной политической философии. А специалисты смогут ориентироваться, что происходит в других сферах знания.

Возрождение аналитической политической философии

В СССР не было политической философии. Ситуация начала меняться в 1990-е гг., но категории и объяснительные схемы исторического материализма по-прежнему владеют умами. Эта тенденция обусловлена множеством факторов, в том числе особенностями российского логического менталитета: многозначность и отказ от требования непротиворечивости при описании действительности; оперирование не понятиями и высказываниями, а объектами, не имеющими логического статуса [47, с. 8-9, 117; 9, с. 148-153]. Для полемики с данной тенденцией целесообразно использовать аналитическую политическую философию, которая базируется на противоположных посылках.

В частности, методологический выбор возникающей отечественной политической философии пока еще задан марксизмом, неомарксизмом, экзистенциализмом, ницшеанством, феноменологией, структурализмом и постмодернизмом, сложившихся в ходе критики Просвещения.

Альтернатива и дилемма

В отличие от указанных направлений мысли и практики аналитическая философия развивает главные посылки Просвещения: разрушение аристотелевского и средневекового образа мира; переосмысление природы знания и создание новой концепции знания; универсальный процесс *расколдовывания мира* (М.Вебер); отрицание всякого религиозного и морального смысла мира; создание различных способов обоснования ценностей (мораль, разум, чувство, произвол). И хотя каждое обоснование спорно, социокультурные преобразования последних трехсот лет осуществлялись на этой основе.

Аналитическая философия выдвигает идею сущностной спорности всей системы понятий социальных наук, ценностей и мировоззрений. Попутно она отвергает всю гегелевскую традицию социально-философского анализа, в том числе идею диалектики как универсального принципа познания морали и политики. Эта идея в большей или меньшей степени используется в различных вариантах отечественного и европейского постгегельянства.

В первой книге я детально описал политическое содержание неомарксизма, экзистенциализма, антигуманизма и постмодернизма. Показал, что неомарксизм не является критичным, поскольку усматривает революционную способность только у тех, кто с ним согласен. Например, идея Ю.Хабермаса – идеальная коммуникация должна служить достижению консенсуса – есть

рафинированное обоснование экономического угнетения и политического насилия.

Экзистенциализм онтологизирует свободу, ограничивает разум и оправдывает индивидуальный и групповой произвол. Характерно, что многие сторонники экзистенциализма оправдывали сталинизм, фашизм, колониализм. Из экзистенциализма невозможно вывести конструктивную концепцию политики.

Антигуманизм подорвал философский и политический статус субъекта, отбросил тотализирующие теории, понятия свободы выбора, индивидуальной и групповой аутентичности, показал случайность и произвол любой связи знака и значения. Разработал также принципы анализа политики: современный разум неотделим от институтов надзора; борьба за власть – основание всех социальных и политических институтов и дискурсов; социальная и политическая теория должна быть локальной и региональной практикой. Критика религиозного и светского гуманизма – продуктивный момент данного направления современной философии. Хотя споры по этому вопросу продолжаются.

Постмодернизм полагает критику легитимности современного разума следствием политической легитимизации современности. В политическом дискурсе воплощено тоталитарное господство над разнообразием. Разработана концепция мышления как множества различий и принцип деконструкции. Показано также, что современное метафизическое и политическое мышление есть множество иерархий насилия, для изменения которого культивируется внутренняя и внешняя критика. Но в постмодернизме тоже нет конструктивной концепции политики. Результаты постмодернистской критики не выходят за рамки главных направлений постпросвещенческой мысли. Позиция скептического наблюдателя равнозначна признанию status quo.

Все указанные тенденции можно обнаружить в советской и современной российской философии и социальных науках. Однако ни марксизм, ни экзистенциализм, ни постмодернизм не в состоянии осознать главную дилемму современности: участие в политике по-прежнему необходимо, но успех такого участия все более сомнителен.

Аналитическая пропозиция

АФ предлагает другую стратегию разработки проблем политической теории и практики – синтез философских, экономических, социологических, политологических, правовых и исторических аспектов исследования для решения данной дилеммы.

Философский анализ базируется на: отбрасывании социогуманитарного знания в той степени, в которой на его предмет, структуру и проблемы повлияли Руссо, Гердер, Гегель, Маркс, Кьеркегор, Ницше (и подобные им мыслители других стран); отрицании всех стилей философской мысли, которые сложились под влиянием религии, политики, экономики, культуры и медицины.

Аналитическая политическая философия – это нормативное мышление о социальных и политических институтах, необходимых для политической деятельности, а также систематизация когнитивных и социокультурных барьеров критики и преобразования социально-политических отношений и институтов.

В первой половине XX в. аналитическая философия не занималась проблемами политики. Это объясняется квалификацией ценностей как ненаучной проблемы и определением фактов как предмета эмпирических дисциплин, а не философии. В 1960-е гг. начинается применение методов и концепций аналитической философии для анализа политики. Формулируются три задачи: анализ политических воплощений ценностей свободы, равенства и демократии; изучение взаимосвязи философии и экономики; познание корреляций комплексов ценностей с политическими институтами. В начале 1970-х гг. Д.Ролз разработал теорию справедливости для обоснования универсальных политических ценностей современного общества и связал ее с методом *рефлексивного равновесия.* Это - стратегия обоснования нормативно-оценочного мышления в целом для установления принципов справедливой организации общества. Политические институты должны соответствовать принципам справедливости.

Анализ ценностей есть поиск правильной политической позиции и не сводится к критике культуры. Политическая позиция базируется на методах рефлексивного равновесия и контракта. Если шансы пользы и успеха неизвестны, то индивидуальный выбор консервативен независимо от социальных структур. Однако индивидуальная и социальная польза (материальное благосостояние, социальная карьера, престиж и т.п.) не оправдывают манипуляцию любым аспектом свободы;

Эти выводы Ролза подвергнуты критике теоретиками рыночной экономики, феминизма, коммунитаризма, анархо-капитализма. В итоге критики сформулирован вывод о невозможности реализации справедливости по ряду причин: недоступность информации; раздел современного мира на государства, включенные в международные сети торговли, права и управления; гендерное неравенство; разделение публичной и приватной сфер; ложность идеалов «свободы от ценностей» и автономного индивида; отсутствие конкретно-социологической информации о всех фактах несправедливости; неисторичность, нереалистичность и тоталитарные тенденции теории справедливости Д.Ролза. Одновременно высказаны продуктивные идеи: все государства аморальны, поскольку налагают налоги, применяют физическое насилие и пользуются монополией на легитимное применение силы; государство как политический институт не является гарантом права и справедливости; свобода выбора – это ниспровержение всех государств, кроме минимального; его задачи - защита граждан от насилия, воровства и мошенничества; политика должна опираться на ценности локальных обществ, а

не государств; политическая теория должна разрабатываться на основе множества социологических теорий.

Новейшая аналитическая политическая теория (1980-2000-е гг.) – это реакция на теорию справедливости. Главный предмет спора – роль контракта в установлении справедливости. В зависимости от его оценки контрактуализм разделился на экономический и политический. Экономический сформулировал следующие положения о природе контракта: обоюдная польза сторон, интересы и убеждения которых сформировались до контракта; взаимные уступки для выигрыша обеих сторон; исключение обмена, при котором одна сторона влияет на другую. Политический контрактуализм базируется на других посылках: контракт обязателен для сторон; есть следствие обсуждения общих интересов; способен устоять в дискуссии; предполагает одобрение всего (или большинства) общества. Сформулированы также общие выводы: в политике интеллект значим больше, чем в экономике; наиболее предпочтителен социальный порядок, который избран в результате нейтрального диалога – ни один индивид и концепция блага не считаются хуже остальных.

Главные сферы исследования аналитической политической теории – политическое благо и политический выбор. Теория блага есть комплекс объективных требований, которым должны удовлетворять политические ценности. Теория выбора – это принципы классификации подходов к установлению политических институтов. Главные посылки теорий политического блага и политического выбора - универсальный персонализм и ценностный солипсизм. Политическое бытие – это конфликт политических институтов и индивидов. Персонализм – это принцип, согласно которому благо и зло людей зависят от политических институтов. Персонализм отрицает доминирование общих интересов и политических институтов (народов, обществ, государств и культур) над индивидуальными интересами. Судьбы людей не должны быть связанными с бытием государств и других политических институтов. Политические ценности не зависят от критериев оценки. Институты должны соответствовать благу индивидов, а не наоборот. Равенство – главная ценность современности. Смысл политических институтов определяется их ценностью для индивидов. Отсюда вытекают следствия: политические институты не имеют надындивидуального смысла; социальные привилегии индивидов не являются политической нормой; государство не есть политическое благо; политическое благо – это применение в политике принципа равенства.

Согласно принципу нормативно-оценочного солипсизма, любая ценность может быть главной политической ценностью и критерием политической оценки. Существуют внесоциальные (благосостояние, счастье, польза, негативная и позитивная свобода), социальные (культурная гармония, социальный порядок, политическая стабильность, правопорядок) и промежуточные (активное и пассивное равенство) ценности. Внесоциальные

ценности (польза, негативная свобода, личная автономия, благосостояние и пассивное равенство) есть главные политические блага, критерии политической оценки и основание политических дискуссий. Демократия, правопорядок и т.д. являются ценностями лишь в той мере, в которой культивируют внесоциальные ценности.

Отсюда вытекают важные политические следствия: свойства изолированного индивида - главный критерий политических ценностей; изоляция индивидов - социальная и политическая норма; политика – это процесс доказательства большей ценности политических решений по сравнению с бытием множества индивидов; если таких доказательств нет, политика превращается в сферу абсурда; социальные и промежуточные ценности надо отделить от государства и других политических институтов.

Для описания отношения между политическим благом и политическим выбором аналитическая политическая теория ввела различие консеквенциализма и деонтологизма. Консеквенциализм полагает возможным и необходимым применение репрессий для обеспечения свободы. Деонтологизм считает, что обеспечение свободы может и должно обходиться без репрессий. Любая ценность может быть реализована с помощью консеквенциалистской и деонтологической стратегии. При анализе политических институтов надо учитывать различие институционального обеспечения и уважения ценностей. Государство и другие политические институты обязаны соблюдать ценности в первом и втором смысле слова. Однако сложился и развивается конфликт данных стратегий. Он не преодолен ни в одном государстве мира. При функционировании государства эффективное обеспечение ценностей всегда связано с нарушением множества подзаконных актов. Поэтому административно-распорядительная деятельность государства тоже есть сфера абсурда.

Консеквенциализм и деонтологизм используются также для классификации политических теорий современности. Политический выбор может определяться как достижение определенных ценностей и как решение, независимое от них. Это различие – основа теорий политического блага и политического выбора. Политическое благо есть решение субъекта о выборе определенной ценности в пространственно-временных обстоятельствах для ее практического воплощения. Однако консеквенциализм не выработал теорию соотношения средств и целей применительно к данному месту и времени и отрицает значение ценностей в политическом бытии. Деонтологизм не снимает ответственности с человека за любой выбор. Под этим углом зрения можно рассматривать все политические взгляды, доктрины, государства и институты.

Проблема реализации выбора является центральной для аналитической *экономической теории* (далее АЭТ), которая разрабатывается в последние десятилетия и переосмысливает традиционную концепцию человеческих желаний [35]. АЭТ дает новую формулировку понятий «привлекательности

(аттракторов)», «оптимальности», «общего блага», «политической конкуренции», «демократии». Комплекс данных понятий позволяет описать возможности реализации выбора в разных социальных и политических системах, синтезировать результаты философского и экономического анализа политики и отвергнуть либеральную концепцию индивидуального выбора.

В частности, понятие оптимальности Парето базируется на сравнении состояний мира и формулировке социальных и этических норм на основе консенвенциализма, персонализма и индивидуального выбора. Однако критерий Парето бесполезен при оценке практической политики. Существует два способа решения этой проблемы: определение оптимальности как положения вещей, которое не нуждается в улучшениях; ограничение оптимальности выбором основных правил социальной, экономической и политической игры. На этой основе возникла институциональная компаративистика как альтернатива актуальным формам рынка и политики.

Реализация выбора предполагает постоянство этических норм, дистанцию между целями и предметами выбора, отрицание этического идеализма. В результате анализа данных проблем сформулированы понятия горизонтальной справедливости и несправедливости. Все существующие системы государственных налогов и налоговой политики исключают равенство и справедливость. Политические действия/программы/институты функционируют на основе индивидуального выбора и ведут к нежелательным последствиям. Поэтому все политические решения не являются лучшими из возможных. Политика – это лавка старьевщика, для изучения которой разработана *теория подержанных вещей.*

Рынок не может служить критерием истинности социальных теорий. Политические и экономические институты развивают социальный паразитизм. Рынок базируется на традиции мышления, для которой главной является категория явного выбора. Тем самым рынок смешивает вкусы, желания, выборы и ценности. Функционирование рынка базируется на недоказанной посылке: в каждом его звене имеет место оптимальное сочетание противоположных склонностей. В результате действия индивидов освобождаются от этического контроля. Рынок культивирует этический нигилизм. В рыночном обществе ни один индивид не может максимально реализовать собственные ценности по причине аналогичных стремлений других индивидов. Польза не является универсальным правилом человеческого поведения. Если польза считается главной ценностью, большинство общества предпочитает стабильность, твердую власть, неравенство, несправедливость и мошенничество. При таких условиях общий выбор порождает множество непредвиденных последствий.

Современная экономика базируется на постулате экономии на добродетели. Он вытекает из двух принципов: люди никогда не поступают в соответствии с интересами общества; частный интерес – главный мотив

человеческого действия. В результате демократические институты не решают проблему «принципал–агент». Для ее решения надо отбросить все концепции общего блага как независимого от интересов граждан, но производного от государственных интересов. Политические институты государства обходят эту проблему, поскольку равновесие и оптимальность рынка согласовать невозможно. В результате возникает трагедия общих благ. Неэффективность рынка – это бесконечное число версий дилеммы заключенного. Нормативные соображения в пользу рынка при анализе проблемы общего блага не имеют смысла. Рациональность индивидуальных действий в пользу общего блага при господстве рынка всегда проблематична.

Указанные правила и закономерности отражаются в политике. Претензии всех правительств на выражение общего блага есть просвещенный деспотизм. Он всегда противостоит индивидуальным мотивациям и социальным институтам. При демократии роль правительства выполняют политические институты, которые отвергают этические нормы при принятии решений. В результате недостатки рынка отражаются в недостатках государственной политики. Общее благо недостижимо ни посредством рынка, ни с помощью государства.

Политическая конкуренция при демократии – это комплекс следующих свойств: связь общего выбора с политической формой; модель среднего избирателя базируется на постулате: если позиции избирателей соответствуют одному спектру политических взглядов, то политическая конкуренция двух (и более) партий дает результаты, близкие к центру данного спектра; однако политическая конкуренция вынуждает партии двигаться к идеалу среднего избирателя; если результаты выборов соответствуют модели среднего избирателя, они не оптимальны; партии обычно отказываются от программных целей; в итоге возникает постоянная политическая нестабильность.

Демократия – это запрограммированная инерция политических процессов и институтов. Выборы порождают проблему нестабильного большинства. Нестабильность – следствие политических процедур демократии, при которых избиратели голосуют за бесполезные и вредные для общества решения. Принцип большинства и ссылка на общие интересы населения в избирательных кампаниях потеряли смысл. Демократия не решает проблему общего блага. Поэтому любое вмешательство государства в рыночные процессы дискуссионно. При любом вмешательстве государства в рынок обостряется проблема реализации выбора. Если государство вырабатывает и реализует экономическую политику, все решения в данной сфере надо анализировать с помощью описательной, а не нормативной модели политики.

Теория общего блага не дает адекватного описания обязанностей правительства. Альтернативная теория государства предполагает описание главных и побочных аспектов неэффективности правительств и аппаратов управления. В настоящее время в экономике используется негероическая

теория человеческого поведения. Она стала элементом экономического дискурса и подменяет описание оценкой человеческого поведения. Следовательно, постулаты и выводы либеральной экономической теории не выполняют дескриптивной функции. А наличные социальные и политические институты воплощают идею о худшем из возможных миров.

Для исследования этого мира применяются *социологические* методы [29]. В частности, сравнительный анализ концепций Э.Дюркгейма и М.Вебера позволяет сделать общие выводы: концепция Дюркгейма несвободна от ряда недостатков. Главные из них относятся к проблемам политических свойств, отношению морали и государства, отношению социальной структуры и морали. На деле вторичные социальные группы есть множество клик, свободных от обязанностей перед государством. Их существование не является необходимым условием государства. У Дюркгейма нет строгого определения критериев политического общества. Цели государства невозможно вывести из знания о том, чем оно реально занимается. Количественный и качественный рост государственных функций порождает множество абсурдных ситуаций. Функционирование государства порождает проблему классификации видов политического абсурда. Сильное государство не нужно для развития индивидуальной морали. Наоборот, стойкость индивидуальной морали проверяется отсутствием государственной поддержки. Без социологических исследований трудно понять, оценить и улучшить социальную мораль.

С другой стороны, Вебер пренебрегает различием конструктивной и деструктивной харизмы. Смешивает политическую инновацию и стагнацию с харизмой и бюрократией. Не дает строгого определения политической инновации. Бюрократизация характерна не только для социалистических (как считал Вебер), но и для капиталистических стран. Политики не всегда стремятся, а бюрократия не всегда сопротивляется социальным изменениям. Нет этически нейтральных фактов и успешно действующих менеджеров.

И все же Дюркгейм и Вебер поставили один вопрос: могут ли социологические методы и информация служить основанием выбора социальных и политических альтернатив? Дюркгейм отвечал на него положительно, Вебер – отрицательно. Если стоять на почве фактов, то социальные изменения XX в. (от революций до реформ) были делом лиц, в наименьшей степени способных их осуществить. Для предотвращения этой тенденции в первой трети XX в. в некоторых странах начало складываться взаимодействие социальных реформаторов и политиков с социологией и политической философией. Политическая философия выполняет функцию неявных посылок – принципов и постулатов философской аргументации. В этом контексте поставлены проблемы соотношения благ и социального контекста, социабельности и нейтральности, аутентичного общества, тенденций и оценок. Процесс их изучения в 1980-90-е гг. показал, что методологический индивидуализм пренебрегает фоновыми убеждениями и

практиками. Взаимопонимание - свойство общества, а не его отдельных членов. Социальные блага несводимы к индивидуальным благам. Трактовка социальных благ как индивидуальных фиксирует их каузальную и логическую зависимость от социального контекста.

Согласно либеральному шаблону, политические институты свободны от детерминации конкурирующими сторонами, а идеал нейтральности государства воплощает определенные ценности. Такой подход порождает проблемы, которые не может решить либеральное государство. Нейтральность воплощает конфликт социабельности с мерой ее воплощения в политических институтах. Чувство социальной принадлежности, тождество индивида с обществом и социальной ролью – случайные характеристики индивида. Индивид обладает разными идентичностями при достижении конкретных целей в пространственно-временных обстоятельствах, от которых зависит чувство социальной принадлежности. Если оно конституирует идентичность, различие случайных и необходимых свойств исчезает. Поэтому следует исходить из конфликта чувств социальной и государственной принадлежности.

Аутентичное общество - это мера независимости граждан от государства и воспроизводство общины на уровне политической рефлексии. Для достойной жизни надо принимать участие в делах общества, а не государства. Социальные изменения, которые осуществляются недовольными индивидами, одновременно усиливают и уменьшают социальные чувства остальных членов общества. Общие цели и ценности возникают только в аутентичном обществе. Однако его бытие должно быть доказано методами, более достоверными по сравнению с психологией.

При выборе политических решений/программ/ценностей неявные посылки обычно не являются предметом эмпирических исследований. Это порождает бесконечную дискуссию о специфике современного общества, в которой смешиваются дескриптивные и нормативные аспекты поведения людей. Для преодоления данной дискуссии надо учитывать специфику суждений о тенденциях. Число факторов изменения социальных тенденций бесконечно. В политике изменение суждений о тенденциях есть следствие изменения индивидуальных убеждений для приспособления к изменившимся обстоятельствам. Эти изменения выражаются в политических оценках, взглядах, теориях и аргументах. Истинность суждений о тенденциях всегда проблематична. Публичный аргумент от тенденции может быть началом ее изменения и распада. Открытие тенденции нередко меняет политические убеждения. Строгой методики анализа таких изменений не существует.

Таким образом, индивидуальный выбор не является основанием социальных ценностей, а социальные и политические институты не воплощают данный выбор. Такой выбор невозможно реализовать на практике. Требуется пересмотр принципов справедливости и суверенитета, сложившихся в Новое время и до сих пор легитимизирующих государственный произвол.

Аналитическая *политическая наука* изучает распределение власти и отношение между намерениями властвующих и социальными последствиями, к которым они привели [18]. Намерения закрепляются в политических структурах и обретают самостоятельную жизнь, ограничивая другие способы осуществления власти. Социальные и политические структуры – продукты множества случайных следствий деятельности множества субъектов. Этим определяется главная проблема АПН: как человеческие действия воплощаются в жизнь с помощью структур, в которых реализованы предшествующие уклады социальных сил? При ответе на вопрос надо учитывать феномен шаткости демократии. Он выражается в невежественности избирателей, безответственности элит, недостатках политического рынка и несоответствии модели взаимных услуг реальной политике. Большинство людей не выполняет функцию гражданина. Отказ от участия в выборах – наиболее рациональный способ индивидуального поведения. Демократия полагает нормой незнание избирателей. Избиратели руководствуются чувствами, а не разумом. Поэтому институт выборов нерационален и потерял смысл. При демократии существует безответственное осуществление власти политическими элитами. Циклы внутренней политики определяются воспроизводством больших структур на разных уровнях власти. В этих структурах сконцентрирован выбор группы лиц и организаций, власть которых не зависит от демократических процедур. Поэтому диспропорция (а не равновесие) власти - универсальная закономерность демократии. Она усиливается структурной властью среднего избирателя и отношением между центром и периферией внутри страны и на международной арене. В результате демократия воспроизводит колонизацию внутри страны и за рубежом.

Демократический политический выбор есть иллюзия, которая базируется на недоказанных посылках: партии предлагают гражданам действительный социальный и политический выбор; каждая партия выполняет программные и избирательные обещания. Однако движение партий к центру (при двух- и многопартийной системе) показывает, что они не предлагают гражданам никакого выбора. Ни одна партия не преодолела рационального незнания избирателей и даже не стремится к этому. Возникла монополия партий на решение определенных социальных проблем. Но после победы на выборах партии не выполняют своих обещаний. Политическое участие характерно для парламентариев и политических элит, а не для граждан.

Для устранения этих явлений политика должна приобрести совещательный, а не обязательный характер. Политика как сфера свободной публичной критики предполагает независимость населения от групп интересов и политических партий. Но механизмов такой независимости не существует. Электоральные кампании отличается случайностью и произволом. Принцип большинства ведет к порочному кругу и исключает общий выбор. Способы решения этого парадокса (процедура голосования, последовательность

индивидуальных политических выборов, структура политических институтов) уменьшают, но не исключают вероятность порочного круга.

Реализация политического выбора предполагает согласие граждан по вопросам единства нации, общеобязательности политического выбора и правил политического дискурса и отражения в политическом выборе индивидуальных выборов. Такое согласие в принципе невозможно, поскольку оно связано с унификацией мнений по вопросам, относительно каждого из которых существуют конкурирующие теории. А политические институты демократии не отражают индивидуальные выборы. Отсюда вытекает *противоположность* намерений и следствий политических действий при демократии. Она не в состоянии преодолеть влияние власти в организациях на достижение определенных политических результатов, бюрократизацию организационных структур, иллюзию доверенного исполнителя, институциональные интересы и бюрократическую модель вневедомственных соглашений. Логика организационных структур противоречит демократическим институтам. Не менее значимо вмешательства государства в экономику по следующим причинам: рынок не дает необходимого количества социальных благ и порождает негативные результаты; различного отношения граждан к экономическому и политическому выбору; рыночного распределения как результата распределения власти. В конечном счете любое вмешательство блокирует социальное равенство. Связь экономики и политики – главная причина авторитарных социальных тенденций. Экономика и политика – различные сферы эксплуатации.

Демократия воплощает надежду на смягчение экономической эксплуатации и политического угнетения путем регулярной смены правительств и парламентов. Социализм воплощает надежду на справедливое распределение доходов и богатства. В XX в. обе надежды рухнули. Носителями неравенства при социализме оказались лица и группы, политически ответственные за обеспечение равенства. А нормативная теория демократии не учитывает случайный социально-исторический характер прав и свобод. Для развития дескриптивной теории демократии надо соединить критику теории прав человека с критикой конкретных обществ и социальных ситуаций и отбросить любые варианты авторитаризма. Этот политический строй соединяет свойства экономической эксплуатации и политического угнетения под маской «развития экономики».

Для противодействия авторитаризму следует отвергнуть идею и процедуры социального и политического консенсуса. Реальные демократии воплощают политический торг – раздела добычи и трофеев между старыми и новыми элитами и кликами. Политика способствует трансляции прежних элит и клик в новые условия. Консенсус возможен только при решении проблемы пределов политики. Для ее анализа сформулировано понятие конструктивного безумия. Оно означает преодолимость всех барьеров, всеобщность возможного

мира и легитимизацию экономических и политических кризисов и революций. Эти социальные феномены открывают новые направления социальных изменений и потому не являются абсолютным злом.

Нормативное политическое знание включает легитимизацию, критику и делегитимизацию всех политических фактов, тенденций и систем. Эти цели частично реализуются в *аналитическом правоведении и аналитической философии права* [12]. Оба направления изучают природу и легитимность государства как источника права, а также конкурирующие концепции природы права и юридические аргументы при выборе, интерпретации и применении законов. Выводы современных концепций политического реализма, экономического, критического и феминистского анализа права состоят в следующем: уголовное судопроизводство и конституционное право неэффективны; гражданское судопроизводство зависит от материальных интересов индивидов и групп; установленные и фактически исполняемые законы отождествляются; невозможно строго определить цель, эффективность и политические последствия любого закона и законодательства в целом; на процессы применения права влияют лица, группы и организации; правовой формализм невозможно воплотить в социальную жизнь и юридическую практику; юристы смешивают правовую идеологию и социальную реальность; юридические дискуссии не решили ни одной социальной и политической проблемы; определение границ свободы порождает юридическую казуистику; любой закон обладает одновременно положительным и отрицательным политическим и социальным содержанием; чем больше государство и политика довлеют над правом, тем ниже его эффективность; правовое регулирование социальных отношений неэффективно; перспективы юридического регулирования социальных отношений зависят от меры противостояния права государству и политике.

Интересные результаты получены в *истории политической мысли.* Здесь сложилась парадоксальная ситуация: историки скептически оценивают значение исторических исследований для современной политической мысли, но вносят важный вклад в анализ классических проблем ПФ; философы используют классические тексты для решения проблем современного общества, но полагают невозможным освобождение политической мысли от детерминации историей культуры. Позитивисты высоко оценивали значение ИПМ для анализа современности. Аналитические историки в 1960-е гг. начали обсуждение вопроса: действительно ли классические тексты политической мысли бесполезны при решении сегодняшних проблем?

В результате дискуссии сформулированы методологически важные положения. Главная проблема традиционной политической мысли – распределение и производство благ. В XX в. решением этой проблемы стали заниматься правительства. Политическая мысль оторвалась от политической практики, а экономическая вошла в альянс с правительствами. Но критика

утилитаризма привела к отказу от интерсубъективного сравнения пользы при создании теории человеческого поведения. Проблема человеческого страдания была исключена из поля зрения экономической теории, а трудовая теория стоимости заменена понятием справедливого обмена. Современная экономика базируется на равенстве как главной норме социальной морали (принцип Парето). Эта норма тождественна принципу самосохранения, но не является аксиологически нейтральной.

На протяжении первой половины XX в. в социальных науках сложилось две тенденции: оценки не являются продуктом рационального мышления; граждане должны принимать решения о моральных основаниях политики. Эти тенденции доминировали в ИПМ первой половины XX в. Классические произведения рассматривалось как способ передачи гражданам комплекса «вечных ценностей», на которые надо опираться при выборе. Одновременно в период господства позитивизма сложилось убеждение в истинности разделения фактов и ценностей и объективности ПН. Большинство политологов и политических философов отвергают вывод о ложности политической теории. Но поскольку проблема социальных ценностей неразрешима в рамках индивидуального выбора, статус ПН остается неопределенным.

АПФ определяет философскую рефлексию как активность, которая не отличается от других действий исторических субъектов. Классические тексты – это социально-исторические действия. Корпус классических текстов ИПМ образует наследство общества и материал, без овладения которым невозможно объяснение и понимание. В его состав входят *языки, стереотипы и парадигмы,* которые надо извлечь из забытья. Традиционная ИПМ считает, что из классических текстов следует извлекать политические ценности. Критика традиционной ИПМ идет в двух направлениях: использование результатов АПФ для квалификации ИПМ как элемента историографии; неопределенность и противоречивость современных политических теорий объясняются на основе исторических источников. В этом контексте дихотомия позитивной и негативной свободы теоретически оправданна, но на практике негативная свобода воплощает форму правления, которая отвергает элементарные права индивидов. Из классических текстов извлекаются три основных категории: ответственность индивида; понятие общества как непредвиденного следствия человеческих действий; доверие как основа нормативно-оценочных систем и общественных отношений. Эти категории обладают описательным и нормативным смыслом одновременно.

С учетом данных выводов изучается контекст политической мысли и формулируется идея множества историй. У политических понятий нет строго определенного и постоянного пространственно-временного и социального смысла. Нет пока и удовлетворительного объяснения причин обращения философии к историческим исследованиям. По крайней мере, оно должно учитывать общее положение: не существует социального эквивалента

индивидуальной пользы памяти. Способ функционирования социальных институтов скрывает историю определенных идей. Ее реконструкция необходима для понимания непонятных обычаев и убеждений. История идей связана с социальной, политической и лингвистической историей. Поэтому значение классических текстов ИПМ больше значения истории социальных и политических институтов. Проблема изменения контекстов становится центральной для политической философии. При ее изучении можно исходить из методологического кредо: государство не является постоянным, независимым и объективным бытием. Под таким углом зрения рассматриваются социально-политические изменения рубежа XX-XXI вв.

Промежуточные замечания

Я не исчерпал результаты аналитических исследований. Но нетрудно убедиться, что они предлагают определенную политическую теорию, которая включает анализ философско-мировоззренческих, экономических, социологических, политических, юридических и исторических измерений социального бытия. Проблема субординации данных результатов пока не является предметом исследования. Ограничусь общим вопросом: применимы ли эти результаты для анализа и оценки постсоветской реальности? Предварительный ответ тоже будет декларативным, поскольку каждый вывод должен быть проверен на основе эмпирического анализа философско-мировоззренческих, экономических, социальных, политических, юридических и историографические аспектов этой реальности. Покажу это лишь на одном примере.

Ранее говорилось, что связь экономики и политики - главная причина авторитарных тенденций, которые соединяют экономическую эксплуатацию с политическим угнетением под предлогом «развития экономики». А.Ослунд провел конкретное исследование посткоммунистической трансформации в 20 странах и сформулировал ряд эмпирически доказанных выводов: посткоммунистическая трансформация – это борьба сторонников рынка и рантье; последние поставили главной задачей переходного периода сохранить условия для извлечения ренты; исходные условия трансформации были различны в разных странах; степень развития демократии и гражданского общества перед падением коммунизма существенно влияет на процессы и результаты экономических реформ; падение объемов производства – статистическое заблуждение, поскольку официальная статистика всех стран не отражает рост неофициального сектора; объем производства в странах советского блока был завышен, поскольку в состав ВВП включалась деятельность и продукция военно-промышленного комплекса; радикальные реформы не снижают объемы производства; различие стран Центрально-Восточной Европы и СНГ объясняется сохранением рублевой зоны и государственной системы торговли в СНГ; бюджетная политика большинства постсоветских государств не сокращает государственные расходы;

государственные доходы и налоги остаются на высоком уровне; масса приватизированных предприятий ниже 2/3 ВВП; рост социального неравенства и нищеты типичен для стран, проводящих половинчатые реформы; макроэкономическая нестабильность не вызывает больших волнений в обществе. В ходе трансформации выявилось три пути: реформаторы построили демократические государства с динамичной экономикой; рантье строят частичную демократию и приватизированную экономику, стимулируя извлечение ренты взамен темпов роста; противники реформы установили диктаторские режимы и контролируют экономику. В итоге рантье и диктаторы попали в ловушку экономической и политической нестабильности. К таким странам относится Россия [38, с. 27-29].

Анализ отношения между рантье и диктаторами в постсоветском пространстве показал: существует прямая связь между вмешательством государства в экономические процессы, коррупцией и размерами госаппарата. Госаппарат большинства постсоветских стран контролирует государство и стимулирует рост преступности. Установленные правила выборов и финансирования избирательных кампаний влияют на формирование партий и другие политические процессы. Реформы деятельности правительств и государственной службы не сопровождаются контролем общества за деятельностью правительств. В итоге на постсоветском пространстве возник феномен выборной ловушки незавершенных реформ, который включает слабый общественный протест и войны. Население большинства стран постсоветского блока (за исключением Польши и частично Венгрии) пока не научилось контролировать государство.[5]

Таков конкретный смысл тезиса о связи экономики и политики как причине авторитарных тенденций постсоветских стран. Требуются аналогичные уточнения всех ранее приведенных положений на основе эмпирического анализа. Но в любом случае их эвристическое значение отвергать нельзя.

В частности, первое обсуждение перечисленных идей, проблем и выводов показало: коллеги старшего поколения прохладно относятся к АФ и по-прежнему считают марксизм-ленинизм *научной идеологией*, подходящей для обоснования текущих политических решений; коллеги младшего поколения рассматривают применение АФ к изучению постсоветской реальности как новую, идеологически неангажированную модель политической теории: «Барахтанье в оставшемся после марксизма море мифологем не сулит ничего нового, кроме методологического произвола и анархии. Аналитическая философия создает антологию не только нерешенных, но и незамеченных проблем демократического строя. Она формирует пространство в ситуации

[5] См. [38, с. 506-574]. В своих работах по проблеме бюрократии я (в отличие от М.Вебера и его последователей) предлагал называть государственные аппараты социальными *организмами-паразитами*. А.Ослунд после конкретно-социологического анализа приходит к более радикальному выводу: они являются *хищниками*. См. [38, с. 513].

проблемной демократизации и формулирует принципы анализа современных постсоветских национальных государств» [40].

Я рад такой оценке и воспринимаю ее как стимул для дальнейшей работы. Аналитические дисциплины сформулировали проблемы, категории, понятия и принципы анализа философских, экономических, социологических, политологических, правовых и историографических аспектов политического бытия и мышления. Этот инструментарий можно применять для оценки состояния всех перечисленных наук и политических трансформаций постсоветских стран. Синтез аналитических дисциплин дает возможность иначе взглянуть на духовно-политическую ситуацию в России и других странах СНГ и Восточной Европы, противопоставить ей другую структуру познавательных и политических проблем и извлечь нетривиальные следствия. Однако на быстрые изменения ситуации не стоит надеяться – традиции аналитической философии не существовало в нашей ойкумене ни до, ни после 1917 года.

На сколько лет или десятилетий затянется создание такой традиции? – ответить невозможно. Надо продолжать закладку фундамента, не надеясь на популярность и быстрый успех. Поэтому во второй книге я проанализировал вопрос: как работают методы АФ при анализе традиционных понятий и проблем политического языка?[6] В качестве лакмусовой бумаги взял типичный словарь. Его авторы пишут, что он адресован специалистам-политологам и широкому кругу читателей, содержит политическую лексику и фразеологию, отобранную и описанную с учетом современных социально-политических реалий.[7] Не исключено, что на фоне этого словаря прояснится специфика аналитического подхода к политике.

Политические концепты – «зачинающие понятия»[8]

Резюме понятий и проблем политической теории на основе аналитического подхода выглядит так.

Свобода воплощается в институтах поддержки гражданских прав и доблестей индивида. В любом случае решение проблемы свободы невозможно без опоры на множество социальных теорий. Методологический и политический выбор определяется вопросом: почему при любых обстоятельствах государство ослабляет общество, не обеспечивает порядок и безопасность и становится дилетантом во всех вопросах социальной жизни?

Потому, что *политика* есть идеальный тип грязного дела. Квалификация государства как носителя суверенитета наносит вред обществу. На деле политика и управление государством есть *грязное анонимное дело*. При анализе этой проблемы надо обойти тупик фактуально-статистических измерений, который полагает неизменным всеобщий отказ от моральной ответственности.

---

[6] Этот вопрос мне поставил П.Н.Мирошниченко, и я его благодарю.

[7] См.: [2, с. 3]. В дальнейшем – Словарь.

[8] Метафора для обозначения концептов как «зачинающих понятий» принадлежит М.Эпштейну.

Контекст политической жизни есть объект моральной рефлексии и структурных изменений по мере создания мнимой потребности в *грязном анонимном деле*, которая кажется глобальной и вечной [28]. Возникает иллюзия: только в конфликте с политикой мораль обретает самостоятельное бытие и выполняет роль запрета или проблемы. Мораль была и остается динамичной силой политических изменений. Надо так определить политический дискурс, чтобы в нем фиксировались все аспекты указанной проблемы.

Современный *политический дискурс* исключает эссенциализм [22]. Политический субъект не есть субстанциальное cogito и структуралистское рассеяние гносеологических позиций. Политический субъект – это пустое пространство, которое пытаются определить и заполнить разные политические силы. Для объяснения политической субъективности и идентичности необходим пересмотр всех деиндивидуализированных определений политики (как участия в общих делах, направления деятельности государства, силы, общественной службы, борьбы, компромисса, искусства возможного и т.п.).

Современная политическая теория акцентирует автономность индивида как спектра нереализованных политических возможностей. Любая форма коллективности противоречит автономии индивида. В большинстве случаев власть наносит вред самостоятельности индивида. Сущностная спорность понятия власти позволяет квалифицировать несогласие как постоянное свойство политического дискурса. Эта возможность частично реализуется в политических дискуссиях граждан и спорах политиков и ученых. Всякое устранение несогласия (путем обхода, применения силы, религиозного и идеологического обращения в свою веру, манипуляции) наносит вред обществу. Согласие достижимо только посредством власти разума. Такая возможность позволяет иначе подойти и к определению *государства* [15].

Современные изменения формы государства затрагивают относительно стабильные и богатые либеральные демократии. Сохраняется традиционное ядро государственности – большая политика, обеспечивающая внутренний порядок, единство и внешнее господство над стратегическими ресурсами. Значение данных сфер политики падает по мере роста коллективной безопасности и стабилизации мировой системы. Замедлилась внутренняя и внешняя динамика, которая в послевоенную эпоху была движущей силой экспансии социального государства. Одновременно возросли этнические конфликты, требования социальной и другой взаимопомощи. Произошла децентрализация властных технологий. Все это способствует развитию наднациональных государств как такой системы социального государства, в котором падает роль партийных противоположностей и требуется управление, свободное от национальных стереотипов. Национальное государство подвергается двойному давлению: сверху (со стороны глобального капитализма), и снизу (со стороны технологических изменений и этнических

движений). Эпоха национального государства как собственника стратегических ресурсов, центра принятия решений и действий в *сети международных договоров* была переходным периодом в истории человечества.

До сих пор большинство государств не смогли решить проблемы голода, холода, нищеты, высокой смертности детей и взрослых, экологических загрязнений, социальной справедливости, справедливой войны, прав человека, миграции. Большинство нормальных людей пытаются что-то делать, независимо от суверенитета. Несмотря на это, не сдает своих позиций убеждение: суверенитет государства есть благо, а посторонние «добрые дяди» не должны вмешиваться в чужие дела. Господство одного из указанных убеждений определяет сферу политического действия. Рефлексия может быть направлена на попытки подавления одного из убеждений, поскольку оба обоснованы.

Попытки преодолеть патовую ситуацию путем обращения к критической теории и постмодернизму не решают проблему. Решение может появиться по мере политических изменений. Изменение среды постепенно усиливает идеал глобального общества, а появление новых государств влечет за собой расходы уже существующих государств. В любом случае доходы не превышают расходы и не могут считаться оптимальной ценой самобытности. Государства наносят громадный вред природной среде. Экологические проблемы требуют переоценки международной этики. Одни ученые и политики защищают право самоопределения, но согласны с установлением пределов государственного суверенитета. Другие разрабатывают концепцию общего блага на основе экологических ценностей. На перекрестке этих проблем возникает кардинальный вопрос: как найти такой способ реализации общего блага, который исключает привилегии сильных и богатых стран и связывает политическое действие с уважением прав всех культур современного мира? Международный порядок – это сеть договоров между государствами. Однако договор как базис отдельного государства все более оспаривается.

В современном мире проходят экспериментальную проверку нетрадиционные политические формы (типа Евросоюза), основанные на частичном согласии. Все больше внимания привлекает многосоставная демократия – поликультурная и базирующаяся на согласии форма правления. Не менее важны политические программы, составленные на основе контракта. Эти явления доказывают, что стабильна и легитимна только такая форма правления, которая основана на согласии индивидов и взаимопонимании народа и государства. Государство должно поддерживаться до тех пор, пока оно функционирует согласно правилам морали. Но эти положения нуждаются в корректировке по мере становления реальной политической угрозы: правительства либерально-демократических, постколониальных и постсоветских стран взяли под контроль избирательные процессы, а в состав настоящих и будущих политических клик рекрутируются индивиды,

считающие «нормальным» указанное положение вещей. Тем самым обостряется проблема *пределов демократии*.

Демократия отвергает утилитаризм и культивирует убеждение: рациональная дискуссия – единственный способ решения политических проблем. Но это убеждение не является фактической посылкой демократии. Информация и понимание любых проблем всегда несовершенны. Публичные дебаты часто не способствуют ни росту знания, ни единственно верному решению политических проблем и конфликтов. Демократия дисгармонична. Отдельные граждане стоят перед трудными политическими выборами без всякой гарантии найти верное решение. При решении трудной проблемы общество дебатирующих всегда придет к взаимоисключающим выводам. Чем больше политическая жизнь культивирует самостоятельность индивидов, тем труднее принять решение. Но в итоге публичного обсуждения могут возникнуть более солидные основания политических программ. Критика индивидов как жадных эгоистов и утверждение равенства – последняя надежда демократии.

Равенство жизненных шансов, благосостояния и приоритета наименее преуспевших остается неопределенным даже в АФ, которая от всех других направлений современной философии отличается наибольшей строгостью анализа [26]. Популярность равенства падает по мере роста его неопределенности. Значение равенства тем больше, чем хуже жизнь индивидов перед провозглашением равенства главной социальной и политической ценностью. Однако отказ от равенства в пользу других ценностей остается предметом дискуссии. Никто из авторов не отрицает моральное значение социального равенства. Одни отбрасывают простое равенство в пользу сложного. Другие отвергают равенство материальных условий и раздела благ между членами общества в пользу всеобщего равенства статуса. Третьи отрицают равенство статуса. Четвертые считают, что одобрение равенства ресурсов вытекает из одобрения абстрактного политического равенства всех граждан: правительство обязано признавать равенство судьбы каждого человека, равномерно учитывать интересы и заботиться о всех членах общества.

Итак, под шапкой равенства существуют разные представления. Но в любом случае из абстрактного политического равенства не вытекает социальное равенство граждан в любом смысле слова. Либеральное равенство жизненных шансов невозможно обосновать с помощью любой интерпретации политического равенства. А социальное неравенство невозможно интерпретировать так, чтобы из них вытекал конкретный принцип социального равенства независимо от моральных и политических посылок. Риторика абстрактного политического равенства скрывает эти посылки. Проблема социального равенства смещается к систематизации всех социальных конфликтов, а проблема реализации политического равенства предполагает их

разрешение. Но ни одна социальная и политическая система современности этого не сделала. Для движения по этому пути надо соединить логико-методологические посылки с тщательным социологическим анализом всех социальных и политических институтов, а также концепций благосостояния и *welfer state*. Они популярны в общественном сознании и коридорах власти, но пренебрегают проблемой.

Теория индивидуального благосостояния как удовлетворения рациональных желаний вместе с широким понятием *welfer state* позволяет описать индивидуальное и социальное благосостояние, но не позволяет установить пределы патернализма. Теория рациональных желаний определяет индивидуальное благосостояние как благо, но бесполезна при их неизвестности. Реальные желания и аргументы в пользу объективного блага - альтернатива рациональных желаний индивида. Такие аргументы обычно сводятся к рассуждениям об объективных потребностях, правах и равенстве. Описанная конструкция позволяет понимать их в терминах утверждений о содержании рациональных желаний. Конфликт данных подходов порождает бесконечные дебаты о «правильной» реакции государства на решение задачи благосостояния. При этом сторонники альтернативных подходов пытаются произвольно определять содержание рациональных желаний.

Любая дискуссия о благосостоянии обладает нормативным и дескриптивным смыслом. На нормативном уровне можно защищать разные позиции в зависимости от определения благосостояния. При этом незначительные различия в определении порождают кардинальные различия политических оценок. Понятие *welfer state* зависит от результатов дискуссий. На дескриптивном уровне поддержка любого *welfer state* меняется по мере согласия с той или иной дескриптивной моделью политики. Политику можно понимать как множество индивидуальных выборов социальных последствий принятых решений, заключение трансакций в определенных институциональных рамках и публичные дебаты при заключении договора. Только сознательный выбор конкретной концепции политики благосостояния позволяет рационально обсуждать проблему практического воплощения *welfer state*. Оно имеет право на существование в зависимости от его легитимности.

Вначале я определял *легитимность* как такое состояние политической системы и всех ее институтов, когда они обладают научной истинностью и политической правотой. В этом смысле ни одно государство не легитимно [13]. На основании аналитической политической философии легитимность можно определить как такое воплощение постулатов свободы и равенства, при котором согласие граждан с любой властью любого правительства минимально. Все властные структуры, лица и группы находятся под постоянным подозрением большинства общества. Граждане обращаются к власти в крайних случаях, и потому все политические институты находятся накануне издыхания. При малейшей возможности граждане оказывают гражданское неповиновение,

а при малейшей необходимости свергают власть. На этом пути приобретает особое значение ценность братства.

Братство не сводится к выбору между нейтральностью и общим благом, автономией и общими целями. Проблема братства заключается в объяснении причин национализма, а также схем, которые он предлагает для управления в рамках национальной общности. Если политическое бытие нации определяется государственными границами, то проживающее в таких границах население не является братской общностью. Либеральные принципы равенства и свободы не выходят за рамки государственных границ. А коммунитаристские концепции общего блага и достойной жизни не являются всеобщими, поскольку модифицируются государственными границами. Поиск оснований принципа братства остается актуальной проблемой, которая не разрешена ни классическими, ни постклассическими идеологиями. По сравнению с тотальной критикой современного индустриального общества и главных идеологий современности проблема братства - наиболее слабый пункт коммунитаризма.

Сепаратизм только угрожает мифу о неизменности государства, тогда как автономизм направлен против суверенитета [31]. Сецессии не подрывают принцип современного международного порядка, согласно которому отношения суверенных государств регулируются международным правом. Победа автономизма приведет к тому, что суверенное государство станет исключением, а не правилом существующего миропорядка. Проблема сепаратизма разрешима в рамках существующей структуры международного права и международных отношений. Сепаратизм – это крайняя реакция на конфликты и борьбу групп за самостоятельность внутри государств, граница на шкале этой борьбы. Аргументы *за* и *против* отделения позволяет систематизировать проблемы групповых конфликтов, включая оправдание сепаратизма.

Наиболее распространены следующие аргументы права групп на сецессию: ликвидация последствий прошлых аннексий; самозащита; дискриминация в распределении. Сецессия – это разрыв прежних политических обязательств и переход территории под власть нового государства. Поэтому каждый аргумент *за* отделение должен обосновывать права сепаратных групп на данную территорию. Для создания теории сецессии надо рассмотреть не только аргументы *за*, но и *против* отделения. Наиболее популярны два: преодоление анархии; избежание политических торгов, подрывающих принцип большинства. Сецессия – крайняя форма разрешения групповых конфликтов в государстве. Теория международных отношений объясняет и обосновывает сферу и пределы действия множества прав сецессии. По мере общего согласия с данной теорией возможно радикальное изменение существующих концепций государства, суверенитета и международного права.

Международная политика позволяет усомниться в моральном смысле государственного суверенитета. Большинство государств до сих пор не решили

проблемы голода, холода, нищеты, высокой смертности населения, экологических загрязнений, социальной справедливости, справедливой войны, прав человека, миграции. Большинство нормальных людей пытаются что-то делать вопреки суверенитету. Но по-прежнему существует традиционное убеждение: суверенитет есть абсолютное благо, а другие государства не должны вмешиваться в чужие дела. Оба убеждения обоснованны, но господство одного из них определяется политическими действиями. Теоретическая рефлексия может быть направлена на попытки подавить одно из них.

Некоторые ученые стремятся преодолеть патовую ситуацию путем обращения к критической теории и постмодернизму. Но таким способом невозможно решить перечисленные проблемы. Решение может появиться по мере политических изменений. Изменение среды постепенно усиливает идеал глобального общества, а появление новых государств всегда влечет за собой расходы старых государств. В любом случае доходы не могут считаться оптимальной ценой самобытности. Нынешние государства наносят громадный вред природной среде. Поэтому экологические проблемы требуют переоценки международной этики.

Но здесь позиции расходятся. Коммунитаристы защищают право самоопределения, соглашаясь с установлением пределов государственного суверенитета. Космополиты разрабатывают концепцию общего блага на основе экологических ценностей. На перекрестке этих проблем возникает кардинальный вопрос: как найти такой способ реализации общего блага, который исключает привилегии сильных и богатых стран и связывает успешное политическое действие с плюралистическим уважением прав всех культур современного мира? Ответ на вопрос содержится в современных трансформациях *прав человека*.

Права человека не сводятся к свободе [23]. В их основе лежит идея автономного индивида, который устраивает жизнь по своему усмотрению. Эта идея включает достойную жизнь в соответствии с нормами субъективности, выбора и личной ответственности. Каждый человек оценивает свою субъективность и на основе запрета противоречия должен оценивать жизнь любой другой субъективности. Если индивид отвергает субъективность другого человека, его рассуждение и поступки иррациональны. Окончательное решение этого вопроса входит в область метаэтики. В любом случае субъективность играет важную роль в современных дискуссиях о правах человека. Привлекательность прав человека объясняется тем, что они гарантируют каждому индивиду право жить в соответствии с собственными чувствами и разумом. Таков современный смысл принципа Канта: человечество в каждом индивиде есть цель сама по себе, а не средство достижения других целей. Важнейший моральный факт человечества - способность каждого человека пользоваться субъективностью согласно практическому разуму. Однако

большинство людей руководствуются своим и чужим своекорыстием. Отсюда вытекает физическое, политическое и духовное рабство как разновидности несамостоятельной жизни. Современное государство закрепляет эти виды рабства.

Среди них главную роль играет *собственность*. Современная теория собственности – это легитимизация частной собственности путем анализа и интеграции ее политических, экономических, правовых, психологических и социологических аспектов. Но легитимизация частной собственности стоит перед неразрешимой проблемой: как устранить разрыв между общей ценностью как исходным пунктом аргументации и спецификой конкретных систем собственности, которые нуждаются в легитимизации? Элементы любой реальной системы собственности противоречат друг другу и не поддаются согласованию. Примерами такого противоречия могут быть ряд концепций собственности. Непротиворечивая легитимизация собственности невозможна по причине одновременной связи и конфликта между собственностью, свободой и производительностью труда. При этом приходится использовать только те элементы обоснования, которые способны выдержать теоретическую критику и политическое противодействие. Но для реализации такой системы собственности надо либо установить всемирную демократию, либо ограничить частную собственность в пользу распределения. Однако детальный анализ существующих концепций показывает, что все аргументы, апеллирующие к правам, не в состоянии ни адекватно описать, ни обосновать общество, в котором одни индивиды владеют огромной собственностью, а у других почти ничего нет. Шаблон права собственности как исконного права человека в лучшем случае шарлатански используется для обоснования вопиющего неравенства современных обществ.

Изменение одного аргумента в общей цепи аргументации ведет к противоположным выводам. При создании общей теории собственности возникает проблема пределов обоснования. Частная собственность не может быть обоснована никакими частными аргументами. А попытка связать разные концепции для создания общей теории собственности требует отвергнуть реальное бытие любой системы собственности. Все большее число специалистов предлагает реформировать институт частной собственности. Чем больше рыночная экономика влияет на реальность современного мира, тем больше потребность реформы. Такой главный вывод современной теории собственности, непосредственно связанный с проблемой *справедливости*.

В основе человеческого стремления к справедливости лежат не столько реальные потребности, сколько жадность, эгоизм, зависть. Поэтому справедливость нередко превращается в суррогат морали. Честный человек постоянно сталкивается с ситуациями, в которых дихотомия эгоизма-альтруизма выходит за пределы справедливости и не решает проблему распределения [30]. Существует целая сфера опосредованных социальных

чувств и способов поведения. Они смешивают справедливость и альтруизм, передают реальные и мнимые предметы во имя справедливости или являются добровольной реализацией справедливости. Эта сфера конституируется солидарностью, которая удерживает общество от распада. Справедливость – это социальное свойство, которое определяется традициями, культурой, смыслами и практиками. Для анализа генезиса, воспроизводства и модификации нормы справедливости требуется разработка понятий и выводов чистой теории справедливости. Такая теория невозможна без использования разнообразного эмпирического материала, систематизировать который помогает понятие *эффективности*.

В современной политической теории зафиксирован конфликт равенства и эффективности (в смысле Гоббса), который обусловлен зависимостью производительности индивида от стимулов. Индивидуальные стимулы надо использовать для производства наибольшего количества товаров, подлежащих распределению и преимущественного вознаграждения эффективных производителей большей долей богатства, доходов и потребления по сравнению со средним уровнем. Ролз ограничил выбор возможных результатов для устранения неопределенности эффективности (в смысле Парето). Ролз подчеркивает значение неопределенных ценностей и целей (беспристрастие, достоинство, автономия индивида). Гоббс в аналогичном случае ссылался на эпистемологическое незнание. Коуз использует рыночные ценности для заключения сделок, позволяющих выходить за рамки закона. Ролз использует критерий равенства для элиминации множества возможных политических решений и формулировки императива: наименее обеспеченные должны жить лучше всех. Вслед за Гоббсом Ролз анализирует общую структуру политико-правового порядка и (в отличие от Коуза) не занимается частными взаимодействиями в рамках установленного политико-правового порядка.

Итак, политическая теория не может быть обоснована утилитаризмом. Парето описал эпистемологические трудности межиндивидуальных сравнений, но некоторые ученые (Ролз) одобряют межиндивидуальные сравнения при обосновании первичных благ. Утилитаристы вынуждены избрать эффективность в смысле Гоббса и Коуза, а не коллективные сравнения благосостояния. При несогласии с Гоббсом и Коузом вынуждены определить альтернативное понятие динамичной эффективности как основу политической теории. Если они не в состоянии это сделать, возникает кардинальная проблема: фундаменталистская концепция Гоббса противоречит частной концепции Коуза. В любом случае проблемы случайности прав и борьбы за этнический контроль территории остаются неразрешенными, что способствует воспроизводству тоталитаризма.

Главное свойство *тоталитаризма* – постоянная нестабильность, которая существует до тех пор, пока руководитель и центр государства претендуют на главное положение в обществе. Сегодня тоталитаризм официально свергнут

под влиянием процессов модернизации - образования, рационализации и интернационализации типов поведения, от которых зависит развитие современной экономики. Но модернизация включает воспроизводство элементов тоталитаризма, в состав которых входит и федерализм.

Федерализм – это способ ограничения власти центральных правительств и достижения индивидуальной свободы только с учетом всех федераций всех эпох. На этой основе можно классифицировать политическую историю всех государств. Но успех федерализма как способа объединения ресурсов и защиты свободы привел к тому, что современные политические идеалисты надеются приспособить федерализм к новым условиям. Одни хотят создать глобальное мировое сообщество, другие - федеральную Европу, третьи – СНГ, четвертые - Россию. Однако глобализация и регионализация (как на мировом, так и на уровне континентов и стран) есть утопия. Должен существовать внешний враг и цель агрессии как главная причина объединения ресурсов. В противном случае никто не пожертвует независимостью ради единства. Глобальная федерация исключает существование врага и повода для нападения, поэтому нет причины объединения ресурсов. Успех или поражение разных вариантов федерализма будет способом проверки истинности (или ложности) аргументов о природе федерации, включая концепции законности и конституционализма.

Законность – это элемент справедливости в обществах, моральная и политическая культура которых серьезно относится к правам человека. Единство моральной и политической культуры выражается в добродетели. Этика добродетели изучает проблему социально-экономических и политических прав человека. Ее основания отличаются от утилитаристских посылок защитников прав человека. Властвующая элита поступает несправедливо, ограничивая критику всех решений и действий правительства. В итоге политические институты несправедливы. Права человека связаны с самодостаточностью. Человек имеет право устранить такие социальные и политические институты, которые ограничивают его права и свободы. Любой запрет свободы слова несправедлив и отражает конфликт самодостаточности и добродетели. Добродетель позволяет укоренить права человека в категориях этики. На этом пути возникает ряд проблем: паразитизм как зависимость от welfer state; причины скептического отношения к политическим правам; мотивы убеждения, согласно которому демократия понижает уровень материального благосостояния большинства людей; соотношение нищеты (бедности) и справедливости в современных обществах. Стоический идеал самодостаточности не объясняют природу демократических и либерально-эгалитарных ценностей. Корпоративизм и синдикализм – это социальные формы, которые укрепляют несамодостаточность индивида и могут быть предпосылкой паразитизма.

Республиканская свобода сопротивления любым политическим институтам аналогична либеральной негативной свободе. Реализующие свои цели

индивиды не могут полностью освободиться от взаимного влияния. Нужен критерий для решения вопроса: какие аспекты личной независимости требуют поддержки закона? Классический либерализм считал таким критерием право, а либертинизм - негативное понятие права. Республиканская идея негативной свободы сдвигает, но не решает проблему. Например, в современном обществе существует неравенство на рынке труда. Сколько равенства надо гарантировать, чтобы каждый индивид свободно сопротивлялся неравенству? Сопротивление граждан традиционной республики определялось их независимой собственностью. Теперь актуален поиск такого принципа эгалитаристской республики, который займет место прежних концепций. Республиканизм рубежа XX-XX1 вв. сосредоточен на проблеме *критерия* признания того или иного индивида гражданином. Либерализм обходит проблему, разделяя вопросы источника власти и осуществлении власти. Теория демократии изучает первый вопрос. Теория республики ищет ответ на оба вопроса. В этом контексте возникают нетривиальные подходы к пониманию доверия и толерантности.

Классики (Гоббс, Локк, Руссо, Гегель) не разработали убедительной теории политических обязанностей, которая бы объясняла, почему граждане множества государств должны признавать обязательность (а не опасность) законов того государства, в котором они живут. Зато классики участвовали в практической политике и нередко давали убедительные ответы. Усилия современных теоретиков по описанию рациональных действий не привели к успеху. Современные теоретики социальной справедливости строят моральные теории решения политических проблем в пределах демократического пространства. В этом пространстве моральное сознание теоретика гипотетически соответствует сознанию читателя. Но моральная рефлексия философа не выше аналогичной рефлексии рядового гражданина. Теоретики обычно строят теории без параллельного развития конкурирующей концепции. Она должна определить место морали (как современного эквивалента законов природы) в человеческой жизни, анализировать и изменять моральное сознание и поведение читателей. Но современные теоретики пока не переосмыслили природу политического пространства, в котором принимаются (отвергаются) те или иные концепции. Они молчаливо исходят из разных версий объективированного и отчужденного образа этого пространства. Тем самым предлагается аполитичный ответ на острый политический вопрос.

Отсюда вытекает дилемма: если сторонники таких версий правы, их концепции осуждены на политическое бессилие; если ошибаются, это сужает цели моральной и политической мысли и не учитывает политические шансы моральной рефлексии. Фактические ошибки философов обсуждаются и отвергаются специалистами в сфере социальных наук. Но это не отменяет потребности философского ответа при одновременном отбрасывании любых метафизических систем. Ответы должны учитывать и синтезировать главные

элементы конкретной сферы познания. Эпистемологическая концепция политики менее отчуждена и объективизирована по сравнению с остальными. Политика – это пространственно-временное поле действия множества свободных субъектов по решению проблемы свободы. В такой политике рациональное доверие было и остается фундаментальной проблемой. Об этом свидетельствует содержание толерантности.

Практическая проблема пределов толерантности нуждается в постоянном обсуждении. Фундаментализм позволяет критически изучать политические убеждения, связанные с либеральным признанием индивидуальности, свободы и политического разума верховными ценностями. Либерализм зависит от определенной конфигурации конечных целей и духовного порядка, но либеральная политическая философия не в состоянии обосновать ни один из этих факторов. Толерантность не есть особая позиция, допускающая инакомыслие. Она все более переплетается с фундаментализмом и фиксирует пределы политического решения всех перечисленных проблем.

Резюме

Аналитические дисциплины сформулировали ряд конкретных проблем, категорий, понятий и принципов анализа философских, экономических, социологических, политологических и историографических аспектов политического бытия и мышления. Следовательно, выводы аналитических дисциплин можно применять для оценки состояния всех перечисленных наук, а также для описания и оценки политических трансформаций в России. Синтез аналитических дисциплин дает принципиально иную структуру познавательных и практических проблем политической теории.

Аналитический подход к политической теории позволяет уточнить ее основные понятия и дать строгую систематизацию возникающих проблем. Следующий этап - эмпирическая проверка всех сформулированных положений в контексте истории и функционирования конкретного общества и государства. Для этого надо пересмотреть существующие концепции и практику прикладной политологии, поскольку она в наибольшей степени зависит от политической конъюнктуры. Подожду подсказки читателей…

ЛИТЕРАТУРА

1. *Аналитическая философия*. Избранные тексты. М., 1993.
2. *Бакеркина В.В., Шестакова Л.Л.* Краткий словарь политического языка. М., 2002.
3. *Вежбицкая А*. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.
4. *Время мира*. Выпуск 1. Историческая макросоциология в XX веке. Под ред. Н.С.Розова. Новосибирск, 2000.

5. *Гирц К.* Идеология как культурная система // Новое литературное обозрение. 1998. № 1(29).

6. *Грязнов А.Ф.* Вступительная статья // Аналитическая философия: становление и развитие. Антология. Общ. ред. А.Ф.Грязнова. М., 1998.

7. *Зиновьев А.* Русская судьба. Исповедь отщепенца. М., 2000.

8. *Капустин Б.Г.* Что такое политическая философия? // Политические исследования. 1996. № 6; 1997. № 1-2.

9. *Карпенко А.С.* Логика в России. Вторая половина XX века // Вопросы философии. 1999. № 9.

10. *Кревельд М., ван.* Расцвет и упадок государства. М., 2006.

11. *Макаренко В.П.* Аналитическая политическая философия: очерки политической концептологии. М., 2002.

12. *Макаренко В.П.* Аналитическая философия права: проблемы и перспективы // Правоведение. 2002. № 6.

13. *Макаренко В.П.* Власть и легитимность // Россия-США: перспективы политического развития. Ростов-на-Дону, 1993.

14. *Макаренко В.П.* Главные идеологии современности. Ростов-на-Дону, 2000.

15. *Макаренко В.П.* Государство и политический реализм: пути когнитивного сопротивления // Космополис. Журнал мировой политики. 2006. № 1/15.

16. *Макаренко В.П.* Групповые интересы и властно-управленческий аппарат: к методологии исследования // Социологические исследования. 1996. № 11; 1997. № 7.

17. *Макаренко В.П.* Кавказ: концептологический анализ // Социологические исследования. 2001. № 12.

18. *Макаренко В.П.* Намерения и последствия: когнитивные аспекты демократии // Полис. 2002. № 4

19. *Макаренко В.П.* Политическая концептология // Народы СНГ накануне третьего тысячелетия: реалии и перспективы. Материалы Международного симпозиума. Т.3. СПб, 1996.

20. *Макаренко В.П.* Политическая концептология: обзор повестки дня. М., 2005.

21. *Макаренко В.П.* Политическая философия. Ростов-на-Дону, 1992.

22. *Макаренко В.П.* Политический дискурс: между бессмыслицей и порочным кругом // Вестник МГУ. Серия «Социология и политология». 2005. № 2.

23. *Макаренко В.П.* Права человека и собственность // Общество и экономика. 2004. № 7-8.

24. *Макаренко В.П.* Правительство и бюрократия // Социологические исследования. 1999. № 3.

25. *Макаренко В.П.* Проблема общего зла: расплата за непоследовательность. М., 2000.

26. *Макаренко В.П.* Равенство: логико-методологический анализ // Общество и экономика. 2003. № 11.

27. *Макаренко В.П.* Русская власть: теоретико-социологические проблемы. Ростов-на-Дону, 1998.

28. *Макаренко В.П.* Свобода и грязное дело // Вопросы политики. Вып. 8. Волгоград, 2005.

29. *Макаренко В.П.* Социология и политическая философия // Социологические исследования. 2004, № 8.

30. *Макаренко В.П.* Справедливость и проблема изменения status quo // Экономические науки. 2006, № 2.

31. *Макаренко В.П.* Теория сецессии: посылки, аргументы и следствия // Вестник МГУ. Серия «Социология и политология». 2006. № 2.

32. *Макаренко В.П.* Технократические мамелюки. Ростов-на-Дону, 2000.

33. *Макаренко В.П.* Толерантность в контексте фундаментализма: аналитический подход // Либеральный консерватизм: история и современность. Москва, 2001.

34. *Макаренко В.П.* Феномен квазиполитики и проблема политических объектов // Вестник МГУ. Серия политических наук. 1998. № 2-3.

35. *Макаренко В.П.* Homo economicus и средний избиратель: парадоксы общего выбора // Общество и экономика. 2002. № 3-4.

36. *Неретина С.С.* Концепт // Новая философская энциклопедия в 4-х томах. Т.2. М., 2001.

37. *Огурцов А.П.* Аксиологические модели в философии науки // Философские исследования. 1995. № 1.

38. *Ослунд А.* Строительство капитализма. Рыночная трансформация стран бывшего советского блока. М., 2003.

39. *Рассел Д.Б.* Дьявол: восприятие зла с древнейших времен до раннего христианства. СПб., 2001.

40. *Репортаж о презентации книги В.Макаренко* // http//fppr.org.ua/articles/Makarenko_reportaz.htm

41. *Розов Н.С.* Возможность теоретической истории: ответ на вызов Карла Поппера // Вопросы философии. 1995. № 12.

42. *Руднев В.П.* Словарь культуры XX в. М., 1997.

43. *Скотт Дж*. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М., 2005.

44. *Слышкин Г.Г*. От текста к символу: Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М., 2000;

45. *Сол Дж.Р*. Ублюдки Вольтера. Диктатура разума на Западе. М., 2006.

46. *Суверенитет*. Сост. Н.Гараджа. М., 2006.

47. *Философия не кончается*… Из истории отечественной философии. XX век. 1960-80-е годы. М., 1999.

48. *Хиршман А*. Рыночное общество: противоположные точки зрения // Социологические исследования. 2001. № 3.

49. *Чешков М.А*. Неоэтатизм: мировые и локальные измерения // Политические исследования. 1996. № 2.

50. *Эпштейн М*. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. М., 2004.

51. *Ясперс К*. Вопрос виновности // Знамя. 1994. № 1.

52. *Makarenko W*. Samotna wspolnota: wprowadzenie do filozofii politycznej. Rzeszow, 1999.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ КАК «ЗАХВАТ МИРА ПОЛИТИКИ» И ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУРСУ

А.В. Лубский
доктор философских наук,
кандидат исторических наук, профессор,
Южный федеральный университет

В рецензии на книгу В.П. Макаренко «Политическая концептология: обзор повестки дня» (М.: Праксис, 2005) мы посчитали необходимым подчеркнуть, что современная политическая концептология претендует на то, чтобы стать новой наукой о политике [3]. Семантически политическая концептология – это наука о политических концептах, поэтому содержание предметной области этой науки зависит от понимания того, что такое политический концепт.

При наличии различных подходов к пониманию того, что такое концепт вообще, в настоящее время достигнуто относительное согласие: концепт – это ментальное образование, функционирующее в различных областях общественного сознания (в научном, философском, религиозном, идеологическом, обыденном), которым соответствуют определенные типы дискурса. Поэтому предметом политической концептологии, с одной стороны, могут быть политические концепты, сложившиеся в сфере повседневности и имеющие как понятийное, так и образное, ценностное, поведенческое, этимологическое и культурное «измерения» [1]. С другой стороны, предметом политической концептологии могут выступать политические концепты, сложившиеся в научном дисурсе.

В научном дискурсе политические концепты – это теоретические конструкты, наполненные аксиологическим содержанием. В структуре этих политических концептов можно выделить такие компоненты, как: 1) понятийный, отражающий его признаковую и дефиниционную структуру, 2) ассоциативный, выраженный в форме образно-метафорических коннотаций либо прецедентных связей. В научных политических концептах безличные и объективистские понятия авторизуются в процессе производства личностно-ориентированного научного знания о политической реальности.

В современной политической эпистемологии присутствуют две тенденции. Первая тенденция – рассудочно-социологическая – связана с построением по-

литической эпистемологии как «строгой науки», стремящейся представить субъектно-объектные отношения в жестких абстракциях, где господствует анонимный гнет понятий, демонстративность научной мысли и технократизм. Вторая тенденция – экзистенциально-антропологическая – обусловлена стремлением не только сохранить субъект политологического познания, но и представить его в теории познания как целостность, в единстве мышления, чувствования и деятельности, ориентированную на интеллектуализм и эвристичность [6].

В рамках второй тенденции идет становление такого типа ученого, который способен быть субъектным в производстве новых научных знаний о политической реальности. Эта субъектность проявляется в свободе научного творчества, которая выражается в том, что ученый, преодолевая «методологический прессинг» путем самоутверждения и самоактуатизации, становится «автономным исследователем» и присваивает себе право выбирать методологические основания своей профессиональной деятельности и создавать личностно-ориентированные картины изучаемой политической реальности. Такой автономный ученый» не только воспринимает профессиональную научно-исследовательскую культуру, но и противостоит ей, ставя себя по отношению к ней в позицию «вненаходимости». Его научная деятельность начинает носить проектно-конструктивный характер, а изучаемая политическая реальность становится такой, какой ее определяет сам исследователь.

В результате в современной политической науке сложилась ситуация, которая характеризуется переходом от монистической интерпретации политической реальности к плюралистической. В рамках этого перехода формируется новый тип методологического сознания, который базируется на следующих эпистемологических предпосылках:

1. О политической реальности можно говорить на разных языках, в контексте различных теорий, с учетом различных политических перспектив. Поэтому одни исследователи предпочитают рассуждать о политической реальности, опираясь на традиции классической политической науки, которая видит свою цель в открытии объективных законов, действующих в «мире политики». Другие, относясь скептически к такой эвристической претензии, считают, что хотя и «существует особая профессия, называемая политологией, никакой более или менее полной и систематизированной науки о законах политической деятельности не существует. Этому есть объяснение. Если бы такая наука была создана и стала общедоступной, то она выглядела бы в глазах обывателей как нечто аморальное, циничное, преступное, а люди в сфере политики выглядели бы как негодяи, лжецы, насильники, изверги» (А.А. Зиновьев). Третьи исследователи, выводя современную политическую науку за пределы классического детерминизма, формулирующего свои «непреложные закономерности» и предопределенные финалы, предпочитает говорить о политической реальности с позиций теории игр. По их мнению, «основной вопрос политической теории, касающийся самих условий существования политики имеет две стороны, одна указывает

на то, какие условия требуются, чтобы политическая игра велась активно, сохраняла смысл и привлекала интерес, другая – на то, какие условия требуются для проведения ее в цивилизованных рамках». Поэтому они предлагают интерпретировать «мир политики» с точки зрения интересов и ценностей: выяснить пружины «реальной политики» – значит выявить стоящие за ней интересы и, следовательно, средства достижения консенсуса по поводу этих интересов. (А.С. Панарин).

2. Научное исследование, протекающее в определенных социокультурных и политических условиях, обусловлено стилем мышления сообщества, к которому принадлежит ученый, а политические знания как результат исследования всегда контекстуальны и индексикальны, поскольку они обусловлены культурно-эпистемологическим контекстом и отмечены индексом когнитивного схематизма, на основе которого они транслируются. Между ученым и «миром политики», который он изучает, всегда лежат тексты, содержание которых исследователь подвергает интерпретации, чтобы понять их смысл. В этом плане умственными занятия, направленные на выяснение того, кто лучше или глубже понимает тот или иной политический текст, выглядят бесперспективными, ибо понимание – это интерпретация, а любая интерпретация контекстуальна, гипертекст которой – сама политическая культура. Интерпретации текстов не сравниваются, они утверждаются, опираясь на научный авторитет или вненаучную инстанцию. Поэтому политическая реальность как внешний для исследователя «мир политики» сам по себе не дает никаких гарантий адекватности политологического знания. Исследователь, веря в целесообразность (или смыслосообразность) «мира политики», создает картину политической реальности в виде системы когерентных понятий, логически непротиворечивых умозаключений и ценностных утверждений так, что, будучи поставленной на место реального «мира политики», эта картина посылает такие же личные его «послания», как и сам политический мир.

3. Научные знания как репрезентации «мира политики» не являются его «репродукциями», «отражениями», поскольку эти репрезентации несут на себе «почерк» познающего. Поэтому научные знания, зависимые от контекста и перспективы, имеют статус когнитивных конструкций, они концептуально относительны, их нельзя априори защитить от скептических возражений. Исследователь, создавший научную картину «мира политики», может утверждать, не опасаясь фактических опровержений, что он в действительности познал некую сторону политической реальности, хотя это утверждение не может быть никогда прямо доказано.

Таким образом, реальный «мир политики» встречает ученых в разных ипостасях, которые они выбирают для конкретной научной «встречи». Результатом этой встречи является многообразие картин политической реальности, совокупность которых представляет собой книгу о «мире политики», пишущуюся и дописывающуюся вновь и вновь различным образом в языках тех или иных поли-

тических культур и научных сообществ. В результате политическая наука превращается в мультипарадигмальную дисциплину, «ярмарку идей», когнитивное поле многообразных мнений и интертекстуальных «языковых игр», в ходе которых «мир политики» растворился во множестве научных дискурсов, тропов и смысловых миров.

В такой эпистемологической ситуации складываются две версии политической концептологии. В рамках одной из них политическая концептология, перефразируя высказывание С.С. Неретиной [7], представляет собой эксперименты с разными политическими концептами. В этих экспериментах концепты-тексты, показывая полное изменение конфигурации «мира политики», выступают одновременно интенцией смыслопорождающей деятельности, результат которой – «умные мысли» политических концептологов. Данная версия политической концептологии тесно связана с тем вариантом аналитической политической философии, предметом которой выступает не сама политическая реальность, а концептуальные высказывания о ней.

Другая версия политической концептологии представлена работами В.П. Макаренко, деконструкция текстов которого и рефлексия по поводу методологических оснований его когнитивных практик позволяют выяснить, что является предметом данной версии политической концептологии, каковы ее методологические средства и когнитивная стратегия, а также роль ученого в получении нового знания.

Политическая концептология у В.П. Макаренко носит трансдисциплинарный характер, ее предметом выступает «осмысленная политическая реальность», являющаяся результатом научных исследований в философии, политической экономии, социологии, политологии, юриспруденции и историографии. Трансдисциплинарный характер политической концептологии ко многому обязывает, предполагая, с одной стороны, энциклопедичность и метатеоретичность, а с другой – ответственность и вовлеченность ученого в предмет исследования, ибо он берет на себя обязанность не только теоретически обобщать все то, что сделано в различных областях научного знания, но и выразить свое личностное отношение к существующим политическим теориям и реальной политической проблематике.

В этом плане политическая концептология В.П. Макаренко тесно связана с политической философией, которая трактуется в рамках классического подхода как политическая метанаука, а в рамках неклассического – индивидуально-личностное, ценностное отношение к политической действительности [2]. Автор синтезирует оба эти подхода: его мысль движется, с одной стороны, по магистральным траекториям, проложенным абстрактным мышлением и понятиями, замечая только общее, не удостаивая внимания деталям, а с другой – по случайным траекториям, ее доминирующей чертой становится ассоциативность. Поэтому движение мысли в текстах В.П. Макаренко определяется не только от-

несением ее к некоему фундаментальному понятию, но и обращением к ценностям, из которых исходит мыслящий субъект.

Таким образом, политическая концептология В.П. Макаренко – это не только движение в логике понятий, но и нормативность мышления, в центре которого находятся теоретические и практические проблемы реальной политики. Вместе с тем В.П. Макаренко пытается выяснить не только то, «как есть» в политической реальности, но и то, «как должно быть». Тем самым автор стремится поставить эту реальность под свой контроль. В связи с этим политическая концептология у В.П. Макаренко – это и обобщение теоретического знания, полученного в различных областях научного знания, и аксиологическое отношение к конкретной политической действительности, и нормативный ее контроль.

Разработка проблем политической концептологии, как считает В.П. Макаренко, предполагает максимальное дистанцирование исследователя от политической конъюнктуры и всего корпуса социальных знаний, поскольку в них воплощены познавательные и политические установки традиционализма, экономикоцентризма, кратоцентризма и идеократии в локальном, региональном и мировом измерениях. Кроме того, рассматривая проблемы политической концептологии, В.П. Макаренко полагает, что в науке не существует инвариантных базисных истин и единых критериев научности для всех субъектов политического познания. В связи с этим изучение политической реальности на основе, например, парадигмы интересов или парадигмы ценностей всегда остается односторонним, и поэтому дискуссионным.

Основой политической концептологии В.П. Макаренко является также та версия аналитической политической философии, которая отличается утонченностью теоретических построений и критическим отношением к политической действительности. Эта версия представляет собой продолжение дискурса Просвещения и классической рациональности, в которой cogito правит бал. Однако у автора разум не только указывает путь к истине, но и реализуется в индивидуально-личностном отношении к политической действительности. В связи с этим аналитическая политическая философия – это нормативное мышление о социальных и политических институтах, необходимых для политической деятельности, а также систематизация когнитивных и социокультурных барьеров рациональной критики и преобразования этих институтов. Главными сферами исследования в русле такой философии выступают политическое благо и политический выбор, для анализа которых применяются универсальный персонализм и ценностный солипсизм. Теория блага, отмечает В.П. Макаренко, есть комплекс объективных требований, которым должны удовлетворять политические ценности. Теория выбора включает принципы классификации подходов к установлению политических институтов. Персонализм позволяет изучать зависимость индивидуального блага (зла) от политических институтов – при одновременном отрицании приоритета общих интересов (народов, обществ, государств, культур) над индивидуальными интересами.

Политическая концептология В.П. Макаренко – это стремление к целостному теоретическому и аксиологическому восприятию и воспроизводству политической реальности, основанное на логике восхождения от понятия к проблеме, а от проблемы к факту. Занимаясь концептуализацией политической реальности, исследователь вначале выясняет, как интерпретируются основные понятия представителями различных научных направлений. В связи с этим он переходит к другой версии аналитической философии, предметом которой выступают концептуальные высказывания о политической реальности, что собственно и превращает политическую концептологию в науку о политических концептах. Однако затем исследователь идет дальше: он уточняет эти понятия и на их основе дает строгую систематизацию возникающих проблем, стоящих на «повестке дня».

Когнитивная стратегия разработки проблем политической концептологии у В.П. Макаренко базируется на осмотрительном и неторопливом синтезе множества конкретных идей и проблем, связанных с философскими, экономическими, социологическими, политологическими, правовыми и историческими аспектами изучения политической реальности. При этом мысль его движется первоначально по магистральным траекториям, проложенным абстрактным мышлением и рассудочной деятельностью. Однако авторский стиль нормативного мышления и стремление исследователя поставить политическую реальность под свой контроль постепенно усиливают мотивы неклассической рациональности, в которой движение мысли определяется не отнесением ее к некоему фундаментальному понятию, а обращением к ценностям, из которых исходит мыслящий субъект. Такое «участное мышление» приобретает последовательно аксиологическую природу, обнаруживая авторскую оригинальность и проявляясь в языке, в котором научный академизм сочетается с ироничностью и метафоричностью.

В этом плане можно обнаружить определенную метафорическую связь между политологической концептологией В.П. Макаренко и некоторыми идеями-образами, содержащимися в работах М.К. Петрова. В первую очередь, это – образ «захвата», в контексте которого политический концептолог – это «пират», одержимый страстью «захватить» охвативший его «мир политики». Его мечта – не столько объяснить и изменить этот мир, сколько осветить и освятить его своим пониманием, ибо он верует в то, что говорит, поскольку понимает предмет политического разговора.

Вместе с тем политическая концептология у В.П. Макаренко – это не только «захват» мира политики, но и приглашение к научному дискурсу, который приобретает последовательно тропологическое измерение. Это придает тропологическому дискурсу смысл, даже вопреки некоторым фактическим неточностям, которые он может содержать, и логическим противоречиям, которые могут ослаблять его доказательства. В пространстве тропологического дискурса В.П. Макаренко придерживается трех риторических стратегий – метафориче-

ской, метонимической и иронический, что придает его текстам не только синкретическую целостность, но и образность описаний. Метафорическая стратегия позволяет исследователю быть как бы «сторонним наблюдателем», метонимическая – демонстрировать позицию современника, ироническая – позволяет «отстранить» описываемую политическую реальность через комическое «снижение».

В политической концептологии понятие метафоры приобретает новое значение: из риторического тропа она превращается в эффективное познавательное средство. Метафора выступает не только посредником между субъектом и предметом познания, но и способом передачи информации в политологическом дискурсе. Метафора – это не иллюстрация эмпирических фактов, а визуальный образ отвлеченных теоретических связей. Она представляет собой единство познания и эмоций, видения и суждения, инсайта и интуиции. Являясь моделирующей идеей метафора нацеливает исследователя на восприятие политической реальности как целостности. Метонимия в политической концептологии представляет собой текст как отражение политической реальности с позиций заинтересованного наблюдателя. Ирония – это стилизация и пародия другого текста.

Открытие метафоры, метонимии и иронии как познавательных средств в политической концептологии явилось результатом нарастающего понимания неизбежной условности, неточности, неполноты научного познания «мира политики». Все больше стали очерчиваться границы разрыва между научным знанием о «мире политики» и самим «политическом миром». Разрыва, не только трагичного, но и плодотворного, ибо в пространстве этого разрыва и в контексте постоянных стремлений его преодолеть, исследователь порождает свой собственный политический мир как мир языка политической культуры и свободы.

В текстах В.П. Макаренко метафора, метонимия и ирония выступают средством создания таких образов и связей между ними, способных служить знаками политической реальности, которую можно лишь вообразить, а не воспринять непосредственно (например, «дрянь в законе», «суверенитет и добрые дяди», «вечные воры», «федеральное самоубийство», «притон и богадельня», «политический Христос», «юридический Геракл», «трепетный синдром аполитичности», «сомнительная неизбежность», «свобода и грязное дело», «счастливые рабы и граждане», «ложь и самообожествление», «компромисс и компромат», «природа властной импотенции», «социальный оккупант», «паразиты и стоики» и др.).

Методологической основой политической концептологии В.П. Макаренко составляет синтез двух подходов – рассудочно-социологического и нормативно-антропологического. Это открывает большие эпистемологические перспективы в условиях «барахтанья» российской интеллектуальной мысли в оставшемся после марксизма море политических мифологем. Такого рода политическая концептология возможна лишь в рамках неоклассической модели научного

исследования, в рамках которой преодолеваются традиционные подходы к изучению политической реальности (социально-экономический, идеократический, кратоцентрический и пр.). В русле этих одномерных подходов акцентируется внимание на какой-то, хотя и важной, но одной стороне политической реальности, поэтому эти походы являются односторонними.

В целом политическая концептология В.П. Макаренко – это попытка нового «захвата» мира политики, основанная на неоклассических принципах научного исследования. Опираясь на эти принципы, автор создает многомерную дискурсивную модель актуальной политической реальности, базовыми понятиями которой выступают власть, свобода, суверенитет, равенство, право, легальность, легитимность, права человека, собственность, демократия. При этом В.П. Макаренко делает ряд эпатажных выводов: 1) участие в политике необходимо, но эффективность такого участия, а также классическая теория демократии, основанная на идее сознательного избирателя, становятся все более сомнительными; 2) провал рациональных проектов политики обнаружил ее абсурдность, связанную с угасанием в ней рационального начала и превращением политической реальности в мир реализованного (или нереализованного) абсурда. В связи с этим судьбы людей, как подчеркивает автор, не должны зависеть от бытия государств. Политические институты должны соответствовать благу индивидов, а не наоборот. Равенство – главная ценность современности. Смысл политических институтов определяется их ценностью для индивидов и не являются надындивидуальными. Социальные привилегии индивидов не являются политической нормой. Государство не является политическим благом. Политическое благо – это применение принципа равенства в политической жизни.

Нормативно-оценочный солипсизм, по версии В.П. Макаренко, означает, что любая ценность может быть главной политической ценностью и критерием политической оценки. При этом автор выделяет внесоциальные (благосостояние, счастье, польза, негативная и позитивная свобода), социальные (культурная гармония, социальный порядок, политическая стабильность, правопорядок) и промежуточные (активное и пассивное равенство) ценности. Внесоциальные ценности – главные политические блага, критерии политической оценки и основа политических дискуссий. В этом плане демократия и правопорядок являются ценностями лишь в той мере, в которой культивируют внесоциальные ценности. Отсюда, полагает В.П. Макаренко, вытекают важные следствия: свойства индивида являются главным критерием политических ценностей; взаимная изоляция индивидов – это социальная и политическая норма; политика – доказательство большей ценности политических решений по сравнению с бытием индивидов; при отсутствии доказательств политика превращается в сферу абсурда; социальные и промежуточные ценности надо отделить от государства и других политических институтов.

Государство, полагает В.П. Макаренко, обязано соблюдать ценности во всех смыслах слова. Однако конфликт между ними не преодолен ни в одном государстве мира. Все государства пренебрегают ценностями при установлении подзаконных актов и реализации политики. Поэтому административно-распорядительная деятельность государств есть сфера абсурда. Под таким углом зрения надо рассматривать все политические взгляды, доктрины, теории и институты.

В.П. Макаренко считает, что понятия привлекательности, оптимальности, общего блата, политической конкуренции, демократии позволяют описать возможности реализации выбора в разных социальных и политических системах, а также синтезировать результаты философского и экономического анализа политики и отвергнуть либеральную концепцию индивидуального выбора. Реализация выбора, по мнению В.П. Макаренко, предполагает постоянство этических норм, аналитическую дистанцию между целями и предметами выбора, отрицание этического идеализма. Понятия горизонтальной справедливости и несправедливости описывают следующие явления: несправедливость всех налоговых систем и налоговой политики; нежелательные последствия всех политических действий и институтов, функционирующих на основе индивидуального выбора; все политические решения не являются лучшими из возможных; политика – это лавка старьевщика, своего рода склад утильсырья, для изучения которого разработана теория подержанных вещей.

Рынок, утверждает В.П. Макаренко, не является критерием истинности социальных теорий. Политические и экономические институты развивают социальный паразитизм. Рынок смешивает вкусы, желания, выборы и ценности. Функционирование рынка базируется на посылке: в каждом его звене оптимально сочетаются противоположные склонности людей. Тем самым рынок культивирует этический нигилизм. В рыночном обществе ни один индивид не может максимально реализовать собственные ценности по причине аналогичных стремлений других индивидов. Польза – частное правило человеческого поведения. Если польза считается главной социальной ценностью, то большинство общества предпочитает стабильность, твердую власть, неравенство, несправедливость и мошенничество вместо свободы. При таких условиях общий выбор порождает множество непредвиденных последствий.

Претензии любых правительств на выражение общего блага В.П. Макаренко называет просвещенным деспотизмом, противостоящим индивидуальным мотивациям и социальным институтам. Политические институты демократии отвергают этику при принятии решений. Поэтому недостатки рынка отражаются в недостатках государственной политики. Общее благо недостижимо ни посредством рынка, ни с помощью государства.

Демократия, как считает В.П. Макаренко, – это запрограммированная инерция политических процессов и институтов. Выборы порождают проблему нестабильного большинства, для решения которой надо ограничить индивиду-

альные политические выборы. Нестабильность – следствие демократических процедур, при которых избиратели голосуют за бесполезные и вредные для общества политические решения. Принцип большинства и ссылка на общие интересы населения в избирательных кампаниях потеряли смысл. Демократия не решает проблему общего блага. Вмешательство государства в рыночные процессы есть следствие неэффективности рынка и обостряет проблему реализации выбора. Если экономика становится элементом политики, всю совокупность решений в сфере экономической политики надо анализировать с помощью описательной, а не нормативной модели политики.

Для устранения этих явлений политика, по мнению В.П. Макаренко, должна приобрести совещательный характер. Политика как сфера свободной публичной критики предполагает независимость населения от групп интересов и политических партий. Но механизмов культивирования такой независимости не существует. Электоральные кампании отличаются случайностью и произволом. Принцип большинства ведет к порочному кругу и исключает общий выбор. Способы решения этой дилеммы (процедура голосования, последовательность индивидуальных политических выборов, структура политических институтов) уменьшают, но не исключают вероятность порочного круга.

Для реализации политического выбора, считает В.П. Макаренко, необходимо согласие граждан по вопросам единства нации, общеобязательности политического выбора и отражения в нем индивидуальных выборов. Такое согласие в принципе невозможно, поскольку оно предполагает унификацию мнений по проблемам, относительно каждой из которых существуют взаимоисключающие теории, политические институты демократии не отражают индивидуальные выборы. Отсюда вытекает конфликт намерений и результатов политических действий. Он существует при любых формах государства. Демократия не может преодолеть бюрократизацию организационных структур, иллюзию доверенного исполнителя, институциональные интересы и бюрократическую модель вневедомственных соглашений. Логика организационных структур противоречит демократии [4].

В целом В.П. Макаренко рассматривает политику как пространственно-временное поле действия множества свободных субъектов по решению проблемы свободы. Поэтому в такой политике, по его мнению, рациональное доверие было и остается фундаментальной проблемой.

Стремясь к синкретическому воспроизводству политической реальности, В.П. Макаренко предлагает оригинальную ее концепцию, представляющую собой ряд логически непротиворечивых утверждений, в основе которых лежат три взаимосвязанных концепта: государственный аппарат, политическая оппозиция, легитимность [5].

Опираясь на идеи П. Бурдье и Ф. Броделя, автор рассматривает государственный аппарат, с одной стороны, как атрибут «естественного состояния общества», с другой – в качестве «социального паразита». Государственный

аппарат как «социальный паразит» – это суперкласс «власти-собственников» и «власти-идеологов», осуществляющий социальное, экономическое, идеологическое и духовное господство. Политическая оппозиция как социальный институт представлена организациями, выражающими интересы и ценностные ориентации различных политических сил, стремящихся «перехватить» власть. Легитимность трактуется как «степень согласия граждан с аргументами политических организаций и политического доверия к ним». В этом плане политическая легитимность всегда является частичной.

Концепты «государственный аппарат», «политическая оппозиция» и «легитимность» рассматриваются В.П. Макаренко как три ипостаси единосущности политической реальности. Государственный аппарат и политическая оппозиция как противоположности, находящиеся в состоянии перманентного конфликта, разрывают политическое пространство, ибо цель бюрократии – удержать власть, а цель оппозиции – передать власть. Легитимность синкрезирует политическую реальность, способствуя или удержанию власти, или ее передаче.

Когнитивной основой такой концепции политической реальности выступает тринитарное мышление, в русле которого выделяются не только два противоположных элемента, но и третий, разрешающий противоречие между противоположностями путем усиления одной из них, давая перевес одному из противоположных элементов. Поэтому «мир политики» у В.П. Макаренко сводится не к дуальным сущностям-антагонизмам, выражающим какую-либо борьбу противоположностей, например, классов, а к трем силам, две из которых – государственный аппарат (государственной бюрократии) и политическая оппозиция – находятся в противоборстве, а третья сила – легитимность – определяет результат этого противоборства. Логика тринитарного мышления собственно и состоит в том, чтобы найти и привлечь «третью силу» при явном противоборстве двух сторон: легитимная бюрократия всегда подавляет политическую оппозицию, легитимация политической оппозиции ведет к смене власти.

Конституционализация любой научной дисциплины определяются степенью оформленности ее категориального аппарата как системы базовых понятий. В рамках политической концептологии, основанной на логике восхождения от понятия к проблеме, а от проблемы к факту, аналитический подход к политической теории позволил В.П. Макаренко уточнить основные понятия политической концептологии и дать систематизацию ее актуальных проблем, стоящих «на повестке дня». Однако необходим следующий этап – эмпирическая проверка всех сформулированных положений в контексте политической истории и современной политики. Но для этого автору придется пересмотреть существующие концепции прикладной политической науки, поскольку они в значительной мере зависят от политической конъюнктуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Воркачев С.Г.* Методологические основания лингвоконцептологии //

2. *Лубский А.В*. Методологические проблемы политической философии (вместо предисловия) // Макаренко В.П. Политическая философия. Ростов-на-Дону, 1992.

3. *Лубский А.В*. Политическая концептология – новая наука о политике // www.polittheory.narod.ru/Lubskiy/Lubskiy_review.doc.

4. *Макаренко В.П*. Политическая концептология: обзор повестки дня. М., 2005.

5. *Макаренко В.П*. Теория бюрократии, политическая оппозиция и проблемы легитимности. СПб., 1996.

6. *Микешина Л.А*. Философия познания. Полемические главы. М., 2002.

7. *Неретина С.С*. Тропы и концепты. М., 2004.

8. *Теоретическая и прикладная лингвистика*. Вып. 3. Воронеж, 2002.

ОБ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ ФИЛОСОФИИ ПОЛИТИКИ

С.Г. Чукин
доктор философских наук, профессор,
Санкт-Петербургский военный институт
внутренних войск МВД России

С середины 80-х годов ушедшего столетия в западной социально-философской мысли ведутся многослойные дискуссии, в центре которых находится вопрос о моральных основах современных демократических обществ, или, другими словами, вопрос о том, что выступает в качестве скреп западных обществ современного типа. В ходе полемики, которая получила название «коммунитаристских дебатов», четко обозначились проблемы (и пределы) канонической философии политика и права, без разрешения и преодоления которых дальнейшее движения в сторону создания дееспособных теорий в этой области оказалось невозможным. В первую очередь речь шла о том, связана ли демократия с определенной идеей блага, соответствует ли демократии политика «хорошей жизни», или же все нормативные вопросы в обществах, которые желают оставаться демократическими, должны по-прежнему переадресовываться в сферу приватной жизни. В более широком смысле в центре спора оказалась проблема отношения к общим, разделяемым всеми ценностям, то есть, к культурному сообществу или образу жизни.

Но начинался спор с резких критических инвектив, направленных в самое сердце либеральной политической и правовой теории, а именно, в принятую ею антропологическую модель. Можно предположить, что бескомпромиссность сторон (либералов и коммунитаристов) в отстаивании своих представлений о человеке, есть основная причина отсутствия явного прогресса в концептуализации политики и права. Ответам на вопросы о том, в каком обществе мы хотим жить, и на что мы имеем право, предшествует ответ на вопрос «кто мы?».

М.Сэндел и другие коммунитаристы утверждают, что теория справедливости в смысле Дж.Ролза и Ю.Хабермаса должна быть отвергнута потому, что она предполагает «бесконтекстного субъекта», «несвязанную Самость», которая не конституируется сообществом и не определяется через

ценности, концепции блага и социальные связи. Но поскольку такого субъекта не существует, - пишет Сэндел, - то и вся конструкция, возведенная на этом допущении, неизбежно рушится [10, S. 25].

Отвечая на эту критику, сам Ролз и его последователи, считают, что в ней смешиваются плоскости понимания и описания проблемы. В частности, не проводится различие между этическим, моральным и правовым контекстами, тогда как это принципиально важно, поскольку позволяет развести политико-правовое понятие автономии и понятие «атомистической Самости». Рациональную автономию, которая приписывается Ролзом сторонам, находящимся в «первоначальной ситуации», за «пеленой неведения», а Хабермасом - участникам дискурса внутри «идеальной разговорной ситуации», следует понимать как описание не метафизического, а политического понятия личности, в котором акцент сделан на приоритет разумности в деле заключения общественного договора. Достаточно обстоятельно ситуация вокруг понятия «автономного индивида» и последствия различных попыток её разрешения проанализированы В.П.Макаренко [2, с. 59-67].

Но даже из поверхностного знакомства с существом взаимных обвинений сторон, становится ясно, что вопросы природы человека, его Самости для участников имеют значение лишь постольку, поскольку они необходимы для обоснования их социально-философской конструкции. Ибо главный вопрос социальной философии, - в чем смысл и предназначение общества, - получает тот или иной ответ в зависимости от антропологической посылки, которая принимается без специальной философской рефлексии, «на веру». Исключением является разве что Ч.Тейлор [12]. Ниже мы попытаемся показать, как невнимание к теоретической проработке антропологической посылки, влияет на состояние социально-философской картины современного общества.

Либеральная и коммунитаристская концепции человека различаются, в том числе, пониманием связи между индивидуальными и общими интересами, степенью нуждаемости человека в обществе. Однако, несмотря на эти различия, их объединяет одна, весьма существенная черта: они базируются на представлении, что развитие человека (его онтогенез) есть социализация, то есть процесс преодоления эгоцентризма и индивидуализма человека посредством культуры и общества. В результате социализации, по логике этой социализации, у индивида неизбежно формируется чувство включенности в целое. Существо такого подхода очень доходчиво изложил Ю.Хабермас, описывая становление личности, «индивидуализируемой через процессы социализации внутри исторического контекста» [7, с. 35]. Такое понимание индивидуальности он называет «перформативным», противопоставляя его «дескриптивному», и утверждает, что обязательным условием индивидуальности является подтверждение признания со стороны других.

Социализированный индивид – это индивид, всегда находящийся в рамках, которые ему пред-даны. Конфигурация и размер этих рамок в либеральной и

коммунитаристской трактовках социальности различаются, однако требование обязательной включенности индивида в ту или иную форму общественного единства, является общим для них. Социализация – это деиндивидуализирующий, эгалитарный процесс, приводящий к тому, что различие отступает на второй план в идентичности человека. Но реальная картина современного индивида противоречит этой логике. Эмпирические исследования отмечают рост чувствительности людей к различию, повышение роли индивидуальной истории в их идентичности. Отмеченное противоречие препятствует направлению поисков социальных конфигураций и форм субъектности, соразмерных настоящей идентичности индивида.

Мы полагаем, что безрезультатность дискуссий в проблемном поле атомизм/холизм, индивидуализм/универсализм, а также методологический тупик, в котором оказалась философия политики и права, объясняются, в том числе, однозначной трактовкой индивидуализации как социализации. Это дает повод обратить внимание на ряд новых социальных и политико-правовых теорий, которые опираются на модель человека и общества, отличную от охарактеризованной выше и получившую название «антропологии множества (множественности)».

Принципиальным в антропологии множества является то, что процесс формирования индивида понимается не как социализация, а как *индивидуация*. Со стороны психологии теорию индивидуации разрабатывал Л.С.Выготский. В работе «Мышление и речь», анализируя учение Ж.Пиаже о речи и мышлении ребенка, Выготский подвергает критике отстаиваемую швейцарским ученым схему онтогенеза, согласно которой индивидуальное развитие ребенка есть процесс высвобождения из первоначального аутистского состояния через прогрессирующее обобществление. В теории Пиаже процесс социализации занимал центральное место. Выготский же утверждает, что с точки зрения биологической эволюции допущение о том, что аутистская форма мышления является исходной в онтогенезе, несостоятельно [1, с. 53-54]. Онтогенез – это движение от социального к индивидуальному, которое происходит на территории языка. Выготский исходил из до-индивидуального характера языка и непосредственно общественного характера речи. Эта «до-индивидуальность» языка трактуется им как принадлежность к языку в естественно-историческом смысле слова. Поэтому языковая коммуникация является интерсубъективностью еще до появления субъекта в собственном смысле. Она принадлежит всем и никому.

Философскую интерпретацию индивидуации дал Жильбер Симондон [11], - современник Фуко, - которого Ж.Делез считал одним из выдающихся философов XX столетия. Создавая теорию индивидуации, Симондон обращается, для прояснения своего подхода, к греческому апейрону, который Анаксимандр из Милета считал основным материалом, лежащим в начале всего сущего. Апейрон имеет значение в качестве основополагающей, непознанной

креативной силы, принципами которой являются безграничность и неопределенность. Эта создающая сила есть импликация сущего. Аналогом апейрона у Симондона выступает «до-индивидуальная природа» человека. Она есть первая индивидуация. За ней следует вторая индивидуация, которая создается в контакте с Другим, с коллективом. Индивидуация создает индивида, как его понимает Симондон: то есть, не как фиксированную идентичность, а как процесс, который невозможен без Другого. Вторая индивидуация эквивалентна замещению частей до-индивидуальной природы. В индивидуированном индивиде сосуществуют до-индивидуальная, над-индивидуальная и собственно индивидуальная составляющая, но сам он является сингулярностью, а не частью какого-то единства. Не его выбирают или определяют в качестве члена какого-то сообщества или социального субъекта, а он сам выбирает форму сообщества, руководствуясь главным критерием: оно не должно покушаться на его идентичность.

Формой субъектности индивидуированных индивидов является «множество» или «множественность». Концепт «множества» стал активно использоваться в политико-философском лексиконе после появления совместного труда американского литературоведа Майкла Хардта и итальянского философа Антонио Негри «Империя» [8], который С.Жижек назвал «коммунистическим манифестом 21 столетия». Философ Паоло Вирно, один из ведущих теоретиков постопераизма, утверждает, что впервые в политический оборот этот термин был введен в начале 90-х годов журналом «Luogo Comune» для характеристики субъектности современного труда [14]. Множество определялось там как природно-историческая категория, приспособленная к исторической ситуации, в которой непосредственное политическое значение приобретают все существенные признаки человеческой природы, начиная с возможностей языка. Позже Вирно выпустил книгу под названием «Грамматика множества [13], в которой попытался всесторонне обосновать данное понятие, отталкиваясь от спинозовской его трактовки.

Спиноза рассматривал «multimude» как до-государственное и внегосударственное население, неорганизованное и неоформленное, противоположное «народу» и смертельно опасное для государства. Множество противится любому внешнему оформлению, консолидации в политическую целостность на основе единой воли. В глазах власти множество – это толпа, чернь, массы. Вытесненное из политического лексикона эпохи модерна организованными формами субъектности, - народом, нацией, классом, - в настоящее время, в условиях кризиса классических социальных форм, множество вновь выходит на передний план как основа различных попыток самоорганизации и самоопределения индивидуированных индивидов. Вирно считает, что множество является способом бытия, который наиболее соразмерен производственным отношениям пост-фордовской эпохи. Оно принципиально отличается от пестрого постмодернистского сборища в

карнавале культур, поскольку нуждается в форме единства. Однако это единство не является государством и классом, а скорее – языком и интеллектом, - этими всеобщими способностями человеческого рода.

М.Хардт и А.Негри считают множество единственной силой, способной оказать сопротивление «Империи» - мировому порядку XXI века, контролирующему децентрализованную сеть интернациональных концернов, ведущих индустриальных стран и наднациональных организаций. Множество – это сингулярности, действующие сообща. Оно может быть понято как открытая и широко раскинутая сеть, допускающая свободу и равенство любых различий. Это сеть, которая подготавливает возможности встречи, для того, чтобы можно было сообща работать и жить. Хардт и Негри прежде всего отграничивают «множество» от других, сходно звучащих понятий: например, «народа» и «рабочего класса», которые описывают гомогенные, даже монолитные единства, а потому, по мнению авторов, не соответствуют новым глобальным реальностям в хозяйстве и обществе. Следующим шагом Хардта и Негри является отграничение «множества» от понятий «массы», «толпы», «черни». Толпа, сброд или чернь могли бы инициировать общественные действия, - подчас плодотворные и разрушительные, - однако они не в состоянии действовать из своих собственных побуждений. Это есть основная причина, по которой они так подходят для манипуляций. Множество, напротив, есть активный общественный субъект, который действует на основе того, что является общим для сингулярностей и разделяется всеми ими.

Формой множества можно считать социокультурный феномен, открытый Виктором Мизиано и названный им «тусовкой» [3]. Хотя сам автор трактует тусовку как форму самоорганизации и существования художественного и интеллектуального сообщества, её признаки и характеристики вполне подходят к тем формам сообщества, которые чутко реагируют на любые попытки институционализации и внешнего репрессивного давления. Тусовка возникает как спонтанный и свободный выбор отдельных индивидов, лишена идеологических опосредований и не требует от своих участников каких-либо обязательств. Мизиано утверждает, что тусовка является «… синдромом распада дисциплинарной культуры и социальных иерархий». Будучи неким сообществом, она не является ни коллективом, ни группой, ни содружеством, ни каким-либо другим плотным социальным телом. То есть, тусовка есть предельно персонализированное сообщество, а его проектность транслируют конкретные фигуры, обладающие для этого должным социальным темпераментом и утопическим воображением. В отличие от привычных форм культуры, тусовка является характерным симптомом общества, охваченного динамикой трансформаций. По своей структуре она представляет собой сетевое сообщество с задающими социальное поле энергетическими узлами, между которыми беспорядочно двигаются разнообразные потоки. Есть все основания считать, что термин «тусовка» утвердится в словаре современного культурного

и политического языка и получит проблематизацию в различных контекстах, в том числе и в философии политики [6].

Антропологию множественности, правда, на другой, чем у М.Хардта, А.Негри и П.Вирно субстанциальной платформе, разрабатывает Ж.-Л.Нанси. Он подвергает сомнению метафизику единоначалия, определяющую западную философскую традицию и исходит из того, что «множественность лежит в основании бытия» [4, с. 31]. Мир есть множественность сингулярных точек, которые не редуцируются к какому-либо единому истоку, а образуют перманентную циркуляцию смысла. Множественность в понимании Нанси является простым опространствованием смысла, телесным самопредставлением, уникальным существованием вовне. Единичное во множественном противопоставляется единству Единого, а вся современная ситуация представляется не как иерархия, а как *диспозиция*, внутри которой свобода осуществляет себя в плане со-бытия. То есть, множественные сингулярности сосуществуют, соприкасаются, располагаются друг возле друга, но не посягают ни на чей суверенитет: «Наше понимание смысла бытия есть понимание того, что и потому что мы … разделяем его между собой: между всеми нами одновременно…» [4, с. 153]. Просто «быть» одному в своей тотальности невозможно, всякое сущее дискретно, оно конституируется через взаимодействие, через причастность другому сущему. В этом смысле множественность других есть то, что делает возможным осмысленное единичное, помещая его в сеть со-существования и наделяя изначальной взаимностью, без которой подобное со-существование было бы немыслимо [5, с. 19-21]. Из этого следует очень важный вывод: эта изначальная взаимность делает ненужной обретение взаимности через признание другого, на чем настаивают все концепции интерсубъективности. Согласно Нанси источником взаимности, а значит и признания является изначальная множественность со-существования.

Можно резюмировать, что, несмотря на различие в понимании природы множества, у всех выше рассмотренных авторов, концепту «множества» придается ключевое значение в поисках форм сообщества и политической субъектности, которые были бы соразмерны современным реалиям и методологическим поискам в социально-философской и политико-правовой мысли. Главная особенность социальных форм и форм субъектности, которые создаются индивидуированными индивидами, единичностями, сингулярностями, в том, что них индивиды соотносятся друг с другом таким образом, что при этом соприкасаются только их интересы, но не Самости. Это отличает их от классических форм и способов активной консолидации, которые запятнали себя опытом тоталитаризма и не могут избавиться от подозрительного к себе отношения. Не случайно современные политтехнологи, спичрайтеры и прочие специалисты из интеллектуальной обслуги политических партий и вождей все чаще сталкиваются с непривычным и

неприятным для них фактом исчезновения привычных адресатов предвыборного оболванивания.

Множество как новая форма сообщества и субъектности активно использует для своих целей возможности Интернета, который позволяет людям договариваться, выявлять общие интересы, осуществлять прямую демократию. Факт вопиющего беззакония, бездействия власти при чрезвычайных ситуациях или общая угроза, информация о которой размещается в Сети, могут вывести на митинги и марши людей, имеющих совершенно разные индивидуальные политические цели и предпочтения. Этим множество отличается от традиционных партий и социальных классов, отличающихся жесткой внутренней дисциплиной и ригидностью.

Конечно же, неизбежен вопрос: как это выглядит и функционирует в действительности? Может ли несвязанное сообщество, которое покоится исключительно на принципе гетерогенности и децентрализации, существовать устойчиво и долго, без твердых представительских институтов, только на доброй воле своих членов? И как приспособить к идее «множества» растущий религиозный фундаментализм и гегемонистские устремления отдельных национальных государств? Мы полагаем, что поиск ответов на эти вопросы будет способствовать пересмотру устаревших канонических положений политики и права и приведет к оживлению дискуссии в обществознании.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Выготский Л.С*. Мышление и речь. М., 1999.
2. *Макаренко В.П*. Политическая концептология. М., 2005.
3. *Мизиано В*. Культурные противоречия тусовки // http://azbuka.gif.ru/important/miziano-tusovka/.
4. *Нанси Ж.-Л*. Бытие единичное множественное. Минск, 2004.
5. *Старикова Е.В*. Антропология множественности: философские концепции человека в контексте французской интеллектуальной традиции XX века. Автореферат … канд. филос. наук. СПб., 2007.
6. *Тимофеева О*. От «неработающего сообщества» - к «рабочим группам» // Художественный журнал. 2005. № 58/59.
7. *Хабермас Ю*. Понятие индивидуальности // Вопросы философии. 1989. № 2.
8. *Хардт М., Негри А*. Империя. М., 2004.
9. *Die Entstehung der neuzeitlichen Identität*. Frankfurt am Main, 1994.
10. *Sandel M*. Die verfahrensrechtliche Republik und das ungebundene Selbst // Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen

Grundlagen moderner Gesellschaften. A. Honneth (Hrsg.). Frankfurt am Main, 1995.

11. *Simondon G*. L'individuation psychique et collective. Paris, 1989.

12. *Taylor Ch*. Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität. Frankfurt am Main, 1994.

13. *Virno P*. A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of Life. N.Y., 2004.

14. *Virno P*. Volonté générale und gesellschaftliches Individuum // http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_2002/33/sub01a.htm

К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ

П.Н. Мирошниченко
кандидат философских наук, доцент,
Южно-российский государственный университет
экономики и сервиса

В отечественной мысли обращение к основам и философским принципам политической науки достаточно редкое явление; исключение составляет ряд статей и монографий В.П. Макаренко. В его книге “Аналитическая политическая философия” (2002) предпринята попытка продемонстрировать контуры обобщенной политической науки, обозначенной автором как “политическая концептология”, возникающей из синтеза различных политических доктрин, концепций и программ на основе методов и принципов аналитической философии.

На сегодняшний день аналитическая философия принадлежит к наиболее распространенным и фундаментальным направлениям современного философского знания. Впрочем, сами аналитические философы считают ошибочным представление о том, что аналитическая философия является одним из многих направлений в современной философской мысли. «Можно быть аналитическим философом и *при этом* феноменологом, экзистенциалистом, приверженцем герменевтики, томистом и т.д. Является ли философ аналитиком, зависит от того, какое значение он придает доказательству и обоснованию. Есть, например, феноменологи, которые *более* аналитичны, и те, которые аналитичны *в меньшей* степени» [2, с. 238]. С этой точки зрения аналитическая философия может быть охарактеризована только одним отличительным признаком – специфическим подходом, в котором доказательство и обоснование играет решающую роль. И когда речь идет о доказательстве и обосновании, то при этом подразумевается не только использование логических средств; Д. Фоллесдал рекомендует придерживаться “рефлексивного равновесия”, когда “теория общих связей должна приспосабливаться к деталям, а детали должны находить место в более общей теории”.

Но не следует также забывать, что сама аналитическая философия не является некоторым “монолитом”; современные исследователи выделяют, по

крайней мере, три направления в её развитии: лингвистическое, натуралистическое и метафизическое. Это различие по объекту исследования нивелируется, в некоторой степени, общими для этих трех направлений методологическими принципами, среди которых можно указать следующие: основательная постановка вопросов, прояснение значений, развертывание и анализ доказательств, доводов, четкая экспликация идей (точек зрения) и их отстаивание. То, что В.П. Макаренко в своих теоретических построениях также придерживается этих принципов, особенно заметно в его последней книге "Политическая концептология" (2005). Ниже сформулированные вопросы, возникшие после её прочтения, а также попытки дать на них свои ответы, заинтересуют, возможно, её автора.

Вопрос первый звучит так: "Правомерен ли аналитический подход в политической науке?". Положительный ответ на этот вопрос не вызывает сомнений: В.П. Макаренко действительно удалось прояснить многие понятия, уточнить и систематизировать проблемы, актуальные для современной политической мысли.

Вопрос второй: "Возможно ли, опираясь на аналитический подход, построение целостной и непротиворечивой политической теории?". Положительный ответ на этот вопрос кажется сомнительным в силу целого ряда обстоятельств.

Первое сомнение можно выразить так: "Насколько убедительными были предшествующие попытки с позиций аналитической философии построить такие теории?". В своей книге В.П. Макаренко очень часто обращается к "Теории справедливости" Д. Ролза, которого, опираясь на мнение того же Д. Фоллесдала, вполне можно признать аналитическим философом. Да сам В.П. Макаренко во Введении книги ссылается на него как одного из первых исследователей, применившего аналитическую философию к анализу политики. Но при детальном анализе этой концепции он, однако, констатирует, что "аргументы Ролза рафинированы" [1, с. 235], "концепция Ролза содержит логический круг" [1, с. 236]. Нужно ли это понимать эти замечания как недостатки теоретических построений исключительно самого Ролза, или же они отражают недостаточность, ущербность самого аналитического подхода? А может быть аналитический подход здесь "не виноват", а сами "недостатки" есть только отражение специфики объекта теоретического исследования? Мы склонны признать более правильным последнее и пытаемся обосновать это, опираясь на идеи М.К. Петрова. Это и будет прояснением второго обстоятельства.

Все современные политические рефлексии так или иначе опираются на идеи философов XVII-XVIII веков, в частности Т. Гоббса и Дж. Локка; к ним, в частности, восходят идеи "общественного договора", "автономии индивида", "естественного права". Но самым ценным у этих авторов М.К. Петров считал трактовку властных отношений как продукта совместной человеческой деятельности, регулируемой ритуалом. У Гоббса в учении о "полной причине"

формальная и целевая причины сводятся к действующей, что «для самого ритуала … могло значить только одно – отрицание жёсткой определённости ритуала и подход к нему под формой *обычного канонического понятия с незавершённым формализмом*, т.е. философскую санкцию на нестабильность, на политическую деятельность как на средство восстановления и поддержания стабильности» [2, с. 128]. Здесь с полной ясностью очерчена сфера политики: ритуализированная деятельность, находящаяся в процессе постоянного обновления (“незавершенный формализм”), направленная на восстановление и поддержание стабильности общества.

Но может ли ритуал получить полное рациональное обоснование? Как нам представляется, такого обоснования в принципе достичь невозможно, поскольку ритуал не может быть объяснён ответом на вопрос: “почему?”; ритуал всегда предполагает ответ: “ради чего”. Ритуал превращается, подчёркивает М.К. Петров, “в набор правил политической игры”; но эти правила, как отмечает В.П. Макаренко, “люди устанавливают и легитимизируют государство. … Демократия – это множество правил правовой и политической игры” [1, с. 116]. В качестве соглашений эти правила не могут быть обоснованы на базе причинных зависимостей: здесь работают целеполагающие мотивы. Но это не отрицает того, что принятие политических решений будет иметь свои следствия; но вопрос их рациональности сводится, опять-таки, к выявлению нормативных целей.

Вопрос о статусе политической концепции может быть конкретизирован до вопроса: “Если факты не подтверждают концепцию, означает ли это, что она бесполезна?” Как нам представляется, любая теоретическая конструкция с точки зрения реальной политики будет казаться бесполезной, поскольку она базируется на гипотетических предпосылках, по отношению к которым всегда могут быть обнаружены противоречащие ей реальные факты. Примеров этому в книге В.П. Макаренко приводится немало.

Сфера политического не может быть предметом объективного научного объяснения. Теоретические построения относительно этой сферы всегда будут иметь “налёт” метафизичности: они будут верны настолько, насколько в них верят и на них опираются действующие в политике индивиды. И в этом смысле политические концепции не являются бесполезными, так как они выступают как основание для обновления. Но они не являются моделями “сущего”; они всегда апеллируют к “должному”, что и предстает в их характеристике как “незавершенного формализма”. Этот их аспект хорошо иллюстрируется в книге В.П. Макаренко на примере концепции “государства благосостояния”. «Государство становится welfare state по мере внедрения определенных политических программ, поскольку невозможно придать никакой реальный смысл аргументам в его пользу. Не существует одного-единственного рационального успешного аргумента. Есть тысячи конкретных действий индивидов в политическом процессе. … Только при создании идеала политического процесса можно опре-

делить, в какой мере то или иное государство есть welfare state» [1, с. 157]. Но, как известно, между идеалом и реальностью лежит “пропасть”, преодолеть которую невозможно никакими “теоретическим вывертами”.

Именно поэтому мы приходим к мнению, что статус теоретических построений политической концептологии может быть определён как “метафизика”, которую вряд ли возможно полностью избавить, как предполагает В.П. Макаренко, от идеологических наслоений. И термин “метафизичности” не имеет здесь никакого негативного оттенка в смысле противопоставления “диалектичности”. Метафизические построения есть основания для действий “практического разума” (Кант), который познает себя лишь в той мере, как эти действия изменяют действительность.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Макаренко В.П*. Политическая концептология. М., 2005.
2. *Петров М.К*. Самосознание и научное творчество. Ростов-на-Дону, 1992.
3. *Фоллесдал Д*. Аналитическая философия: что это такое и почему этим стоит заниматься? // Язык, истина, существование. Томск, 2002.

УБИЙСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ: ТАЙНА ДРЕВНЕРИМСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Из истории экономических преступлений государства

О.Ю. Мамедов
Заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук, профессор,
Южный федеральный университет

В 1984 году немецкий профессор Александр Demandt издал коллекцию из 210 теорий о том, почему пал Древний Рим, и с тех пор появились ещё многие теории [5].

Всю «доэллинистическую» эпоху экономическая политика двух главных государств седой древности (Греции и Египта) постепенно вырождалась в инструмент препятствия свободе достижения личной прибыли как в производстве, так и в торговле, сокрушая рыночные начала тяжелым бременем репрессивного налогообложения. Это вынуждало производителей объединяться в обширные коллективы, в которых безликость участников гарантировала в опасные времена главное - относительную безопасность.

Последующий («эллинистический») период стал временем непрерывных войн, которые, дополняемые необузданным пиратством, практически закрыли для торговли моря – основные пути сообщения стран Древнего Средиземноморья. Результатом явился застой, - состояние, с тех пор превратившееся в какой-то неизбывный спутник экономический жизни человечества. Экономический застой и породил ту политическую слабость государств Средиземноморья, которая во многом объясняет лёгкость их захвата древнеримскими легионами. И уже к первому столетию до нашей эры Рим превратился в полновластного хозяина Средиземноморья. Увы, мирный покой не следовал за римскими внешними победами, - их плоды расхищались гражданскими войнами.

И только с третьего столетия до нашей эры происходит прорыв, - экономическая политика Древнего Рима стала вызывающе *рыночной*, порвав с вековыми традициями ранеэллинистического мира.

НАЧАЛО: МУДРОСТЬ АВГУСТА

Первая в мировой истории экономическая политика **свободного рынка** началась и проводилась при Божественном Августе[1]. Правда, для и до этого ему, усыновленному самим великим Юлием Цезарем, пришлось - после убийства отчима в 44-м (до н.э.) - победить в последней внутриримской гражданской войне знаменитого Марка Антония, – красавца, сибарита и силача[2].

Однако ни сам Октавиан, ни его современники так никогда и не узнали, что *в экономической эволюции человечества его победа фактически изменила ход всей Истории, ознаменовав торжество Экономической Свободы Запада над Политическим Деспотизмом Востока*. И, несмотря на все замысловатые загзаги реальной истории, **с этого момента экономическое движение Европы устремилось в сторону либерализма и демократизма**[3].

* * *

Долгие годы гражданской распри нанесли *тяжелые увечья римской экономике*[4] - в виде непосильных налогов, обременительных реквизиций (на ну-

[1] См. подр.: 2.

[2] Между прочим: победа Октавиана (при Акции в 31-м до н.э.) над аристократами, сторонниками Антония, удалась ещё и потому, что легионеры направляли свои копья молодым красавчикам прямо в лица, которое те, понятное дело, берегли для куртуазных утех.

[3] F.Oertel более полувека назад дал модернистский анализ древнеримской экономики: "Победа Августа обеспечила Европе отпор тенденциям к государственному капитализму и государственному социализму, которые, возможно, осуществились бы, если бы победили Антоний и Клеопатра» [13, S. 386; см. также 14].

[4] Экономическая статистика Древнего Рима затруднена тем, что римляне записывали документы на деревянных дощечках, покрытых воском, - сегодня они превратились в пыль. Однако доказано, что у*ровень жизни* в Древнем Риме соответствовал европейскому 17-18 веков. В ранний период Римской Империи (население - около 50 млн. человек) Аппенинский полуостров был *урбанизирован* на 30% (для сравнения - в 1700 году уровень урбанизации в Англии составлял 10%). *Доходы римлян* были вдвое выше, чем в остальной империи. *Элита империи* (несколько сотен сенаторов и несколько десятков тысяч всадников) обладала огромным имуществом. На другом полюсе находились крестьяне, рабы и колоны. Словом, всё как всегда. О наличии *среднего класса* в Древнем Риме точных свидетельств нет. Средняя продолжительность жизни составляла *25 лет*! В раннюю эпоху Римской Империи население Рима насчитывало около 1 млн. человек. *Рабовладению в Древнем Риме* присуще частое предоставление рабам вольных: 10% рабов, достигших 25 лет, получали вольную каждые пять лет (для сравнения - по данным Роберт Фогеля\Robert Fogel и Стэнли Энгермэна\Stanley Engerman, в 1850-е годы на юге США каждые пять лет получали вольную лишь 0.2% рабов). Различают "открытую" (рабы имеют свободный доступ к обществу свободных людей и часто получают вольные) и "закрытую" (рабы - обособленная группа, недопускаемая в общество свободных граждан) системы рабовладения. В это трудно поверить, но Древний Рим, в отличие от США начала 19 века, имел открытый тип рабовладельческой системы - вольноотпущенникам даровалось римское гражданство, их дети могли занимать высокие государственные посты, а внуки - стать представителями всаднического сословия. Вот почему в раннюю эпоху Древнего Рима рабы зачастую могли участвовать в рынке труда так же, как и свободные граждане. *Экономика Рима* в 1-2 веках нашей эры уже была интегрирована в торговую систему Средиземноморья (например, хлеб поступал из Египта и стран Черноморского бассейна, вино - из Малой Азии, Греции и Иберии - современной Испании, и т.д.) и, следовательно, могла использовать сравнительные преимущества региональных стран. *Рынок зерна* был, в основном, частным, где торговцы активно использовали кредиты, услуги агентов и пр. В Римской Империи существовал также *рынок капитала*. Римляне брали взаймы довольно часто. Выдавались как производственные, так и потребительские кредиты. Кредиты выдавались также для финансирования торговых операций. Римские торговцы и перевозчики могли купить страховку. Существовало огромное количество всевозможных займов, процентная ставка за использование которых была близка к 1% в месяц, или 12% годовых, что являлось максимально допустимой величиной процента. В Древнем Риме были распространены *банки*, принимающие вклады и выдающие кредиты населению. Некоторые вклады сдавались на хранение - банк обязывался обеспечить их физическую сохран-

жды сражающихся армий), необузданной инфляции и разрушения основных торговых маршрутов. Итог гражданской воинственности оказался печальным – *полное прекращение экономического роста*.

Но именно этот итог и не устраивал предпринимателей и торговцев Древнего Рима: они жаждали мира и стабильности, чтобы заняться, наконец, тем, ради чего они приходят в этот мир, - рациональным, эффективным и доходным хозяйствованием. В посткризисный период изверившимся верится только той стабильности, в основании которой находится *централизация политической власти в руках одного человека*.

Теперь *первый покровитель экономического либерализма* известен не менее широко, чем при своей жизни,– тот самый *Октавиан*, который под именем Август стал и *первым императором Древнего Рима* (в 27 до н.э.).

Но вот что удивляет, - хотя возникновение римского principate[5] и уменьшало политическую свободу граждан (которой они «по горло» насытились в кровавые времена гражданских войн), но это – в том далёком Древнем Риме - странным образом сопровождалось *расширением свободы экономической*! В таком парадоксе можно усмотреть **первый урок** древнеримской истории для истории современной: *как бы высоко ни ценило общество идеалы демократии и либерализма, смутный период социального переустройства всегда завершается временным отказом от такого переустройства и жаждой социальной передышки*.

Это время и было использовано Августом для институционализации частной собственности, индивидуального предпринимательства и поддержки свободной торговли[6], значительно сняв бремя налогообложения[7], то есть делал то, что делаем и мы, отдалённые и боковые потомки древних римлян, в эпоху доставшейся нам социальной передышки.

Однако Август принёс не только мир и не просто возрождение производства и торговли, - он принёс их *поощрение*!

Каким образом? Римскими инвестициями в хорошие дороги и удобные гавани! Фактически это была *первая в мировой истории целевая комплексная программа*, проводимая центральной властью. Отдав скромную пятипроцент-

---

ность без выплаты процента вкладчику. Другие вклады приносили доход и использовались банками для совершения инвестиций. В отличие от европейских стран в период новой истории, когда государственная фискальная политика опиралась на систему государственного займа, Римская Империя не брала взаймы, а оперировала на основе наличных операций. *Сельскохозяйственный налог* составлял 10% от полученной продукции. Поступления от налога тратились на содержание армии. Но намного более весомыми инъекциями в экономику Рима были трофеи и рабы. Важнейшим атрибутом римской системы была *безопасность индивидуумов*. Существование большого количества *социальных и неформальных институтов* дополняли юридическую и рыночную базу Древнего Рима. В начале 3 века н.э. начался кризис Римской империи. Тогда Рим столкнулся с сильной инфляцией (ранее ее уровень не превышал 1%). Цены выросли вдвое. Тогда же исчезли римские банки [См.: 1].

[5] Первое время – нечто вроде президентства, ибо самоуправство древнеримских императоров как институт – в трактовке современного институционализма – пришло позже.

[6] См. подр.: 18.

[7] Особенно важно отметить отмену сельскохозяйственного налога, - для страны с исключительно аграрной экономикой, а таковыми были все государства древнего мира, это имело исключительное значение [См.: 16, S. 48].

ную (!) дань в виде таможенных пошлин, *свободная торговля управляла экономикой на всём пространстве возникающей Империи*. Это был невиданный расцвет свободы для торговли и время роскошных возможностей для частной инициативы. И в этом можно усмотреть **второй урок** древнеримской истории для истории современности, удачно подхваченный кейнсианской теорией и посткризисной практикой Европы и США 30-х годов XX века.

ХОРОШЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ: ТИБЕРИУС

Тибериус, второй император Рима (14-37 н.э.), удачно продолжил экономическую политику Августа – он одержим желанием ускорить экономический рост империи и упрочить положение среднего класса, в котором видел социальную основу Империи. Уж не идёт ли речь о **третьем уроке** древнеримской истории для истории современности?

Итак, *благодаря Августу и Тибериусу первое столетие Римской империи вошло в её историю как эпоха экономического процветания, наступившего благодаря исключительно либеральным внутриримским экономическим условиям.* В пределах всей Империи, охватывавшей весьма обширные территории, был установлен *мир – главное условие экономического процветания* (уж не считать ли это **уроком четвёртым**?), что обеспечило безопасность всех торговых коммуникаций[8].

Словом, в тот блистательный период индивидуализм и частное предпринимательство пожинали бесчисленные выгоды, порождаемые системой разумной императорской власти. А государство намеренно поощряло предпринимательскую активность - и непосредственно (протекционистской политикой), и опосредованно (либеральной политикой[9]).

Конечно, экономическая свобода не была универсальной, - Египет, находившийся в прямой собственности римского императора, в значительной степени сохранил свою «социализированную» экономическую систему[10], подавлявшую индивидуализм[11].

КАК «СЪЕДОБНЫЕ» СУБСИДИИ «СЪЕЛИ» ДРЕВНЕРИМСКУЮ ЭКОНОМИКУ

[8] В этой ситуации буржуазия просто не могла не возникнуть. Речь идёт о такой социальной группе, для которой *главными были интересы экономические*, а не политические или идеологические. Надо же, в конце концов, понять – те, кто свободен экономически, не помышляет о политике или идеологии. Зато тем, кому не дают экономической свободы, ничего не остаётся, как заняться политикой и идеологией, куда их выпихивают отбирающие экономическую свободу.

[9] Суть которой во все времена неизменна - гарантия свободы действия на основе принципа "laissez faire, laissez faller".

[10] См.: 13, S. 1-13.

[11] Однако даже здесь некоторая либерализация всё-таки произошла: банковский бизнес был дерегулирован, что привело к созданию множества частных банков [см.: 19, S. 52], а некоторая часть земли была приватизирована, что до определённой степени ослабило государственную монополию, а уже одно это всегда оказывало поддержку частному бизнесу.

Причина, по которой Египет сохранил свою антирыночную систему и не был включен в общую экономическую свободу «августовской» Римской империи, была не только известна каждому древнему римлянину, но и одобрялась им – ведь Египет являлся тогда *основным поставщиком зерна в Рим*. Ну и что, спросите Вы? А то, что такие поставки гарантировали социальный мир внутри Рима, - из-за принятой ещё в республиканские (доимператорские) времена (в 58 до н.э.) политики *бесплатного* (!) распространения зерна (позже - хлеба) гражданам Рима[12].

К моменту воцарения Августа этот древнеримский «вэлфэр» представлял собой бесплатную еду для приблизительно 200 тысяч (!) римлян. И император (так уж повелось) оплачивал стоимость «продовольственного пособия» *из собственного кармана* (преимущественно – из своих личных авуаров в Египте), - кстати, так же, как он оплачивал и зрелища для развлечения тех же римлян. Поэтому *обеспечение стабильного притока зерна являлось главной политической задачей практически для всех римских императоров и важной экономической основой их власти*[13].

Социальное следствие этого благотворительного акта легко предсказуемо – Рим испытал буквально нашествие сельской бедноты, примеру которой последовали и многочисленные «вольноотпущенники», приобретавшие право на бесплатное зерновое пособие[14].

С годами для императорской экономики это становилось непосильным бременем. Тем не менее, распределение свободного зерна в Риме оставалось в силе до конца Империи, хотя в третьем столетии зерно уже заменялось испеченным хлебом[15]. Более того, система разрасталась - другие города Империи (Константинополь, Александрия, Антиохия) также начали обеспечивать подобные льготы[16].

---

[12] В 123 до н.э. было решено, что все граждане Рима наделяются правом купли ежемесячной порции зерна по *стабильной цене*. Цель такого решения состояла не только в обеспечении неимущих субсидией, но и в том, чтобы сгладить сезонные колебания в ценах на зерно, разрешая людям платить одну и ту же цену в течение года. При диктатуре Суллы (90 до н.э.) ценно-уравнительное распределение зерна было прекращено, однако и в 73 до н.э. государство всё еще обеспечивало продажу зерна гражданам Рима по неизменной цене. А с 58 до н.э. зерно стало распределяться и вовсе бесплатно.

[13] См.: 2.

[14] Социальные масштабы продовольственной «вэлферизации» в Древнем Риме способны поразить даже нашего современника, - ко времени Юлия Цезаря «свободное зерно» получало не менее 320 тысяч! Поэтому он вынужден был сократить это число (приблизительно до 150000). Скорее всего, Цезарь был более недоверчивым относительно предъявляемых хитрющими древнеримлянами, получающими бесплатное зерно, доказательств своего римского гражданства, которое «автоматически» предоставляло право на такую помощь. Однако при Августе число людей, имеющее право на свободное зерно, вновь увеличилось до 320000! Тем не менее, в дальнейшем произошло стабильное ограничение числа лиц, получающих зерно (около 200 000 человек). Бесплатное распределение зерна впредь ограничивалось числом билетов, дающих право на получение зерна. И хотя последующие императоры иногда расширяли доступ к зерновому пособию дополнительным специфическим группам (например, Нерон в 65 году н.э. включил воинов и ветеранов преторианской охраны), но общее количество людей, получающих зерно, было в основном неизменным.

[15] «Натуральный» состав пособия также претерпевал изменения со временем – император Септимий Север (193-211 н.э.) дополнил его нефтяным горючим, другие императоры добавляли, по случаю, свинину и вино.

[16] См.: 11, SS. 696-697.

И всё же, несмотря на значимость зерна для социальной политики Империи, основная часть зерновых поставок Риму осуществлялась *независимыми торговцами посредством свободного рынка*[17]. Для этого были две главные причины.

Во-первых, величина бесплатно получаемого зерна была недостаточна для того, чтобы жить на неё. Во-вторых, зерно было доступно только для *взрослых римских граждан-мужчин*, что исключало женщин, детей, рабов, иностранцев и других неграждан, проживавших в Риме.

Важно отметить ещё одно обстоятельство - основная масса правительственных чиновников также была исключена из числа получателей пособия. И это **пятый крайне важный исторический урок**, тем более для нас, хорошо знающих – *там, где обосновался чиновник, уже не сможет пробиться ни македонская фаланга, ни греческая когорта, ни римский легион*!

ЛЁГКИЕ НАЛОГИ РАННЕЙ ИМПЕРИИ

Добро соседствует со злом: добро - в виде расширения масштабов продовольственного пособия, повлекло за собой зло – в виде повышения налогов. В юные («республиканские») дни Рима налоги были весьма скромны, состоя главным образом из налогов на все объекты собственности (земля, здания, рабы, животные и деньги). Тариф носил символический характер и скорее был индивидуальным «взносом» на оплату армии во время войны (вы не поверите, но после войны налог часто убавлялся![18]). Кроме того, в Риме налогом облагались люди, которые были посчитаны в периодическом censuses[19].

Шкала августинской системы налогообложения была либеральнее (на языке финансистов - намного менее прогрессивной): налогооблагаемые сообщества были ответственны только за неподвижный элемент налога. Таким образом, «сверхнормативный» прирост дохода не подлежал дележу с государством. Производители знали заранее точную величину их налогового вычета и то, что «сверхдоход» оставался в их распоряжении. Это был большой стимул для дополнительного производства. Ей-богу, недурной **шестой урок** для современных фискалов!

ПОДЪЁМ И СПАД ДРЕВНЕРИМСКОЙ ЭКОНОМИКИ

[17] См.: 4, SS. 21-29.

[18] См.: 10, S. 161.

[19] Сегодня эту функцию выполняет декларация о доходах, сведения о зарплате и отчёт предприятий о прибыли. В провинциях, однако, главной формой налога оставалась десятина, возлагавшаяся на сообщество, а не непосредственно на людей. Частично это связано с тем, что в провинциях censuses проводился редко, делая невозможным прямое налогообложение. Тем более что местные сообщества всё равно разделили бы бремя налогов среди своих сограждан [см.: 8]. В годы поздней Республики налоговые вымогательства в провинциях достигали фантастических размеров: большинство римских губернаторов (не путать с современными) было заинтересовано в немедленном личном обогащении (так как это надо было успеть сделать в течение *одного года* исполнения ими служебных обязанностей, - не то что сейчас, когда руководители провинций сидят в креслах десятилетиями).

Экономическая политика, обеспечившая рост древнеримской экономики, включала создание своего рода «Общего рынка» (охватывавшего все Средиземноморье), устойчивую валюту и умеренные налоги.

Процентные ставки в начале правления Августа также упали до самого низкого уровня в римской истории[20]. Более того, во времена ранней Империи источники налоговых доходов были настолько изобильны, что государство могло предпринять масштабную программу общественных работ - Август восстановил все дороги в Италии и Риме, восстановил храмы и построил много новых, построил большое число акведуков, бань и других общественных зданий.

Однако уже Тибериус сокращает объёмы строительства. Нехватка денег и сокращение государственных расходов привело к острому спаду в экономической деятельности, которая была преодолена только тем, что государство предоставило большие ссуды при нулевом проценте, чтобы обеспечить ликвидность[21].

При императоре Клавдии (41-54 н.э.) Римская империя присоединила последнюю важную территорию (завоеванием Британии), достигнув при Траяне (98-117 н.э.) своего максимального географического расширения. После этого государство не могло уже получать дополнительный доход от роста провинциальной дани, и источник любого увеличения дохода теперь находился внутри самой Империи. И хотя некоторые авторы приписывают императорам клавдиевской фамилии поддержание политики Августа «laissez faire» [22], ориентация на рост дохода именно государства, а не граждан, стала подтачивать силу римской экономики. И это уже – **седьмой, самый важный урок** экономической истории.

ИНФЛЯЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ НЕПОМЕРНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В годы правления императора Нерона (54-68 н.э.) необходимость роста государственных расходов доходов привела к снижению… качества чеканки монеты.

Рост расходов был вызван двумя причинами, ставшими типичными для всей последующей истории человечества, – *финансирование затрат на оборону страны и удовлетворение аппетитов растущей бюрократии*. Однако Нерон и сменявшие его императоры предпочитали не налоги повышать, а понижать содержание драгоценного металла в монетных знаках[23], обесценивая тем самым

[20] См.: 9, S. 53. Историки-экономисты видят в этом свидетельство, что *производство товаров и услуг возрастало пропорционально росту денежной массы*. А потребность в увеличении кассовой наличности (для уплаты налогов и арендной платы) объясняет, почему возросшая денежная масса не вела к инфляции.

[21] См.: 17, SS. 655-662.

[22] См., напр., 16, S. 91.

[23] На всей территории Империи основные денежные знаки римской чеканки были представлены золотыми «aureus» (авресами), серебряными «denarius» (денариями) и медными (бронзовыми) «sesterce» (сестерциями). Структура древнеримской денежной массы была такова, что снижение качества монет ограничивалось в основном денариями Нерон уменьшал серебряное содержание денария (до 90 процентов и немного уменьшал размер авреса). Троян уменьшил серебряное содержание денария до 85 процентов, но был способен поддержать его

валюту. И не понимали властолюбивые императоры того, что сегодня знают даже первокурсники: это порождало *худшую форму налогообложения* - **инфляцию**, единственное удобство которой для правительств всех времен состояло в её *невидимости*.

Непрерывный процесс снижения качества золотомонетных денежных знаков не мог, конечно же, улучшить финансовое положение Империи, как на то надеялись венценосные мошенники. Ведь согласно «закону Коперника-Грэшема» (который тогда, правда, ещё не был открыт), древние римляне копили монеты максимального серебряного достоинства, а платить стремились наименьшими по достоинству серебряными монетами.

Вначале снижение качества монет казалось выгодным для государства. Однако последовавшая затем инфляция расстройством финансовой системы страны принесла гораздо больше вреда. Цены стали повышаться непрогнозируемо быстро, и это препятствовало дисконтному расчёту размеров *долгосрочных инвестиционных доходов*. А ведь именно такие доходы – вечный мотор любой экономики.

Правда, правительство не пренебрегало и продажей государственной собственности, а отдельные недобросовестные императоры (такие, как Домициан, 81-96 н.э.) *превратили в источник дохода явно сфабрикованные обвинения, чтобы конфисковать активы богачей*. Если последнее и считать **восьмым уроком**, то только негативным[24].

Хотя налоги на обычных римлян не были подняты, право на получение римского гражданства было максимально расширенно, что переводило в статус налогоплательщика всё большее число людей. Зато налоги на богачей были резко увеличены, особенно в случаях наследования и освобождения (рабов).

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ» В ДРЕВНЕМ РИМЕ?

Большинство императоров продолжало политику снижения качества металлических денег и утяжеления налогов (в основном на богатых). При этом война против богатства велась не просто из-за финансовых потребностей государства, но и в силу сознательной политики истребления «сенаторского» класса, который управлял Римом с древних времен, и потому должен был быть устранён как среда потенциальных конкурентов императора.

пропорциональное отношение с авресом из-за большого притока золота. Снижение качества денария продолжалось и в правление Марка Аврелия (161-180 н.э.), который уменьшил серебряное содержание денария до 75 процентов. Септимий Север продолжил удачное «предпринимательство» своих предшественников, доведя содержание серебра в денарии до 50 процентов. К середине третьего столетия денарий сохранил серебряное содержание только в 5 процентах.

[24] Императоры были также изобретательны в требованиях дани от провинций. Например, придумав побор под названием «corinarium», который номинально был доброволен и оплачивался в золоте – по особым случаям (такие, как вступление нового императора или большая военная победа). Каракола (198-217) часто сообщал о своих весьма сомнительных «победах», превратив такие сообщение в систематический способ поднятия своих доходов. Конечно, подобные налоги превращались в типичный грабёж.

Императоры искренне полагали, что сила (армия) есть главный источник власти, и потому сконцентрировали свои усилия на финансовой поддержке армии. В соответствии с этим миропониманием частное богатство Империи постепенно конфисковывалось или облагалось убийственным конфискационным налогом. Но когда богачи не смогли больше заплатить по счетам государства, тяжкое бремя налогов незамедлительно упало на низшие классы. И плохо стало уже всем, и в первую очередь тем, кто раньше радовался разорению и истреблению богачей, а теперь сами разделяли их участь. Экономический диагноз - в третьем столетии нашей эры впервые потерпела катастрофу *«древнеримская монетарная экономика»*.

Кончилось всё это очевидным – *экономический рост сменился экономическим застоем*. Пожалуй, это можно счесть **девятым уроком**[25]

Тем не менее, военно-финансовые потребности государства оставались по-прежнему высокими, поскольку границы Рима испытывали непрерывное давление германских племен с Севера и персов на Востоке, и требовали своего удовлетворения, - независимо от последствий этого для частной экономики. Однако крах денежной системы разрушил нормальную систему налогообложения. Результатом явился хаос, породивший *государственный экономический терроризм* - государство было вынуждено заставлять людей продолжать работать и производить. Для этого государство ввела систему прикрепления людей к данному виду и месту занятости: фермеры (и их дети) были привязаны к земле, подобные же требования распространялись на всех других рабочих, производителей и ремесленников. Даже солдаты были обязаны оставаться солдатами всю жизнь, как и их сыновья! Высшие сословия принуждались к оказанию муниципальных услуг, таких, как сбор налогов. И если сбор налогов не соответствовал видам государства, то они должны были за свой счет покрывать дефицит. Чудненько придумано.

Устойчивое вторжение государства во все сферы экономики давали один и тот же результат – разрушение источников экономического роста. И это – **урок десятый**. Панэтатизм усиливал тенденцию к феодализации экономики, так как «натурализация» производственных связей превращалась в способ «выхода» из экономической системы общества[26].

РЕФОРМЫ ИМПЕРАТОРА ДИОКЛЕТИАНА

Не прошло и двух столетий с начала благодетельной экономической политики Августа, а римская экономика уже вошла в кризис. Государство больше не могло получить достаточные ресурсы даже путём принуждения, и было вы-

[25] Обесценение «монет» стало привычным занятием всех государств, однако с появлением символических (бумажных) денежных знаков оно приобрело изящную форму ничем не обеспеченной денежной эмиссии, временная эластичность тяжелых последствий которой сохранила жизнь многим знатным ученикам древнеримских императоров.

[26] Этим и был разрушен Древний Рим. Сегодня этот способ дополняется новым – уходом предпринимателей в теневую экономику, который отчасти провоцируется самим государством своим неуёмным налоговым аппетитом.

нужденно в который раз положиться на порчу монеты. В правление Клавдия Второго (268-270 н.э.) серебряное содержание денария составляло уже 0,2 процента. Следствие не заставило себя ждать - цены взлетели[27].

Итак, под угрозу было поставлено выживание самого государства. В этот момент и были приняты необычные меры императором Диоклетианом (284-305 н.э.) - он попытался остановить инфляцию, источники которой усматривал в кознях торговцев и покупателей. Однако, несмотря на то, что за рост цены полагалась смертная казнь, они повышались повсеместно. После того, как было пролито немало крови торговцев, товары вовсе исчезли из продажи, а цен взлетели до максимума. Закон о смертной каре за повышение цены пришлось отменить[28].

Другие реформы Диоклетиана были более успешными. Краеугольный камень его экономической политики – система реквизиции, обеспечившая государство ресурсами. С тех пор, как деньги превратились в ничего не стоящие металлические знаки, новая налоговая система перешла на взимание налогов в форме натуральных товаров и услуг, упорядоченных по структуре и массе таким образом, чтобы государство знало точно, в чем оно нуждается, а налогоплательщики знали точно, сколько, что и когда они должны предоставить государству, а не страдали от специальных чрезвычайных конфискаций[29].

Диоклетиан провёл и социальные реформы: рабочие были организованы в гильдии, фирмы - в корпорации (названные «коллегиями»). И стали фактическими органами государства, управляя их участниками и организуя производство для нужд государства.

ПАДЕНИЕ РИМА

Константин (308-37 н.э.) продолжил политику Диоклетиана по закреплению рабочих (и их потомков) к земле и месту занятости. Увы, несмотря на все усилия, земля продолжала забрасываться, а промышленность, перемещаемая в провинции (подальше от императорского начальства?), превращала Рим в экономическую пустоту – в городе были в изобилии товары, произведенные в провинциях, но не самим Римом.

Однако толпа неистово требовала всё больше, возлагая невыносимое бремя налогов на производительные классы: за пятьдесят лет после Диоклетиана римское бремя налогов почти *удвоилось*, делая невозможным для мелких фермеров проживать на доходы от своего производства[30]. И тяжесть налогового бремени (а налоги – главная форма участия государства в экономике) оказалась

[27] Так, мера египетской пшеницы, которую продавали за 7-8 драхм во втором столетии, в третьем столетии продавалась уже за 120000 драхм, что предполагает инфляцию в размере 15000 процентов [См.: 16, S. 471]!

[28] Между прочим: эта же мера борьбы с инфляцией ещё дважды применялась в экономической истории (французскими якобинцами и большевистскими вождями), - и оба раза с древнеримской результативностью!

[29] Были сделаны приблизительные расчеты, сколько зерна, ткани, нефти, оружия и других товаров необходимы, чтобы обмундировать и содержать одного древнеримского солдата. Можно только дивиться тому, что древнеримский император опередил большевистскую идею продналога в эпоху военного коммунизма.

[30] См.: 3, S. 55.

тем, что привело к окончательному расстройству экономику Древнего Рима: объём потребление стал превышать объём производства, хотя ресурсы общества были уже исчерпаны огромными размерами государственных реквизиций.

Хотя Константин и предпринимал усилия по восстановлению валюты, последующие императоры возобновили снижение качества монеты, приводящее к инфляции цен. Император Юлиан (360-363 н.э.) отказался связывать инфляцию со снижением качества монеты, а видел её причины в торговцах, накапливающих товарные запасы. Чтобы доказать правильность своей позиции, он послал свои собственные запасы зерна на рынок в Антиохию. Согласно Гиббону[31], последствия этого «доказательного» шага не заставили себя долго ждать: основная часть пшеницы была немедленно куплена богатыми торговцами; оставшееся, хотя и появилось на рынке, было тайно продано по завышенной и незаконной цене. И хотя Юлиана предупреждали, что его политика не сможет понизить цены, а скорее усилит нехватку пшеницы, он, однако, продолжал полагать, что проводимая им политика эффективна и возлагал ответственность – по обычаю больших начальников - на пороки производителей[32].

В налоговом аспекте Юлиан был более просвещен. Он понял, что главная причина финансовой проблемы государства - чрезмерное бремя налогообложения, которое к тому же падало только на богатую часть общества. Но богач в состоянии эффективно уклониться от налогообложения через такую незаконную меру, как взяточничество. Тогда как рядовой гражданин беспомощен против все более возрастающих налоговых требований государства.

Тем не менее, доходы государства оставались недостаточными для обеспечения защиты страны. Это привело к дальнейшему росту налогов (например, к увеличению налога на продажи от 1 процента до 4,5 процентов в 444 нашей эры[33]). Однако бюджет продолжал сжиматься, поскольку налогоплательщики прятали увеличение прибыли в эффективных схемах уклонения от налогов. Таким образом, чем выше становились налоговые ставки, тем быстрее падали налоговые доходы, и это роковое несоответствие ускоряло экономический упадок римского государства[34]. Следует иметь в виду, что налогоплательщики обычно уклоняются от налогообложения, когда уходят из официальной экономики.

В конце концов, не оказалось денег, чтобы заплатить даже армии. Римское государство в пятом столетии оказалось жертвой своей собственной политики маниакального разрушения финансовой системы страны. Это ж надо было довести высокомерных эллинов до такого состояния, чтобы множество римлян приветствовало варваров как спасителей от тягостного бремени налогов![35]

---

[31] См.: 7, S. 801.
[32] См.: 6, SS. 312-321.
[33] См.: 3, S.75.
[34] См.: 3, SS. 81-83.
[35] См. подр.: 2.

* * *

Хотя падение Рима явилось катастрофой мирового масштаба, для большинства римских граждан это никак не сказалось на их повседневной жизни. Захватчики не имели стимула грабить, а скорее стремились обеспечить мир и стабильность в провинциях, которыми они управляли[36], то есть начали с того, с чего начинал и Август.

Падение Рима произошло по банальной, мирской причине - из-за экономического ухудшения в результате чрезмерного налогообложения, инфляции и сверхрегулирования. Высокие налоги были не в состоянии принести дополнительные доходы потому, что богатые налогоплательщики могли уклониться от таких налогов, в то время как средний класс не мог – и был практически истреблён...

Сплошные *бесплатные* историко-экономические уроки… Может, в этом и состояло великое предначертание Древнего Рима? Ведь пока – это единственное общество (кроме Страны Советов), об экономике которого мы знаем практически всё – от момента его возникновения до момента его гибели (которое – если не забывать о Византии – произошло каких-то пять веков назад). И пока мы не усвоим её уроки, она всегда будет рядом - угрозой повторения её ошибок.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ванчугов В.В.* Экономика Древнего Рима. Социально-гуманитарное и политологическое образование. Источник: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/79978

2. *Bartlett B.* How Excessive Government Killed Ancient Rome The Cato Journal. Volume 14 Number 2, Fall 1994.

3. *Bernardi A.* The Economic Problems of the Roman Empire at the Time of Its Decline. // Cipolla, C. (ed.) The Economic Decline of Empires, 16-83. London: Methuen, 1970.

4. *Casson L.* The Role of the State in Rome's Grain Trade // Memoirs of the American Academy in Rome 36, 1980.

5. *Demandt A.* 210 Theories, from Crooked Timber weblog entry August 25, 2003, Retrieved June 2005.

6. *Downey G.* The Economic Crisis at Antioch Under Julian the Apostate // Coleman-Norton, P.R. (ed.) Studies in Roman Economic and Social

[36] См.: 15, SS. 33-62.

History in Honor of Allan Chester Johnson, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1951.

7. *Gibbon E.* The Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. 1. New York: Modern Library, 1932.

8. *Goffart W.* Caput and Colonate: Towards a History of Late Roman Taxation. Toronto: University of Toronto Press, 1974.

9. *Homer S.* A History of Interest Rates, 2nd ed. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1977.

10. *Jones A.H.M.* Taxation in Antiquity // Brunt, PA. (ed.) The Roman Economy: Studies in Ancient Economic and Administrative History, Oxford: Basil Blackwell, 1974.

11. *Jones A.H.M.* The Later Roman Empire, 2 vols. Baltimore, Md.: The Johns Hopkins Press, 1986.

12. *Milne J.C.* The Ruin of Egypt by Roman Mismanagement // Journal of Roman studies 17, 1927.

13. *Oertel F.* The Economic Unification of the Mediterranean Region: Industry, Trade, and Commerce // Cambridge Ancient History 10, London: Cambridge University Press, 1934.

14. *Oertel F.* The Economic Life of the Empire // Cambridge Ancient History 12: 232—81. London: Cambridge University Press, 1939.

15. *Pirenne H.* Mohammed and Charlemagne. London: George Allen and Unwin, 1939.

16. *Rostovtzeff M.* The Social and Economic History of the Roman Empire, 2nd ed., 2 vols. London: Oxford University Press, 1957.

17. *Thornton M.K., and Thornton, R.L.* The Financial Crisis of A.D. 33: A Keynesian Depression? // Journal of Economic History 50(3), 1990.

18. *Walbank F.W.* The Awful Revolution. Toronto: University of Toronto Press, 1969.

19. *Westermann W.L.* Warehousing and Trapezite Banking in Antiquity // Journal of Economic and Business History, 3-1, 1930.

ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА ВЛАСТИ-СОБСТВЕННОСТИ

В.В. Вольчик
доктор экономических наук, профессор,
Южный федеральный университет

Институт власти-собственности существует в рамках российского хозяйственного порядка не одну сотню лет [27]. В нашей стране многочисленные попытки реформ, направленные на изменение ситуации, при которой доминируют институты условной собственности, в конечном итоге не позволяли свернуть с траектории развития, что неоднократно приводило к эффекту блокировки, закрепляющем неэффективные институциональные ограничения. Для проведения действенных институциональных реформ необходимо понимание механизмов эволюции российского института власти-собственности; для этого данная проблема должна рассматриваться в связи с эволюцией российского хозяйственного порядка и ролью групп специальных интересов как институциональных инноваторов. Для этого необходимо учитывать исторические, культурные и другие институциональные особенности развития хозяйственных систем.

Теория хозяйственного порядка является разновидностью институционального подхода к анализу формирования и развития институциональной структуры экономики с учетом специфики конкретных исторических, национальных и политических условий. Теория хозяйственного порядка разрабатывалась экономистами, которые не входили в мейнстрим экономической теории. В основном это были представители немецкого ордолиберализма [29; 30]. Однако рост интереса к неортодоксальным (в научной литературе также присутствует термин «гетеродоксальные теории») течениям в современной экономической теории делает актуальным изучение проблемы формирования хозяйственного порядка в контексте институциональных изменений.

Важнейшим моментом при исследовании хозяйственного порядка в тех или иных исторических координатах является вопрос о роли государства при его формировании.[1] Фактически данная проблема является частью более широкой – о роли государства при формировании институциональной структуры

[1] Представители Фрайбургской школы, например, отводят государству ведущую роль при формировании хозяйственного порядка. См. [44].

экономики. Не вызывает сомнений тот факт, что государство как институциональный инноватор создает формальные институты, которые, в свою очередь, могут относиться к политическим и экономическим институтам, в разной степени влияющими на хозяйственные процессы.

Качество государства также часто ассоциируется с политическими институтами, которые определяют объем политической власти [55]. Узурпация власти группами специальных интересов, которые могут представлять, например, земельную аристократию [56, P. 126-130], обусловливает деградацию политических институтов, в конечном итоге оказывая негативное влияние на формирование и функционирование экономических институтов, и ведет к отставанию в темпах экономического роста по сравнению со странами, имеющими более либеральные политические институты.

Формирование эффективного хозяйственного порядка с соответствующей институциональной структурой экономики является целью большинства хозяйственных реформ. Однако история дает много примеров, когда процессы институционального импорта и модернизации хозяйственных порядков не приводят к росту благосостояния общества, а создают устойчивые неэффективные экономические институты. Возникает вопрос, какие же причины и закономерности определяют формирование, отбор и функционирование эффективных (неэффективных) хозяйственных институтов вообще и института власти-собственности в частности?

Формирование хозяйственных порядков вследствие инерционной природы институтов, подверженных инкрементным изменениям, представляет собой чаще всего эволюционный процесс. Поэтому при анализе институтов, функционирующих в рамках того или иного порядка, важно проследить их эволюцию. Это позволяет понять причины эффективного (неэффективного) институционального регулирования хозяйственных процессов, а также учесть их эволюционно-генетические особенности при разработке программ реформ.

Принципы эволюционной теории наиболее разработаны в биологии. Однако применение «эволюционного языка» в экономике детерминирует расширительную трактовку этого термина, в противоположность его узко-специфичному использованию в биологии [71]. Поэтому в целом эволюционная экономика может идентифицироваться как применение общей эволюционной концепции к экономическим феноменам. При этом важно подчеркнуть, что экономическое развитие и технологические изменения подвержены воздействию эволюционных сил, которые не только во многом сходны с биологической эволюцией, но и во многих отношениях различаются [66].

Основные различия между физическими и биологическими системами состоят, во-первых, в различной природе «частиц», и, во-вторых, в различной природе процессов, протекающих в данных системах. Экономическое пространство может характеризоваться различными параметрами и структурными характеристиками. В общественных системах агенты ведут себя не так, как ато-

мы, их склонность к ассоциированию в решающей степени будет зависеть от фенотипических характеристик их поведения [63]. Концепция «институционального человека» отличается от концепции «неоклассического человека» тем, что она признает историческую изменчивость предпочтений и поведения экономических агентов [51]. Существует тесная связь между способностью экономических агентов к ассоциированию и формированием их предпочтений и поведения, зависящих от привычек. Если бы индивидуум существовал в одиночестве, то его предпочтения формировались бы в моральном вакууме. Но предпочтения поддерживаются окружающими условиями, обществом и некоторыми группами людей. Поведение всегда изменяется, в этом и состоит различие между ним и физиологическими процессами.

Современная эволюционная экономика неоднородна. Она может быть разделена на два направления: 1) конвергентная с неоклассикой эволюционная экономика и 2) неоэволюционная экономика,[2] рассматривающая не только эффективные, но и субоптимальные и неэффективные институциональные и технологические изменения в рамках концепции зависимости от предшествующей траектории развития (path dependence).

Неоклассический подход к анализу эволюции связан с исследованием определенного процесса, который приведет к прогрессу, и в результате которого устанавливается единственное оптимальное равновесие [48]. Это доказывается эволюционной теорией игр, в рамках которой определяются параметры равновесия, и которую иногда называют теорией равновесного выбора. Если отбор осуществляется достаточно долго на основе имеющихся вариантов, то в отсутствие каких-либо инноваций в конечном счете система достигнет состояния с минимальным отклонением, т.е. равновесия. Очевидно, эта концептуальная позиция не является завершенным состоянием взгляда на эволюцию в экономике, технологических или природных системах. Тип эволюции, особенности ее структуры и формы проявляются во взаимодействии между отбором и инновацией.

Необходимо отметить, что фундаментальной единицей анализа в традиционной эволюционной экономике выступает не популяция и не индивидуум, а то, что могло бы быть широко описано как информация в той или иной форме. Общей для любой эволюционной системы является идея развития информации во времени. Популяции фирм, рутины, управление есть способы распространения этой информации, формирующей основу успеха или неудачи того или иного экономического действия. Также необходимо учитывать, что социальная эволюция осуществляется через передачу навыков и информации не от одних только биологических родителей индивида, но и от несметного числа его предков [50, с. 47].

Эволюционная экономика основывается на принципах изменения, отбора и наследования, а также на объяснении процесса наблюдаемых изменений в си-

[2] На существование данного направления указывают Н. Флигстин и Р. Филанд. См.: [64, P. 21-43]

стеме взаимодействием этих трех характеристик. Другими словами, если система допускает разнообразие этих элементов, то сохраняются только те из них, которые наилучшим образом соответствуют окружению, поскольку отбираются согласно этому критерию [75]. Понятие наследования употребляется в том смысле, что те элементы, которые выживают, продолжают проявлять свои положительные свойства в следующем периоде времени (между тем как свойства, принадлежащие не выжившим элементам, вымирают вместе с ними).[3] Это характеризует перенос смысла старой идеи Г. Спенсера [43, с. 388-465] «выживания самого приспособленного» на экономическую теорию. Поэтому самым распространенным в экономической научной литературе является отбор наиболее эффективных фирм и форм хозяйствования в процессе конкуренции на продуктовых рынках. Некоторые фирмы выживают, а другие умирают, это зависит от прибыли, связанной с индивидуальной стратегией. Если давление отбора достаточно высоко, то выживут только самые эффективные или лучше всего приспособленные к данным институциональным условиям ведения хозяйственной деятельности. Выжившие фирмы, следовательно, действуют эффективно, даже если выбор стратегии не совсем хорошо обдуман. Однако такая точка зрения является примером трюизма о том, что выжившее фирмы наиболее эффективны, так как эффективные выживают [67, P. 446]. Здесь необходимо обратить внимание на тавтологичность основного принципа Дарвинизма «выживание наиболее выживаемых (или приспособленных)». На этот факт указывали как первые критики дарвинизма, так и создатели синтетической теории эволюции К.Х. Уоддингтон, Р. Фишер, Дж. Б.С. Холдейн, Г.Г. Симпсон [22, с. 62].

Согласно конвергентному с неоклассикой подходу к исследованию экономической эволюции в условиях конкуренции, преимущества получают фирмы, реализующие принцип максимизации в своих рыночных взаимодействиях, что позволяет им успешно проходить эволюционный отбор и вытеснять фирмы, характеризующиеся отличными от них поведенческими предпосылками и рутинами. Следовательно, будут отбираться технологии, рутины и институты, наиболее благоприятствующие реализации принципа максимизации прибыли, снижающие трансакционные издержки. Однако в рамках новейших направлений эволюционной экономики данное положение не всегда выполнимо, вследствие чего может происходить отбор и сравнительно неэффективных институциональных структур.

Напротив, согласно неоэволюционной парадигме, вследствие зависимости от предшествующей траектории развития (path dependence) могут отбираться и быть устойчивыми неоптимальные варианты технологического институционального развития. Зависимость от предшествующей траектории развития является феноменом, объясняющим, почему настоящие акты выбора агентов ***могут*** зависеть от актов выбора, сделанных ранее (случайных, незначительных

[3] Данная точка зрения разделяется не всеми представителями эволюционной экономики и берет свое начало с широко известной работы Армена Алчиана. См.: [57].

исторических событий и т.д.). Для анализа в рамках данной концепции важна сама последовательность исторических событий и те институциональные рамки, в которых предыдущие акты выбора, и соответственно, отбора производились. Чем дальше развивается система, в случаях, когда наблюдается феномен «path dependence» (а он, конечно, существует не всегда), тем сильнее прошлые акты выбора влияют на настоящие. После прохождения некоторой границы процесс становится необратимым, т.е. альтернативные акты выбора становятся невозможными (по Б. Артуру, в условиях возрастающей отдачи [58]). Наступает эффект блокировки, т.е. система замыкается на исторически определенных альтернативах актов выбора.

Отбор институтов может зависеть от типа взаимодействий экономических субъектов, которые детерминируют образование института. Эти типы взаимодействий зависят от исторического контекста культурных и иных институциональных особенностей развития того или иного хозяйственного порядка. Следовательно, отбор институтов осуществляется по критерию соответствия текущих взаимодействий с прошлыми, что зависит от качества социального капитала. Это определяет формирование и отбор неэффективных институтов и технологий, которые, будучи сравнительно неэффективными (согласно концепции эффективности рыночного процесса), закрепляются, соответствуя предыдущим взаимодействиям, сформировавшим настоящие институциональные структуры. Это означает, что тип взаимодействий экономических субъектов закрепляется в «исторической памяти» (функционировании) института и определяет его эволюцию.

В результате рыночного отбора информационные сигналы приобретают те свойства, которые были заданы начальным распределением информации; начальные условия зависят от социальных институциональных рамок, а также от познавательных возможностей индивидов, последние же, в свою очередь, зависят от качества человеческого и социального капитала. Такой отбор приведет к результатам, не поддающимся точному прогнозу, но в направлении, заданном первоначальными информационно-институциональными рамками, что отражает информационную природу институтов. Здесь необходимо отметить, что начальные институциональные условия формируются спонтанно, часто под воздействием незначительных (с точки зрения современников) или даже случайных факторов. В этом случае, как обосновано выше, полезно применение методологии неоэволюционной экономики, в частности, зависимости от предшествующей траектории развития.[4] Как показал ведущий представитель этого исследовательского направления Б. Артур, незначительные исторические события не могут быть опущены или усреднены в долгосрочном процессе, так как они могут предопределить наступление того или иного последствия [58]. Эти исторические события и есть первоначальные институциональные ограничения, которые вследствие инертности политических, технологических и институцио-

[4] Основные положения данной концепции содержаться в работах [59; 61].

нальных структур [70] могут, в зависимости от различных факторов, приводить систему к ситуации расширения или свертывания обменов.

Также необходимо учитывать, что сами по себе институты – как правила и механизмы, обеспечивающие их выполнение, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми [26, с. 73] – только тогда имеют значение в исторической эволюции хозяйственных порядков, когда их сигналам следуют значительные количества индивидуумов, включенных в социальные экономические отношения. Поэтому именно группы интересов являются теми инноваторами, которые инициируют создание новых институтов и поддерживают функционирование уже существующих. Следовательно, можно сделать вывод, что устойчивое воспроизводство групп интересов позволяет поддерживать и развивать институты того или иного хозяйственного порядка.

Функционирование того или иного института связано с текущими взаимодействиями экономических акторов: организаций, групп специальных интересов и индивидов. Эти взаимодействия могут быть направлены на изменение существующих институциональных ограничений. Как уже отмечалось, технологические и институциональные изменения необязательно приводят к возникновению эффективных институтов и технологий.

В процессе отбора институтов важнейшую роль играют устойчивые группы интересов. Причем такие группы могут преследовать как узкие (специальные), так и всеохватывающие интересы. В экономической теории возникновение и развитие теории групп специальных интересов связано, в первую очередь, с именем М. Олсона [32; 31]. Им разработаны основные положения теории коллективных действий и показаны направления ее применения для анализа проблем, входящих в сферу современной экономической теории.

Под группами специальных интересов обычно понимают совокупность агентов, которые характеризуются совпадением экономических интересов, и на которых действуют избирательные стимулы для производства совместного коллективного блага. Группы с особыми интересами могут создавать структуры для лоббирования политических и экономических решений и нормативных актов, олигархические и монополистические структуры, а также участвовать в перераспределении.

Группы с особыми интересами замедляют экономический рост, снижая скорость перераспределения ресурсов между сферами деятельности или отраслями в ответ на появление новых технологий или условий. Один из очевидных способов, которым они добиваются этого, лоббирование помощи для выхода из затруднительного положения фирм, потерпевших фиаско, что приводит к отсрочкам и затрудняет перемещение ресурсов в те сферы деятельности, где они имели бы большую продуктивность. Другие способы замедления скорости перераспределения ресурсов, возможно, не столь очевидны. Пусть, например, по какой-то причине значительно возрос спрос на труд в отрасли или по профессии, в которой он контролируется единым профсоюзом или профессиональ-

ной ассоциацией. Картелированная организация способна из-за сдвига спроса потребовать более высокой оплаты, а новая, более высокая монопольная цена снизит количество труда, используемого в переживающем подъем секторе, снижая тем самым рост и эффективность экономики [73, P. 22-27].

Для того чтобы группа со специальными интересами включилась в производство какого-либо коллективного блага, необходимо наличие избирательных стимулов. Избирательные стимулы – это стимулы, которые применяются к индивидуумам избирательно в зависимости от того, вносят они вклад в обеспечение коллективным благом или нет [31, с. 44]. Социальные избирательные стимулы могут быть сильными и слабыми, но доступны они только в определенных ситуациях. Обычно они малоприменимы для больших групп, за исключением тех случаев, когда большие группы могут быть союзом малых групп, способных к социальному взаимодействию. Внедрение институциональной инновации группой специальных интересов, той или иной политической элитой, олигархами почти всегда предполагает получение каких-либо выгод и осуществляется с этой целью. Часто эти выгоды связаны с процессами распределения собственности. Поэтому институт власти-собственности является логическим результатом или даже индикатором действия узких групп специальных интересов.

Часто в институциональной и эволюционной экономике единицами анализа, с которыми ассоциируются изменения в экономических системах и порядках, наряду с информацией признаются институты или рутины. Здесь уместны биологические аналогии, согласно которым рутины и институты выполняют в экономике роль генов, передавая информацию в ходе эволюционного развития [24]. Однако институты непосредственно не участвуют в процессе отбора. Отбираются группы интересов, включенные в действие того или иного института. Необходимо отметить, что такие группы могут выражать как узкие, так и всеохватывающие общественные интересы, и каждая из таких групп может поддерживать формирование и функционирование нескольких институтов.

Для иллюстрации отбора институтов с учетом формирования групп интересов можно использовать аналогию модели «бутылочного горлышка» из эволюционной биологии. Если экономическую эволюцию трактовать как процесс роста многообразия, сложности и продуктивности экономики за счет периодически происходящей смены технологий, продуктов, организаций и институтов [19, с. 9], то модель «бутылочного горлышка» дает релевантное объяснение смены одного экономического порядка другим [5, с. 185-204].

В биологии «эффект бутылочного горлышка» и «эффект основателя» используются как частные случаи более общей проблемы «дрейфа генов». Если провести аналогию между дрейфом генов в биологии и процессами в социальной и экономической жизни, то аналогом будут масштабные институциональные изменения. Согласно эффекту «бутылочного горлышка» (т.е. очень маленькой популяции), можно наиболее вероятно идентифицировать возникновение

нового вида, когда мутация закрепляется с течением времени в поколениях. Малые популяции являются более вероятными кандидатами на микроэволюцию и видообразование, чем большие, потому что в больших популяциях редко какая мутация просто так закрепляется. Иными словами~ если вид процветает, имеет много особей и размножается хорошо, то ему, чтобы «эволюционировать», нужно гораздо больше времени (миллионы поколений), чем виду, которого мало и которому плохо живется (так как требуется гораздо меньше поколений) [1, с. 128]. Те признаки, которые были присущи малой популяции (в момент прохождения точки «бутылочного горлышка», с большей вероятностью будут мультиплицированы в последующем развитии популяции. Возникающие многочисленные популяции воспроизводят генетическую структуру их основателей. Это явление американский зоолог Э. Майр, один из основоположников синтетической теории эволюции, назвал «эффектом основателя» [20; 68]. На рисунке 1 «эффект бутылочного горлышка» изображен применительно к социальным изменениям; следовательно, ось ординат отображает *n* количество групп интересов, включенных в действие того или иного института, а ось абсцисс *t*~ время.

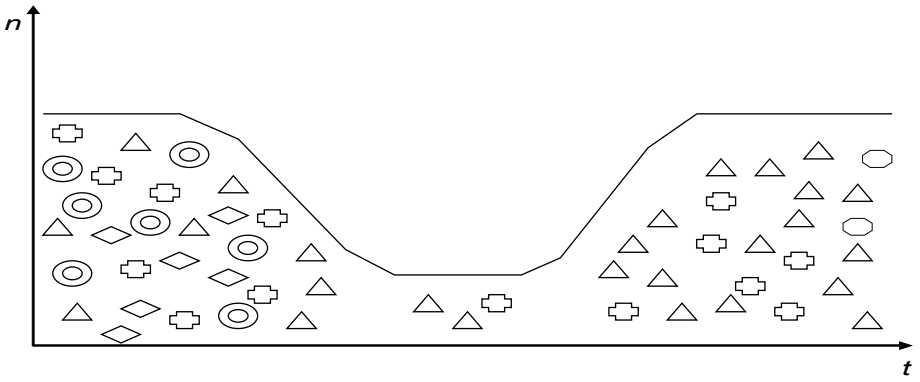

Рисунок 1. Эффект бутылочного горлышка

Момент радикальной трансформации того или иного экономического порядка приводит к так называемому трансформационному кризису [36, с. 31-54]. Во время этого кризиса резко сокращается количество обменов в экономике и происходит деинституционализация и, следовательно, разрушение старых групп специальных интересов. Следовательно, момент перехода от одного экономического порядка к другому аналогичен «эффекту бутылочного горлышка» в биологии и, таким образом, может быть назван так же при описании экономических процессов. Именно институты, которые остаются от старого порядка и первыми создаются (или импортируются) для нового, т.е. существуют в начальный момент развития новой экономической системы, и приобретают особое значение для дальнейшего развития этой системы. Здесь

вступает в действие «эффект основателя». Следовательно, очень трудно изменить вектор экономического развития системы, только что прошедшей через «бутылочное горлышко» кризисной трансформации. Если набор институтов вследствие случайных или незначительных[5] исторических событий оказался сравнительно неэффективным, то система будет воспроизводить эти неэффективные состояния до тех пор, пока не возникнет новая ситуация, которая может быть отнесена к «эффекту бутылочного горлышка».

Именно в процессе прохождения через кризис, характеризующийся «бутылочным горлышком», проходит разрушение, в первую очередь, старых групп специальных интересов, что согласуется с подходом М. Олсона [31]. Фактически, в такие исторические моменты национальный хозяйственный порядок может быть кардинально преобразован или даже заменен на новый вследствие импорта или трансплантации институтов [36]. Однако полная смена социального и хозяйственного порядка будет маловероятной из-за существующего в обществе социального капитала, определяющего фундаментальные социальные связи, а также связанного с национальными ментальными и поведенческими моделями. Оставшиеся после прохождения «бутылочного горлышка» группы интересов будут инициировать сохранение старых и формирование новых институтов, в сферу действия которых они включены. Именно в зависимости от выгодности для тех или иных групп и будут формироваться эффективные, субоптимальные и вовсе неэффективные институты [6]. От качества социального капитала будет зависеть и состав и разновидность групп интересов – это могут быть узкие группы со специальными интересами или группы со всеохватывающими интересами [73, P. 22-27]. Доминирование групп с узкими специальными интересами в большинстве случаев будет приводить к созданию субоптимальных и неэффективных институтов.

В момент прохождения «бутылочного горлышка» и в ближайшие временные интервалы возможность «институциональных мутаций» будет более вероятна. В это время создается большинство социальных, в том числе и экономических институтов, которые будут определять тип и качество хозяйственного порядка до прохождения системы к новой точке системного кризиса.

Созданные институты включаются в процесс отбора, который может происходить на институциональном рынке. При отборе вновь созданных институтов важно учитывать два фактора: зависимость от предшествующей траектории развития [58] (path dependence) и экзаптацию (exaptation) институтов [69].

Как уже отмечалось, формирование хозяйственного порядка осуществляется при участии государства. Именно государство выступает организующим элементом институциональной структуры (institutional arrangement) или институциональной среды (institutional environment).[6] Но действия государства во многом зависят от доминирующих во властных структурах групп специальных

[5] Артур Б. определяет незначительные исторические события как события, которые обычно не берутся наблюдателем в расчет, т.е. не включаются в стандартный анализ как условия, обладающие способностью влиять на что-либо. См.: [58].

интересов. Таким образом, государство является основным институциональным инноватором, который создает и поддерживает институциональную структуру того или иного хозяйственного порядка.

В исторических рамках российского хозяйственного порядка неоднократно осуществлялись внедрение и импорт институтов, что происходило в результате трансформационного кризиса, описываемого моделью бутылочного горлышка. Мы хотим акцентировать внимание лишь на одной институциональной инновации, связанной с институциональным импортом – институте власти-собственности.

Объяснение устойчивости института власти-собственности в рамках российского хозяйственного порядка можно дать на основании гипотезы о зависимости от предшествующей траектории развития. Институт власти-собственности не одну сотню лет доминирует в российской экономике. Более того, именно доминирование института власти-собственности во многом является важнейшей характеристикой российского хозяйственного порядка. Причем этот институт эксплицитно является неэффективным по сравнению с абсолютной частной или индивидуализированной собственностью. Формирование институтов собственности в России можно считать исторически обусловленным процессом, который не укладывается в модель традиционной эволюционной экономики, предусматривающей развитие экономических институтов от менее эффективных к более эффективным. Если учитывать последовательность исторических событий с позиций неоэволюционной экономики, то можно выделить примеры зависимых от предшествующего пути развития событий, а также эффекта блокировки, закрепляющего неэффективные и субоптимальные экономические институты [58]. Однако в научной литературе присутствуют альтернативные точки зрения. Согласно С. Кирдиной, формирование институтов собственности имеет естественно-исторический характер. Условиями выбора тех или иных форм является реализация принципа экономической эффективности. Следовательно, чем эффективнее[~] по критерию снижения издержек и повышению результатов[~] будет санкционированная обществом структура прав собственности, тем более велика вероятность ее закрепления [9, с. 114-115]. Относительно эволюции института российской собственности мы сталкиваемся с эволюцией наоборот[~] долгое время существовал неэффективный институт «верховной условной собственности» [9] (или власти-собственности), который на протяжении столетий так и не эволюционировал в более эффективный институт абсолютной частной (индивидуализированной) собственности [4].

Механизм действия института власти-собственности не является уникальным для российской экономики. В Западной Европе в раннее средневековье также наблюдался феномен единства политической и экономической сфер, который опирался на институт власти-собственности [40, с. 43-50]. Однако разви-

[6] Оба термина используются О. Уильямсоном. См.: Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб., 1996

тие собственности в России значительно отличалось от классического феодализма. В классическом феодализме собственность, преимущественно земельная, рассматривалась двояко: она давала владельцу определенные права и накладывала на него соответствующие обязанности. Элита исполняла обязанности вассальной верности и военной службы, а крестьяне несли трудовые, а иногда и военные повинности. Постепенно в Западной Европе с исчезновением обязанностей военной службы и ослаблением уз личной верности обладание собственностью стало рассматриваться как абсолютное право, с которым могут быть связаны лишь договорные обязанности. Распространение римского права еще более укрепило этот подход, и обычное право, например, в Англии, тоже стало признавать за собственностью абсолютный характер [8, с. 283]. И главное, эволюция отношений собственности не привела к формированию абсолютного права собственности, как это было в большинстве европейских стран.

Власть-собственность возникает в условиях, когда происходит монополизация должностных функций в общественном разделении труда, когда власть и господство основываются не на владении собственностью как таковой, а на высоком положении в традиционной иерархии [28, с. 12]. Монополизация должностных функций для большинства стран Европы была характерна до XII века. Также подобные способы монополизации связываются с экономико-институциональной организацией стран Востока, причем как относящихся к периоду средневековья, так и к временам нового времени. Например, в истории Китая были периоды, когда правители поощряли развитие торговли, но чаще правители устанавливали контроль над правами собственности и занимались конфискацией [72]. На Западе состояния создаются на рынках и затем используются, чтобы купить власть или воздействовать не нее. На Востоке власть захватывают и используют для того, чтобы делать деньги. С точки зрения морали разницы здесь нет, но воздействие на экономику и на государственное устройство очень различно [17, с. 67]. Поэтому формирование института власти-собственности часто связывают с длительным господством властных институтов Золотой Орды. Историками права отмечается, что после татаро-монгольского нашествия в России устанавливается монгольское государственное право, согласно которому вся вообще земля, находящаяся в пределах владычества хана, была его собственностью [23, с. 136].

Институт власти-собственности показывает свою относительную эффективность в периоды мобилизационного, нестабильного[7] развития общества, ведения войн и расширения территории государства. Однако в более спокойные периоды функционирование института власти-собственности не приводит к формированию стимулов к накоплению и инвестированию в объекты собственности, которые возникают при абсолютной частной (индивидуализированной) собственности.

[7] О стабильных и нестабильных состояниях российской модели государственного управления см.: [39].

Если эволюционное формирование института власти-собственности в рамках российского хозяйственного порядка описывается моделью зависимости от предшествующей траектории развития, то можно найти те исторические события, которые позволили данному институту закрепиться (lock in) благодаря возрастающей отдаче от масштаба. Таким историческим отрезком можно считать время царствования Ивана IV Грозного. Необходимо отметить, что в XVI веке институт власти-собственности лишь окончательно закрепился, но начал формироваться он несколькими веками раньше. Данному институту в то время существовали альтернативы даже в рамках российского хозяйства, например, новгородская модель собственности в XIII–XV вв.

В российской истории можно найти пример одновременного существования различных институциональных режимов собственности. В начале XV в. сформировались две модели собственности на землю как доминантный для того время хозяйственный актив, которые нами различаются: новгородская и московская. Московская модель характеризуется вотчинным землевладением, которое послужило в дальнейшем основой формирования института власти-собственности. Новгородская модель, напротив, отличается либеральным характером, фактически абсолютным правом собственности и многосубъектностью землевладения [11, с. 395-401]. Относительно перспектив институционального развития экономики новгородская модель была, конечно, более предпочтительной.

В рамках новгородской модели важнейший актив того времени, земельная собственность, мог принадлежать следующим категориям граждан: боярам, монастырям, житьим людям и земцам (или своеземцам), причем последние две категории собственников фактически отсутствовали в московской модели землевладения.

Важной особенностью новгородского землевладения был класс крестьян-собственников, которые назывались земцами или своеземцами. Этого класса мы не встречаем на всем пространстве княжеской Руси: там все крестьяне работали либо на государственных, либо на частных землях. Своеземцы меняли и продавали свои земли, выкупали у родичей, отдавали в приданное за дочерьми; даже женщины, вдовы и сестры являлись владелицами и совладелицами таких земель. В отличие от княжеской Руси, в Новгородской и Псковской земле право земельной собственности не было привилегией высшего служилого или правительственного класса; оно было усвоено и другими классами свободного населения [11, с. 400-402]. С последующим доминированием московского варианта вотчинного землевладения крестьяне постепенно теряют свои земли. Земля сосредоточивается в руках крупных землевладельцев, духовных и светских, а с землей переходит к ним власть; сила покоится на богатстве [13, с. 51]. Потребовалось почти четыре столетия, чтобы класс крестьян-собственников снова возник в Российской империи. Но, как показывает история, влияние этого класса было невелико, что является одной из причин российских революций.

Эволюция московской модели собственности привела, по выражению Р. Пайпса [34], к формированию вотчинного государства, которое базировалось на институте власти-собственности. Таким образом, власть московских князей, а впоследствии российских царей и императоров, имела характер вотчинной власти, следовательно, они не только управляли страной, но и владели ею [16, с. 17].

Замыкание российской экономики на институте власти-собственности произошло вследствие возрастающей отдачи от внедрения данного института, т.к., согласно подходу Б. Артура, в случае возрастающей отдачи возникновение эффекта блокировки и закрепление субоптимальных институтов возможно с высокой вероятностью. Поскольку московская армия комплектовалась воинами, получавшими служебные имения, то вотчинно-помещичья система давала растущий эффект от масштаба: чем больше земель присоединяла Москва, тем многочисленнее была ее профессиональная армия. Бояре и помещики присоединяемых княжеств либо изъявляли покорность Москве и вливались в ее армию, либо, если они успели зарекомендовать себя противниками Москвы, подвергались репрессиям, а их земли раздавали лояльным к новой власти воинам [15, с. 117-118].

Вотчинная форма землевладения, характерная для московской модели, не позволяла формироваться устойчивым группам интересов, которые были бы заинтересованы и имели возможности внедрить институциональные инновации, способствующие индивидуализации собственности. Блокировка на институте власти-собственности объясняется не только зависимостью от предшествующего пути развития, но и тем фактом, что такая система собственности, служа интересам государства (в лице верховной власти), не позволяла сформироваться устойчивым группам интересов, заинтересованных в иных институциональных альтернативах. Устойчивость и экспансия государства сочеталась в этой модели с нестабильность и условностью прав собственности (в основном, собственности на землю).

Согласно современным работам российских историков, поместная система землепользования была заимствована у Османской империи. Таким образом произошел институциональный импорт, который позволял верховной власти осуществлять как внешнюю, так и внутреннюю экспансию, что согласуется с гипотезой о возрастающей отдаче института власти-собственности. Более того, реформы, в результате которых окончательно сформировался устойчивый институт власти-собственности, были сознательным импортом норм иного хозяйственного порядка. Известно, что Иван Грозный в целом следовал определенному проекту преобразований; также известен человек, предложивший этот проект. Этого человека звали Иван Пересветов. 8 сентября 1549 года в церкви Рождества Богородицы Пересветов вручил царю челобитную с проектом реформ. Иван Пересветов был русским дворянином из Литвы, многоопытным воином, служившим Яну Запольяи и Петру Раршу, вассалам султана Сулейма-

на Законодателя; он хорошо знал турецкие порядки и советовал царю брать пример с Турции [25].

Схожесть российских политических институтов с османскими отмечали и иностранные современники. Так, посланник английской королевы Елизаветы I Джон Флетчер отмечал, что образ правления у русских весьма похож на турецкий, которому они, по-видимому стараются подражать, сколько возможно, по положению своей страны и по мере своих способностей в делах политических [47, с. 40]. К XVI веку поместная система существовала в двух странах: в России и в Османской империи (в Турции поместье называлось тимаром, а помещик – тимариотом или сипахи [25]).

В XVI в. институт власти-собственности, выросший из поместной системы землевладения, видимо, не был абсолютно неэффективным и позволял создать крупное централизованное государство. Поэтому эволюция российского института собственности воспроизводит власть-собственность, которая наблюдается на всех этапах истории, например, в рамках социалистического хозяйства [28], изменяясь и приспосабливаясь к трансформирующимся политическим институтам. Доминирование института власти-собственности приводит к тому, что обладание значительным богатством напрямую зависит от отношений субъектов собственности с действующей властью. Однако Ф. Хайек отмечал: «общество, в котором власть сосредоточена в руках богатых, существенно отличается от общества, в котором богатыми могут стать только те, в чьих руках находится власть» [49, с. 224]. Таким образом, формирование эффективной институциональной структуры российского хозяйственного порядка во многом зависит от того, как будут эволюционировать институты собственности, а также от преодоления инерции власти-собственности.

Доминирование и закрепление института власти-собственности вследствие зависимости от предшествующего пути развития и эффекта блокировки не позволяет включиться механизмам отбора институтов и сформироваться рынку институтов. Ограничение в сфере институциональной эволюции непосредственно сказывается на показателях благосостояния, человеческого и социального капитала. Необходимо отметить, что в научной литературе существуют две противоположные точки зрения относительно причинной связи между институтами, человеческим капиталом и экономическим ростом. Согласно первой, именно качественные политические и экономические институты детерминируют экономический рост и долгосрочные тенденции роста благосостояния всех групп населения, что положительно отражается на показателях человеческого и социального капталов [26; 55]. Согласно второй, именно накопленный человеческий и социальный капитал позволяет тому или иному социуму создавать те экономические и политические институты, которые способствуют долгосрочному экономическому росту [65]. Данные две точки зрения на причины формирования эффективных институтов имеют право на существование, так как они акцентируют внимание на различных аспектах внедрения и

эволюционного формирования институциональной структуры. Важно учитывать именно эволюционный характер возникновения и развития институтов.

Устойчивость и доминирование условной формы собственности может быть объяснено тем фактом, что в России политическое устройство и специфика социального капитала не позволяла сформироваться группам со всеохватывающими интересами по М. Олсону [31; 73; 74], которые были бы в состоянии выступить институциональными инноваторами структур способных изменить траекторию институционального развития, замкнутую на институт власти-собственности. Накопление и тиражирование в обществе социального капитала осуществляется через процесс его институционализации. Институционализация социального капитала в хозяйственных порядках предполагает создание и эволюцию рутин технологий, определяющих тип экономических отношений и формирующих фундаментальные институциональные предпосылки для становления того или иного типа экономического порядка.

Институционализация социального капитала приводит к формированию такой институциональной структуры, которая, кроме снижения (повышения) трансакционных издержек, создает стимулы у экономических акторов для участия в хозяйственных процессах. Однако необходимо отметить, что российский институт власти-собственности сформировался в коллективистском обществе, отличительными признаками которого являются соборность и господство общественных интересов над индивидуальными. С большой долей условности можно сказать, что социальный капитал, способствующий формированию института власти-собственности, основывается на коллективизме несвободных людей, в отличие от которого институт абсолютной частной (индивидуализированной), собственности основан на солидарности свободных людей.

Многие социологи и историки отмечают, что особенности институциональной организации общества в России базировались на коллективистском менталитете и мышлении, где индивидуальный интерес и, следовательно, индивидуальные свободы личности не имели безусловной ценности, но без последних формирование и доминирование абсолютной частной собственности невозможно. Так, например, И.Б. Чубайс, отмечает, что на протяжении многих столетий Россия выстраивалась на трех китах, на трех фундаментальных началах - православии, собирании земель, переросшем в имперскую политику и на общинном коллективизме. Это и есть главные составляющие русской идеи. Отмеченные особенности являются глубинными характеристиками российскости, задающими три ее направления - духовность (в традиционной форме православия), государственную стратегию (собирание земель и охранение собранного) и социально-экономическую ментальность (ориентацию на общинный коллективизм) [53, с. 31].

Здесь необходимо провести различия между понятиями коллективизма и солидарности, используемыми в данной работе. Под коллективизмом понимается сознательное подчинение личных интересов общественным, а солидар-

ность связывается с общностью интересов и активным содействием чьим-либо действиям. Именно солидарные действия групп интересов, способствовавшие внедрению института абсолютной частной собственности (например, в 1215 г. принуждение баронами Иоанна Безземельного принять Великую Хартию вольностей) позволили внедрить институциональную инновацию, которая в долгосрочном периоде явилась выражением всеохватывающих общественных интересов по М. Олсону. В России, наоборот, коллективистский менталитет и действия власти не позволяли сформироваться группам интересов, заинтересованным и способным к внедрению индивидуализированной собственности. Также необходимо отметить, что российский коллективизм сформировался в ходе длительной эволюции экономического и внеэкономического принуждения. Несколько утрировано В. Кантор отмечет, что хваленый коллективизм и соборность русского народа мгновенно рассыпается в прах, когда нет внешней принудительной силы. Если, разумеется, не считать общиной бандитские шайки [7, с. 105].

Российский коллективизм является отрицанием свойственной Западу нравственной легитимации частной пользы и выгоды, которой на Руси не было до Петра, но и при нем не появилось тоже [3]. В отечественной традиции частным интересам отводилась производная, вспомогательная, обслуживающая роль личные интересы должны быть подчинены общественным. В таких условиях институт власти-собственности больше всего подходит для реализации «общественного интереса» применительно к хозяйственной жизни.

Если утверждение института власти-собственности в России было связано с условным владением землей, то развитие этого института в XIX веке и начале XX века является отражением объективных процессов индустриализации. Необходимо отметить, что роль государства в процессе индустриализации была ведущей и именно решения государственной власти, например, в строительстве и эксплуатации железных дорог, способствовали созданию и накоплению промышленных капиталов, созданию и распределению объектов промышленности и транспорта.

Во второй половине XIX века и начале XX века в Российской империи наблюдалась тенденция огосударствления многих ключевых для экономики объектов собственности. Государство не только контролировало как собственник значительную долю промышленного производства и природных ресурсов, но и постоянно расширяло свое интервенционистское воздействие на хозяйственные процессы. Процессы индустриального развития повлияли на эволюцию власти-собственности, которая все больше стала распространятся на промышленные предприятия.

В дореволюционной России государство было одним из крупнейших собственников. Более того государственное регулирование способствовало накоплению и перераспределению капиталов в те отрасли и предприятия, собственники которых были так или иначе аффилированы с властными структурами

[21]. Динамика государственных расходов в Российской империи направленных на развитие экономики отражает их рост с 45,5% в 1861 г. до 55,2% в 1914 г. [60, P. 217]. В таблице показана динамика прибыли государства и ее доли в государственном бюджете от государственных имуществ и предприятий. И хотя существует точка зрения, что цифра в 60% доли прибыли в государственном бюджете завышена, однако признается что она была велика. Также необходимо отметить, что государство значительно влияла на экономику путем распределения государственных заказов, которые в отдельных отраслях составляли до 40% от всего объема производства [14, с. 221].

Таблица 1. Прибыль государства от государственных имуществ и предприятий в государственном бюджете [18, с. 390]

Год	Прибыль государства от государственных предприятий, млн. руб.	Доля данной прибыли в государственном бюджете, %
1877	51,4	8,7
1897	484,8	34,2
1908	1470,8	–
1914	1964,0	Около 60

Государственный контроль над экономикой выражался также в высоких административных барьерах при создании крупных промышленных предприятий в форме акционерных обществ. На протяжении XIX века и вплоть до 1917 года создание промышленных акционерных общества было сопряжено с разрешительным порядком регистрации, которая заканчивалась утверждением устава общества Императором. Следует отметить, что сам устав создаваемого акционерного общества составлялся по выработанным в министерствах образцам и вместе с прошением подавался в заинтересованное ведомство для получения конфирмации императора [38, с. 308]. В промышленности вообще существовал более строгий порядок открытия новых производств. Этот порядок был связан с обязательной санкцией начальства губернских и уездных городов и округов. Для предприятий, которые не входили в особый список Министерства внутренних дел, согласованный с Министерством финансов порядок регистрации был более сложным и требовал, например, в Санкт-Петербурге санкции градоначальника [38, с. 310-311]. Данные правовые институты в начале XX века негативно сказывались на развитии промышленности, но вследствие институциональной инерции власти-собственности не были изменены.

Защита и спецификация прав собственности связаны с трансакционными издержками. Поэтому функционирование современной абсолютной частной (индивидуализированной) собственности связано с наличием соответствующего трансакционного сектора. Д. Норт подчеркивает, что возникновение политических институтов, определяющих «эффективные» права собственности и обес-

печивающих все более надежную защиту этих прав, неизбежно влияет на развитие экономических институтов, способствующих рыночному обмену. В результате издержки осуществления каждой отдельной трансакции сокращаются, но в целом доля трансакционного сектора в ВНП все более возрастает по мере того, как растущая специализация и разделение труда умножают совокупный объем меновых операций. Именно это происходило в США, где оцененный размер трансакционного сектора в 1870 г. составлял около четверти ВВП, а в 1970 г. – почти половину [26, с. 78]. Наряду с трансакционным сектором в развитых странах с эффективным институтом абсолютной частной (индивидуализированной) собственностью существует большой и дорогостоящий государственный аппарат. Большие затраты на содержание государственного аппарата являются противоположностью ситуации когда низкие зарплаты чиновников компенсируются «кормлением от дел».

Парадоксально, но царская Россия обладала слабой административной сетью. Бюджет административных расходов скрывает под собой, скорее, «повесть о недофинансировании», чем о перерасходе средств [33, с. 388-390]. Относительная слабость административной сети России обусловливала и дополнялась произволом лиц, наделенных административной властью на всех уровнях. Незначительное жалование чиновников в царской России компенсировалось «кормлением» с занимаемой ими во властной иерархии должности. Тенденция к превалированию произвола заполняла «вакуум», порождаемый относительной нехваткой администраторов. Эта тенденция была не столько результатом чрезмерного огосударствления, сколько «функцией» от российских территориальных масштабов и связанного с этим «недоуправления», рудименты которого, видимо, сохранились и поныне в современных властных структурах России.

Иллюстрацией слабости административной системы при относительной нехватке администраторов может служить сравнительная численность государственных служащих в России и развитых странах Запада. Как видно из таблицы, относительная численность государственных служащих на 1000 человек населения и 1000 занятых в современной России ниже, чем в остальных приведенных в таблице экономически развитых странах.

Таблица 2. Численность работников федеральных органов исполнительной власти [41, с. 659]

Страна	Год	Всего, тыс. человек	На 1000 человек населения	На 1000 занятых
Россия	2002	446,8	3,1	6,8
Великобритания	1999	308,8	5,2	11,3
Канада	2001	160,0	5,1	10,6
США	2001	1050,4	3,7	7,8

В советский период развития Российской экономики функционирование института власти-собственности было единственно возможным, так как собственность на средства производства принадлежала государству. В Конституциях СССР 1936 и 1977 годов декларировалось, что основой экономической системы является социалистическая собственность в двух ее формах – государственной и колхозно-кооперативной. На законодательном уровне устанавливалось, что личная собственность граждан не могла использоваться для получения нетрудовых доходов, а ведение предпринимательской деятельности было уголовно наказуемым преступлением. Таким, образом советская система хозяйствования может быть отнесена к ультравластно-собственнической, где полностью отсутствовала индивидуализированная частная собственность, а следовательно персонифицированное наделение органами власти собственностью. Государство в таких условиях является единственным полноправным субъектом института власти-собственности. Необходимо отметить, что в 70-80-х годах властно-собственнические отношения реализовывались в разрастающимся теневом секторе [45]. Однако, как уже отмечалось, путь к огосударствлению экономики был начат задолго до 1917 года. Советская власть лишь реализовала а радикальных формах тенденции, которые формировались веками в традициях эволюционирующего института власти-собственности.

Существовавшие в советское время системы материального поощрения номенклатуры в виде дач, машин, пайков, премий, и других привилегий может быть также отнесена к институту власти-собственности в его социалистической модификации. Также немаловажным фактором способствующим функционированию института власти-собственности является «институциональная коррупция»[8] или «кормление от дел» [12], которые характеризуют ситуацию когда принадлежность к власти открывает большие возможности как для легальных раздач благ, так и для теневых доходов разного рода.

Современное состояние российской экономики позволяет сделать вывод, что в результате трансформационного кризиса институт власти-собственности благополучно сохранился и с некоторыми мутациями продолжает доминировать в хозяйственной жизни [35]. Сложность ситуации с российскими институтами собственности заключается в том, что «благодаря» проводимой экономической политике в самом начале реформ (т.е. «эффекту основателя») возникла ситуация, в которой роль групп со всеохватывающими интересами незначительна (если такие группы вообще существуют), а новорожденный российский капитализм унаследовал «социальный склероз» от советской экономики. В свою очередь, узкие группы специальных интересов сильны, организованы и постоянно эволюционируют. Для того, чтобы в результате институциональных реформ сформировалась эффективная система собственности, необходимы сти-

[8] Термин институциональная коррупция используется Львом Тимофеевым для характеристики всеобъемлющих теневых рынков в Советском Союзе. См.: [45].

мулы. Эти стимулы должны соотноситься со всеохватывающими общественными интересами, но роль групп со всеохватывающими интересами в российском обществе незначительна.

Приватизация государственной собственности, проводимая в постсоветский период дает много примеров функционирования власти-собственности [28]. Одной из самых ярких иллюстраций функционирования института власти-собственности можно считать проведение залоговых аукционов в преддверии президентских выборов 1996 г. Многочисленные нарушения тогда действующих законов позволили реализовать принцип наделения собственностью лиц, связанных с властными структурами. Так вопреки статье 12 Федерального закона «О федеральном бюджете на 1995 год», устанавливающей, что в текущем году при приватизации досрочная продажа закрепленных в федеральной собственности пакетов акций нефтяных компаний, созданных и создаваемых в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, не осуществляется, Госкомимущество России выставило в 1995 г. на инвестиционные конкурсы (торги) и залоговые аукционы пакеты акций нефтяных компаний «Юкос», «Лукойл», «Сиданко», «Сургутнефтегаз» и других [2, с. 52]. Фактически произошла классическая для института условной собственности сделка – власть в обмен на собственность, а обладание властью позволило включится в новые процессы перераспределения собственности.

Сформировавшая в результате приватизации 90-х годов XX века структура собственности в российской экономике не является стабильной и может быть подвержена процессам деприватизации и реприватизации. Соответственно, деприватизация будет осуществляться в рамках заданных институтом власти-собственности скорее бюрократическим, чем демократическим путем. Реприватизацию, пользуясь предложенным Р.М. Нуреевым подходом [27], также можно разделить на государственно-бюрократическую и демократическую. В сложившихся институциональных условиях доминировать будет также государственно-бюрократический вариант. Формирование демократического варианта как деприватизации, так и реприватизации возможно при формировании мер экономической политики, которые отражают всеохватывающие интересы. Если, наоборот, доминируют узкие группы специальных интересов, то результатом этого является социально-неэффективная политика и бедность [73, P. 24].

Важным фактическим материалом, характеризующим эволюцию постсоветских власть-собственнических отношений, могут служить процессы, связанные с приватизацией земли сельскохозяйственного назначения бывших совхозов и колхозов. К 1994 году формально все совхозы и колхозы были преобразованы в различные хозяйственные общества (ТОО, АОЗТ, КСП), но они не были собственниками земли. Формально собственность стала принадлежать работникам таких предприятий, которые получили государственные документы о собственности на земельные доли. Но почти десять лет не существовало

эффективного прозрачного механизма выделения таких долей в виде конкретных земельных участков. Все сделки с землей (включая аренду) зависели от решений земельных комитетов различного уровня. Более того были сформированы значительные фонды распределения земли, получение земли из которых также зависело от отношений с властью. Сложившийся порядок позволил чиновникам влиять на процесс распределения наиболее ценных земель, а также извлекать из этого административную ренту и самим или аффилированными с ними лицами становится новыми собственниками [10, с. 27-40].

Дело даже не в том, что реализация власть-собственнических отношений при приватизации в целом неэффективна, а в том, что по другому, при существующих институциональной структуре хозяйственного порядка и социальном капитале, и быть иначе не могло. Российский хозяйственный порядок пройдя через «бутылочное горлышко» радикальной институциональной трансформации 80-90х годов XX века сохранил институт власти-собственности, который ему традиционно присущ. Более того, этот институт включает в себе признаки, приобретенные в ходе социалистического периода развития. Социальный капитал, основанный на коллективизме несвободных людей не позволяет в ближайшем будущем сформироваться группам со всеохватывающими интересами, в то время как группы узких специальных интересов, заинтересованные в сохранении института власти-собственности сохранились и постоянно эволюционируют и демонстрируют свою устойчивость. Поэтому быстрая трансформация неэффективного института власти-собственности невозможна и в лучшем случае это будет вариантом традиционной для России «экстенсивной модернизации» [3], которая не приводит к существенному улучшению социальных и экономических институтов. Но понимание исторической бесперспективности замыкания на власть-собственнических институтах и социальном капитале может способствовать формированию групп со всеохватывающими интересами, которые включатся в эволюционный процесс создания более эффективных институтов.

При разработке программ реформ, подразумевающих институциональные инновации, необходимо учитывать, что отбор эффективных институциональных альтернатив осуществляется в соответствии не столько с их экономической эффективностью, как устойчивостью [42]. Длительное доминирование института власти-собственности сформировало устойчивые стереотипы хозяйственного поведения, которые, в свою очередь, препятствуют эволюционному развитию институтов, благоприятствующих развитию рынков и конкуренции. Поэтому важно учитывать фактор сложившихся стереотипов поведения хозяйствующих субъектов и действия групп интересов, которые могут в конкретных исторических условиях выступать институциональными инноваторами.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Айала Ф., Кайгер Дж*. Современная генетика. Т. 3. М., 1988.

2. *Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993-2003 годы* (экспертно-аналитическое мероприятие) / Руководитель рабочей группы – Председатель Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашин. М., 2004.

3. *Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И*. История России: конец или новое начало? М., 2005.

4. *Вольчик В.В*. Зависимость от траектории предшествующего развития и эволюция института собственности в России // Историко-экономические исследования. 2005. Т. 6. № 2.

5. *Вольчик В.В*. Нейтральные рынки, ненейтральные институты и экономическая эволюция // Постсоветский институционализм / Под ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева. Донецк, 2005.

6. *Вольчик В.В*. Эволюционная парадигма и институциональная трансформация экономики. Ростов-на-Дону, 2004.

7. *Кантор В.К.* "...Есть европейская держава". Россия: трудный путь к цивилизации. Историософские очерки. М., 1997.

8. *Кёнингсбергер Г.Г*. Средневековая Европа 400-1500 годы. М., 2001.

9. *Кирдина С.Г*. X- и Y- экономики: Институциональный анализ. М., 2004.

10. *Клямкин И.М., Тимофеев Л.М*. Теневая Россия: экономико-социологическое исследование. М., 2000.

11. *Ключевский В.О.* Русская история: Полный курс лекций в трех книгах. Кн. 1. М., 1995.

12. *Кондратьева Т*. Кормить и править: О власти в России XVI-XX вв. М., 2006.

13. *Кулишер И.М.* История русского народного хозяйства. Челябинск, 2004.

14. *Лапина С.Н., Делюхина Н.Д*. Государственная собственность в России: некоторые исторические уроки // Собственность в России в XX столетии. М., 2001.

15. *Латов Ю.В.* Власть-собственность в средневековой России // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2004. Т. 2. № 4.

16. *Летенко А.В.* Российские хозяйственные реформы: История и уроки. М., 2004.

17. *Льюис Б*. Что не так? Путь Запада и Ближнего Востока: прогресс и традиционализм. М., 2003.

18. *Лященко П.И*. История народного хозяйства в СССР. Т. 2. М., 1952.

19. *Маевский В.И*. Эволюционная экономическая теория и некоторые проблемы современной российской экономики // Вестник молодых ученых. Сер. Экономические науки. 2001. № 2.

20. *Майр Э*. Зоологический вид и эволюция. М., 1968.

21. *Макаренко В.П*. Русская власть (теоретико-социологические проблемы). Ростов-на-Дону, 1998.

22. *Назаров В.И*. Эволюция не по Дарвину: смена эволюционной модели. М., 2005.

23. *Неволин К.А*. История российских гражданских законов // Неволин К.А. Полн. собр. соч. Т. 4. СПб., 1858.

24. *Нельсон Р., Уинтер С*. Эволюционная теория экономических изменений. М., 2000.

25. *Нефедов С. А*. Реформы Ивана III и Ивана IV: османское влияние // Вопросы истории. 2002. № 11.

26. *Норт Д.* Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2.

27. *Нуреев Р.М*. Государство: исторические судьбы власти-собственности // Материалы интернет-конференции «Поиск эффективных институтов для России XXI века» // http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/129880/

28. *Нуреев Р.М., Рунов А.Б*. Россия: неизбежна ли деприватизация? (феномен власти-собственности в исторической перспективе) // Вопросы экономики. 2002. № 6.

29. *Ойкен В*. Основные принципы экономической политики. М., 1995.

30. *Ойкен В*. Основы национальной экономии. М., 1996.

31. *Олсон М*. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция и социальный склероз. Новосибирск, 1998.

32. *Олсон М*. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. М., 1995.

33. *Пайпс Р.* Россия при старом режиме. М., 2004.

34. *Пайпс Р.* Собственность и свобода. М., 2000.

35. *Плискевич Н.М*. «Власть-собственность» в современной России: происхождение и перспективы мутации // Мир России. 2006. Т. XV. № 3.

36. *Полтерович В.М*. Институциональная динамика и теория реформ // Эволюционная экономика и «мейнстрим». М., 2000.

37. *Полтерович В.М.* Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука современной России. 2001. № 3.

38. *Поткина И.В*. Торгово-промышленное законодательство Российской империи // Экономическая история России XIX–XX вв.: современный взгляд. М., 2000.

39. *Прохоров А.П*. Русская модель управления. М., 2003.

40. *Розенберг Н., Бирдцел-мл. Л.Е*. Как Запад стал богатым. Экономические преобразования индустриального мира. Новосибирск, 1995.

41. *Российский статистический ежегодник* - 2004. М., 2004.

42. *Саймон Г.С*. Науки об искусственном. М., 2004.

43. *Спенсер Г*. Опыты научные, политические и философские. Т. 1. Минск, 1998.

44. *Теория хозяйственного порядка: «Фрайбургская школа» и немецкий неолиберализм*. М., 2002.

45. *Тимофеев Л*. Институциональная коррупция. М., 2000.

46. *Уильямсон О*. Экономические институты капитализма. СПб., 1996.

47. *Флетчер Дж*. О русском государстве. М., 2002.

48. *Фридмен М*. Методология позитивной экономической науки // THESIS. Т. 2. Вып. 4. 1994.

49. *Хайек Ф.А*. Дорога к рабству // Новый мир. 1991. № 7.

50. *Хайек Ф.А*. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992.

51. *Ходжсон Дж*. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории. М., 2003.

52. *Цирель С.В*. «Власть-собственность» в трудах российских историков и экономистов // Общественные науки и современность. 2006. №3.

53. *Чубайс И.Б*. Россия и Европа: идейно-идентификационный анализ. (Заметки консерватора) // Вопросы философии. 2002. № 10.

54. *Юрганов А.Л*. Удельно-вотчинная система и традиция наследования власти и собственности в средневековой России // Отечественная история. 1996. № 3.

55. *Acemoglu D., Johnson S., Robinson* J. Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth. P. Aghion, S.N. Durlauf (eds.). Handbook of Economic Growth. Vol. 1. New York, 2005.

56. *Acemoglu D., Robinson, J.A*. Political Losers as a Barrier to Economic Development // American Economic Review. 2000. Vol. 90. № 2.

57. *Alchian A.A*. Uncertainty, Evolution, and Economic Theory // Journal of Political Economy. 1950. Vol. 58. № 3.

58. *Arthur W.B*. Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Events // Economic Journal. 1989. Vol. 99. № 394.

59. *Arthur W.B*. Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. Ann Arbor, 1994.

60. *Black C*. Transformation of Russian Society. Cambridge (Mass.), 1960.

61. *David P.A*. Clio and the Economics of QWERTY // American Economic Review. 1985. Vol. 75. № 2.

62. *Dew N., Sarasvathy S.D., Venkataraman* S. The economic implications of exaptation // Journal of Evolutionary Economics, 2004. Vol. 14. № 1.

63. *Dopfer K*. Toward a theory of economic institutions: Synergy and path dependency // Journal of Economic Issues. 1991. Vol. 25. № 2.

64. *Fligstein N., Feeland R*. Theoretical and Comparative Perspectives on Corporate Organization // Annual Review of Sociology. 1995. Vol. 21.

65. *Glaeser, E.L., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., and Shleifer, A*. Do Institutions Cause Growth? // NBER Working Paper 10568. June 2004.

66. *Hodgson G*. Economics and Evolution: Bringing Life Back into Economics. Cambridge, 1993.

67. *Knudsen T*. Economic selection theory // Journal of Evolutionary Economics. 2002. Vol.12. № 4.

68. *Mayr E*. Toward a New Philosophy of Biology: Observations of an Evolutionist. Cambridge, 1988.

69. *Mokyr J*. Evolutionary phenomena in technological change // Technological innovation as an evolutionary process. Ziman J. (ed). Cambridge, 2000.

70. *Mokyr J*. Technological Inertia in Economic History // Journal of Economic History. 1992. Vol. 52. № 2.

71. *Nelson R.R*. Recent Evolutionary Theorizing About Economic Change // Journal of Economic Literature. 1995. Vol. 33. № 1.

72. *North D.C*. Structure and Change in Economic History. N.Y., 1981.

73. *Olson M. Jr*. The Devolution of the Nordic and Teutonic Economies // American Economic Review. 1995. Vol. 85. № 2.

74. *Papers and Proceedings of the Hundredth and Seventh Annual Meeting of the American Economic Association*. Washington, DC, 1995. January 6–8.

75. *Powell J. H., Wakeley T. M*. Evolutionary concepts and business economics: Towards a normative approach, Journal of Business Research. 2003. Vol. 56. № 2.

(НЕ)МЫСЛЯЩАЯ РОССИЯ. АНТИТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНСЕНСУС КАК ФАКТОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СТАГНАЦИИ[1]

Н.С. Розов
доктор философских наук,
ведущий научный сотрудник
Института философии и права
Сибирского отделения РАН,
профессор
Новосибирского государственного университета

Интеллектуальная засуха заливает нас
дождями слов
Станислав Ежи Лец

Интеллигентские разговоры — замещение интеллектуального творчества

Почему вместо судеб, достоинств и грехов российской интеллигенции следует обсуждать природу интеллектуальной стагнации в России?

Возобновившаяся вдруг дискуссия об интеллигенции[2] оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, действительно произошел подъем на новый уровень рефлексии (возможно, благодаря внешней позиции эмигрировавшего в Англию четверть века назад зачинщика дискуссии — А.Кустарева). Теперь социально-конфликтные и идейные основания привычных фигур поношения и превознесения интеллигенции проговорены, что должно послужить хоть каким-то противоядием. С другой стороны, даже в «новом раунде рефлексии» во многом воспроизводится бесплодный и бесперспективный «дискурс» бесконечного нытья разочарованных в жизни и себе чеховских интеллигентов, смешанный с критиканством, утопизмом и ложным глубокомыслием советских кухонь. Разговор о себе — это действительно «важнейшая форма суще-

[1]Работа выполнена в рамках Комплексного интеграционного проекта СО-РАН 2006 № 7.4

[2] См.: [14]. Тематические разделы: «Интеллигенция» (Логос. 2005. № 6), «Интеллигенция — новый раунд рефлексии» (Неприкосновенный запас. 2006, №3), ряд материалов и обсуждений в Интернете.

ствования» российской интеллигенции,[3] но из данного тезиса следует выводить отнюдь не оправдание «нового раунда рефлексии», а указание на то, что следует, в конце концов, заняться чем-то более существенным и плодотворным.

Вместо обсуждения и тем самым умножения интеллигентских разговоров, которых предостаточно, я предлагаю обсудить интеллектуальное творчество и причины того, почему его в современной России прискорбно мало, причем, мы к этому привыкли и считаем нормальным состоянием.

Увы, фигура «интеллектуала» в отношении к «интеллигенту» уже стала одной из главных тем нынешнего «раунда рефлексии». В начальной рубрике «Интеллигент и интеллектуал» статьи «Интеллектуалы» Виталий Куренной сочувственно приводит пространную цитату из «Священной книги оборотня» Виктора Пелевина, где различение интеллигенции и интеллектуалов проводится посредством весьма брутальной политико-сексуальной метафоры [13, с. 7]. Следует признать, что Пелевин точно ухватил суть новоинтеллигентской фобии по отношению к таинственной и инфернальной фигуре «интеллектуала»: его нечестивая близость к власти, тотальный цинизм и продажность, титаническая энергия и эффективность, оставляющая старорежимных интеллигентов абсолютно неконкурентноспособными.

Хорошо, что кроме этих мифологем есть ясное, четкое и вполне нейтральное социологическое понятие: «Интеллектуалы — это люди, которые производят деконтекстуализированные идеи. Предполагается, что эти идеи верны или значительны вне каких-либо местных условий, какой-либо локальности и вне зависимости от того, применит ли их кто-либо на практике» [12, с. 65]. Далее я буду использовать термин именно в этом социологическом значении. Соответственно, интеллектуальная стагнация — это затяжное и ставшее привычным отсутствие самостоятельного производства идей, значительных самих по себе, вне зависимости от политической конъюнктуры или какой-либо видимой практической пользы.

«Мыслящая Россия» — тотальный дефицит творческого научного мышления

Обратимся к картине современного состояния социально-гуманитарной мысли в России. Сейчас появилась возможность не только следовать своим субъективным впечатлениям и оценкам относительно этого состояния, но также опираться на обобщение взглядов достаточно широкого круга солидных экспертов. Посмотрим, как представляют ситуацию участники проекта, названного достаточно помпезно «Мыслящая Россия: картография современных интеллектуальных направлений».

Симон Кордонский: «Социальные ученые в большинстве своем такие же обыватели, как и играющие на лавочке в шахматы пенсионеры, только их мне-

[3] См. редакционное предисловие к указанному разделу журнала: НЗ. 2006. №3. С.3.

ния, верования и предрассудки выражаются калькированными с английских терминов словами» [18, с. 27].

Вадим Радаев прямо пишет о загнивании и нереформируемости академических институтов, об отсутствии мобильности и ротации кадров даже в лучших университетах (сам В.Радаев — проректор Высшей школы экономики), о полупрофессионализме, низком уровне исследований, цинизме и «прагматическом психозе» молодежи [10, с. 35-45].

Борис Дубин сетует на отсутствие значительных интеллектуальных событий при видимом обилии «интеллектуальных журналов» [9, с. 50-57].

Александр Иванов указывает на уход гуманитарности из российской жизни, на то, что наше время — «это годы невероятно бедные в интеллектуальном и духовном отношении» [19, с. 56].

Борис Капустин отмечает, что «при нынешних гораздо больших возможностях для свободомыслия, чем в советский период, наша политическая теория *в целом* выглядит более робкой, приручennой и какой-то вторичной, чем, во всяком случае, неофициальная политическая мысль советского времени» [21, с. 63]. Справедливости ради нужно признать, что Б.Капустин с оптимизмом смотрит на молодое поколение российских политических философов.

Олег Кильдюшев пишет о «концептуальном кризисе русской внешнеполитической мысли» [11, с. 161].

Александр Филиппов развивает свой давний тезис «Теоретической социологии в сегодняшней России нет» [28, с. 185-204]. Еще в середине 1990- гг. он писал о том, что «у нас нет обширных и постоянных коммуникаций, тематизирующих, прежде всего фундаментальную социологическую теорию, нет обширных концептуальных построений, нет достаточно самостоятельных последователей (во всяком случае, круга последователей) какой-либо признанной западной школы, нет и заметных претензий на создание своего собственного большого теоретического проекта» [28, с. 185]. Теперь, как признает А.Филиппов, вроде бы «процесс пошел», создано множество кафедр, лабораторий, журналов, появляются огромные объемы печатной продукции с этикеткой «социология», но реальных достижений в теоретической социологии, по мнению Филиппова, нет как нет. «Что сюда только не подмешивается! – патетически восклицает он, – И плохо переваренная русская религиозная философия начала прошлого века, и дурная историософия, и темные рассуждения о материях *как* бы естественно-научных (от биологии до географии) и т.п.» [28, с. 189].

Лев Гудков гораздо более благожелательно пишет о центрах эмпирических социологических исследований (будучи сам сотрудником бывшего ВЦИОМа, ныне — Левада-Центра), но его критика «сознания российской социологии» оказывается не менее жесткой, чем у цитированных выше авторов. «”Слепым пятном” исследовательской оптики и сознания российской социологии является все, что относится к тоталитарному прошлому страны: антропология советского человека, имперские традиции, культура патернализма, т.е. сам

характер крайне репрессивного и внутренне агрессивного общества. Пытка уйти, не замечать это прошлое, акцентируя нынешнюю тематику «транзитологических подходов» или опасности глобализации для России, оборачивается возрождением геополитических идеологических конструкций о месте и приоритетах России как великой державы. Социологические журналы и учебники полны разнообразными рассуждениями об «особости российского пути», с одной стороны, и навязчивыми попытками измерить, насколько мы соответствуем параметрам «нормальной цивилизованной страны» — с другой» [5, с. 219].

Виктор Воронков фиксирует практически полное тождество официальной постсоветской и советской социологии и указывает на характерные общие черты. «Хотя формально социология в России уже, разумеется, советской себя не называла, однако все родовые черты последней (ангажированность и партийность — теперь многопартийность, отделение преподавания от исследований, слабое знание социальной теории и отсутствие к ней интереса, приоритет общественной актуальности перед научной, неразвитость дискуссии, отсутствие рефлексии, жесткая формальная иерархия, абсолютизация количественных методов, господство структурного функционализма в методологии) сохранились и не претерпели существенных изменений» [3, с. 222].

Затем В. Воронков (директор Центра независимых социологических исследования в Санкт-Петербурге) поет оду «альтернативной социологии», которая обособилась от официальной 1) институционально, 2) в кадровом отношении (новая генерация социологов с западным образованием) и 3) в концептуально-методическом плане (отказ от позитивизма, приверженность «полипарадигмальности», социальному конструктивизму, этнометодологии, феноменологии, феминистской критике и качественным методам). К сожалению, В.Воронков не приводит примеры значимых плодотворных исследований и достижений «альтернативной социологии», зато достаточно трезво указывает на такие ходовые в данных сообществах стратегии как «съем».

«Чаще всего ученый брал вычитанную идею в ее первозданности, упаковывал ее в российский материал и публиковал как собственный вклад в науку» [3, с. 227]. Оправдание же такого подхода видится в том, что «широкие социологические массы» получают возможность познакомиться с новыми заморскими идеями».

Судя по обзорам Р.Дзарасова, Д.Новоженова и В.Новикова в отечественной экономической науке ситуация существенно лучше. Есть несколько артикулированных и дискутирующих друг с другом научных школ (эволюционно-регулятивная и радикальная школы, либералы-неоклассицисты, либералы-«австрийцы», неоинституционалисты и др.). К сожалению, относительно благополучное развитие экономической науки никак не влияет на саму экономику страны, судя по всему, стагнирующую, преимущественно экспортно-сырьевую и чреватую кризисами. Неслучайно, спорящие между собою школы объединяет

только одно: каждая школа проводит резкую критику сложившейся в стране экономической системы, а также критикует власть, особенно за то, что та не следует рекомендациям именно данной школы экономической мысли.

Гораздо менее благополучна ситуация с российской демографией, как реальностью, так и наукой. А.Вишневский рисует картину удручающего контраста между звонкой политической риторикой относительно проблем народонаселения и плачевным состоянием научной демографии в России (до сих пор нет специализированного института, почти все исследования выполняются на зарубежные гранты, молодых кадров нет, лучшие уезжают за рубеж, не видя здесь перспектив и.т.д.) [7, с. 257-272].

Регионалистика, судя по авторитетным суждениям Ю.Перелыгина [23, с. 299-306] и В.Глазычева [1, с. 307-316], находится на робкой начальной стадии развития, примерно сходной с ситуацией советской социологии в 1960-х гг.

Три статьи о восприятии современной российской мысли во Франции, Германии и США [16; 8, с. 319-352] имеют общий и предсказуемый лейтмотив: Россия для указанных стран остается далекой и, мягко говоря, не самой интересной периферией, отношение к ней преимущественно объектное (изучать, что там происходит), а не субъектное (интересоваться тем, о чем думают и пишут сами русские). Музыка, театр, кино из России привлекают некоторое публичное внимание, сохраняется уважительное отношение к российским достижениям в математике и естествознании, тогда как современная философия, социальные и гуманитарные науки почти никакого интереса не вызывают. Можно, конечно, сетовать не вековечный снобизм Запада по отношению к России, но с важной поправкой: в свое время труды многих русских ученых-гуманитариев получали признание и даже вошли в классику мировой мысли (буддолог Ф.Щербатской, политический писатель Л.Троцкий, психологи Л.Выготский и А.Лурия, филологи М.Бахтин, В.Шкловский, В.Пропп, Р.Якобсон и др.).

Примечательным оказывается полное изъятие философии из «картографии интеллектуальных направлений» современной России. Подозревать в неприятии этой важнейшей сферы мышления автора проекта В.Куренного не приходится (журнал «Логос», в котором он является научным редактором, отслеживает современные проблемы и идеи философии, правда, преимущественно, западные). Остается признать либо упадок отечественной философии, либо падение интереса к ней интеллектуального сообщества, либо взаимоусиление обоих факторов. Грустно, что мой давний тезис о глубоком и затяжном кризисе отечественной философии, ее периферизации, подтверждается [27, с. 551-579].

Почему российская геополитика не становится наукой

Геополитика — пожалуй, наиболее популярная тема в публицистике и политической риторике. Не говоря уж о том, что имеется гораздо больше претендующих на профессиональную компетентность в геополитике, чем в экономи-

ке, социологии, регионалистике, демографии. Интерес и общественное внимание есть, исследовательские центры есть во множестве. Однако значимого продвижения в данной области российского обществознания пока не замечено. Почему? Рассмотрим этот вопрос подробнее, может быть, это приблизит нас к пониманию общих причин интеллектуальной стагнации.

Статья Бориса Межуева подтверждает ощущение крайней идеологизированности, ангажированности, весьма низкого собственно научного и исследовательского уровня данной области социального познания [17, с. 284-298]. Апелляции отечественных авторов к стародавним идеям Маккиндера и Хаусхофера показывают также удручающее невежество по отношению к по-настоящему научным зарубежным концепциям последних десятилетий. Мои попытки ознакомить с ними отечественных «геополитиков», как видно, не увенчались успехом [2].

Любопытно, что и сам Борис Межуев, судя по всему, не видит значимости и перспектив собственно научных: эмпирических и теоретических исследований в области геополитики. Присмотримся к следующему пассажу:

«Пока большая часть вышеуказанных течений продолжает развиваться скорее в рамках более или менее обоснованных публицистических деклараций. […] Геополитические школы в России пока не представили убедительных политико-географических аргументов в свою пользу. *В какой-то мере виной тому принципиальная зависимость геополитики от внешнеполитической конъюнктуры: те или иные процессы на поверхности земного шара неизбежно вносят коррективы в самые изощренные и на первый взгляд хорошо обоснованные геополитические концепции»* [17, с. 298. Выделено мной — Н.Р.].

Итак, обоснованных научных концепций в российской геополитике нет, поскольку «процессы» вносят в них «коррективы», а поэтому данные концепции вынуждены оставаться публицистическими (читай, конъюнктурными и сиюминутными). Что же такое «коррективы» для настоящей научной концепции или гипотезы? Это подарок судьбы, естественный эксперимент, ценнейшая эмпирическая проверка. А вот если «коррективы» мешают концепциям, значит, изначально в них не было ни грана научности, объективности, обоснованности, что, собственно и требовалось доказать.

Впрочем, отрицание возможностей собственно научных геополитических исследований — это, видимо, не обсуждаемое и само собой разумеющееся общее место среди авторов, пишущих на данные темы. Оставим в покое «идеологов» и «вождей», использующих геополитический дискурс как новую мифологию, символ веры или риторическое орудие. Действительно интересный, самостоятельно мыслящий исследователь Вадим Цымбурский пишет, что геополитика «начинается там, где налицо — пусть в замысле или умственной модели — волевой политический акт, отталкивающийся от потенций, усмотренных в конкретном пространстве», «восприятие мира в политически заряженных географических образах» и т.п. [29].

Здесь явственно видно смешение геополитики как реальности (взаимодействия между сообществами относительно военно-политического контроля над территориями и акваториями) и геополитики как дисциплины, изучающей эту реальность. Такое раздвоение значений (область реальности и изучающая ее наука) характерно для множества других терминов (история, экономика, география, геология, демография, анатомия, физиология и проч.), но в них почему-то путаницы не возникает. В реальных политических решениях и действиях действительно присутствуют осознанные или нет геополитические модели и концепции, но то же касается экономической, культурной, демографической, экологической политики.

Кроме того, нет никаких весомых причин для отказа от стандартного разделения научной дисциплины геополитики на *фундаментальную* (чем занимались в свое время К.Уолтц, Р.Коллинз, А.Стинчкомб. Р.Гилпин, Дж.Модельски, Дж.Тернер, Д.Додни, Дж.Паркер и др.) и *прикладную* (работы Г.Киссинджера, Зб.Бжезинского и др.). Действительно, у классических авторов, начиная с Ф.Ратцеля и Р.Челлена, можно видеть синкретическое единство фундаментального и прикладного (в том числе политико-идеологического) аспектов, но даже в их трудах вполне можно отделить нейтральные концептуальные модели от политических установок, идеологических ценностей и практических рекомендаций. Почему отечественные авторы обрекают и современную науку геополитику в России на участь аморфной полу-науки-полу-идеологии-полу-политической-практики, остается неясным.

Причины интеллектуальной стагнации

Сборник «Мыслящая Россия» позволяет теперь говорить о стагнации всей социально-гуманитарной мысли в России, несмотря на растущее обилие книг и статей (см. эпиграф из «Непричесанных мыслей» Ежи Леца) и отдельные неплохо поставленные отрасли исследований (экономический и демографический анализ, социологические опросы). Сам проект «Мыслящая Россия» хорош, прежде всего, тем, что был поставлен жесткий диагноз: *Россия оказалась немыслящей, или же мыслящей плоховато, неряшливо и провинциально.*

Каковы же причины интеллектуальной стагнации? Разделим их на внешние, относящиеся к социальному бытию самих интеллектуальных сообществ и их окружения, и внутренние, относящиеся к образу мыслей, ментальным стереотипам, установкам и предубеждениям, «слепым пятнам» сознания и проч. (Если угодно, можно сопоставить внешние и внутренние причины с достопамятными «социальными и гносеологическими корнями»).

Многие внешние причины широко известны и проговорены, в том числе участниками проекта «Мыслящая Россия»:

- инерция советской системы организации науки,
- захват ключевых позиций академической номенклатурой, заинтересованной лишь в сохранении своего положения,

- отсутствие систематических дискуссий между разными позициями и школами,
- слабость или отсутствие реального взаимодействия между фундаментальными исследованиями и прикладными разработками,
- отрыв исследований (в НИИ) от преподавания (в университетах),
- сугубо инструментальное отношение власти к социальным исследованиям («если не пиар нам, то секвестр вам»),
- «партийность» и низкопоклонство научных журналов (своим и начальству — «зеленая дорога», чужим и безвестным проникнуть весьма трудно, беспристрастное рецензирование — редкость) и т.д.

Остаются актуальными более глубокие, неявные причины:

- сохраняющаяся система дисциплинарного финансирования исследований, препятствующая межнаучной кооперации [27, с. 570-571],
- господствующая система оценки научного труда, стимулирующая регулярные публикации (на основе мелких исследований или вовсе при отсутствии таковых) и не стимулирующая долговременные, трудозатратные штудии,
- устойчивое взаимное равнодушие российских исследователей, в результате чего новые идеи и направления не поддерживаются, не получают отклика и гаснут,
- общая заниженность стандартов научной квалификации (особенно в провинции) и т.д.

Анализ внутренних причин интеллектуальной стагнации, проведенный Р.Коллинзом (утеря культурного капитала, комментаторское поклонение классике и погруженность в технические детали) [12, с. 655-659] может быть прямо приложен к проблеме интеллектуального кризиса в современной России [26, с. 118-124], но при некоторых модификациях модели картина становится яснее.

Речь сейчас нужно вести не об утере ранее накопленных достижений (это было верно для обрыва традиции после «философского парохода» и «великого перелома» конца 1920-х гг.), а о том, что *в сегодняшней России культурный капитал в социальных науках и философии практически перестал накапливаться.* Каждая новая волна интеллектуальной моды (из тех же США, Франции и Германии) почти полностью смывает предыдущие волны и обесценивает ростки самостоятельных исследований. Постструктурализм, постмодернизм, социальный конструктивизм, анализ случаев, дискурс-анализ захватывают умы, дискредитируя прежние подходы. Разумеется, кроме широких сменяющих друг друга волн, есть также параллельное одновременное влияние разных европейских и американских школ мысли на отдельные российские центры, но здесь глухота к прошлому оборачивается глухотой к чужакам.

Комментаторское поклонение классике, ярко выраженное в советскую эпоху по отношению к «классикам марксизма-ленинизма», теперь сменилось *комментаторством по отношению к новым модным зарубежным книгам и*

веяниям. Что встречается редко, так это чрезмерное внимание к техническим деталям. До этой фазы отечественные гуманитарии обычно не успевают дойти, поскольку их захлестывает новая волна интеллектуальной моды.

Антитеоретический консенсус — апология лености мысли

При всех этих многочисленных поворотах, как ни странно, сохраняется некая общая платформа, причем негативного характера. С упорством, достойным лучшего применения, философы, представители социальных и гуманитарных наук выражают свое презрение к «позитивизму», «мифам объективного знания», «линейности мышления», «абстрактным конструкциям», «кабинетной науке» и т.д. Вполне можно допустить частичное оправдание каждой инвективы, но я хочу обратить внимание на другое: вместе с грязной водой выбрасывают и ребенка — эмпирически подкрепленное теоретическое знание.

Соответствующую установку следует назвать широким *антитеоретическим консенсусом.* Именно ему была обязана бурным восторгом и до сих пор сохраняющейся популярностью книга Т.Куна «Структура научных революций». С тех пор утекло много воды, но антитеоретический консенсус среди социальных исследователей по-прежнему жив и процветает, переживая новые и новые накаты западных интеллектуальных мод. [4]

Нельзя сказать, что данная методологическая установка — исключительно отечественное достояние. Те же постмодернизм и социальный конструктивизм постоянно направляют свои критические стрелы против теоретического подхода и объективности знания. Однако в более развитой и уравновешенной западной интеллектуальной среде такие позиции *никогда не становились монополистами,* им всегда противостояли приверженцы эмпиризма, логицизма, номологизма, научного реализма, натурализма, разного рода объяснительных и тео-

[4] Приведу характерную цитату, в которой критика политологии фактически представляет типичное неприятие самого теоретического подхода. Здесь есть и вековечные предубеждения относительно «уникальности» и «неповторимости» «глубоко человеческих» явлений, и разоблачение неадекватности общего научного изучения «особой» и «нецивилизованной» России, и восхваление обыденного и «вольноязыкого» подхода в противовес строгому научному языку («птичьему формализованному»), в противовес общей, выраженной в научных понятиях, теории. «Уж больно странно, чтобы живую, иррациональную, эмоциональную, страстную человеческую деятельность, каковой является политика, можно было описать птичьим формализованным языком. Это под силу только науке исторической, оперирующей категориями оценочными, а языком — обыденным. Даже когда это та отрасль, которая именуется current history — текущей историей. Дело в том, что политолог не решается признать уникальность наблюдаемого процесса, а потому не переходит на обыденный язык, являющийся единственно адекватным современной российской политике, особенно когда речь идет о побудительных мотивах действий власти. Политолог не в состоянии признать их глубоко человеческий, обыденный — а значит, глубоко индивидуальный и неповторимый — характер. Это понятное дело, старая дискуссия о возможности исторической генерализации и неизбежности исторической индивидуализации. Политология вообще хороша там, где уже есть устоявшийся конвенционализм, где ясно, какие цели являются значимыми, что хорошо и что плохо. Одним словом, политология уместна там, где она и возникла,— в современном цивилизованном обществе. То есть в обществе открытом, информационном, демократическом, политкорректном. Где политический язык при всей его условности все ж таки понятен всем. Где есть сообщения, а не сигналы. Где причины имеют следствия, где сказавши «а», говорят «б ». Россия же принадлежит иной науке — вольноязыкой истории, допускающей любые способы вербализации и формализации наблюдений над действительностью. [30, с. 221].

ретических подходов. В России широким консенсусом стала именно антитеоретическая установка.

Заметим, что эмпиризм и «позитивизм» достаточно развиты в отечественной социологии, экономике, регионоведении, демографии, пусть даже сами исследователи, ведущие эмпирические исследования и получающие положительное (позитивное) опытное знание, не признаются в своих методологических склонностях. Чего нет в наших социальных науках (за весьма редкими исключениями), так это настойчивой воли к формулированию и проверке теоретических гипотез на основе эмпирических сравнений, обобщений и опоры на уже имеющееся теоретическое знание.

Антитеоретический консенсус — лучшее самооправдание отсутствия интеллектуального творчества и лености мысли.

Заменители: «радость узнавания» и «разоблачение неадекватности»

Что же остается вместо этого? Наиболее распространенными представляются два взаимосвязанных явления (или как принято сейчас выражаться: «фигур речи»), которые я предлагаю назвать «радость узнавания» и «разоблачение неадекватности».

«Радость узнавания» — это основа той самой стратегии «съема», когда в местном материале удается обнаружить реалии, подходящие новым, модным и активно обсуждаемым понятиям в западной науке.

«Разоблачение неадекватности» — это привычные сетования на то, что западные понятия, в том числе классические и широко используемые, не имеют прямых (или вообще каких-либо) денотатов в российской действительности.

Общее в этих двух феноменах — сосредоточенность исследователей на операции интерпретирования теоретических понятий, операции важной, но частной и технической. Заметим, что оба этих феномена характерны, в том числе, и для добротных творческих работ авторитетных исследователей. Возьмем в качестве примера методологическое введение Л.Гудкова к его сборнику статей «Негативная идентичность». «Арсенал западных социальных наук обнаружил свою ограниченную пригодность и дескриптивную неадекватность. […] Язык западной социологии был разработан для изучения принципиально иных институциональных систем, действовавших по иным правилам, нежели мобилизационное и милитаризованное советское общество-государство и многое сохранившая от него постсоветская Россия. В особенности это заключение справедливо для всего, что относится к "нормальному", рутинному режиму функционирования общества: в наших условиях такие категории, как, например, "социальная стратификация", "средний класс", "представительская политическая система", "президентская республика", "этика предпринимательства", "разделение властей", "элита", "гражданское общество" и прочее, имеют фантомный и идеологический характер» [6, с. 6].

Как видим, «разоблачение неадекватности» здесь выражено весьма сильно и убедительно. Имеется ли в книге второй феномен — «радость узнавания»? Он также присутствует, причем концепты для узнавания прямо указаны в следующей же фразе:

«Напротив, понятия "аномия", "посттравматический синдром", неформальное или гетерогенное право, монополия на насилие, "комплекс узилища", "ритуалы деперсонализации" и прочие в том же роде оказываются вполне эффективными и полезными в работе» [6, с. 6].

Книга Л.Гудкова выгодно отличается обилием позитивного эмпирического материала, интересным и содержательным обсуждениями. Как же обстоит дело с теоретическим осмыслением? Увы, за пределы исторических интерпретаций и типологизации автору выйти не удалось. Нет ни явно сформулированных гипотез, ни попыток проверки.

Метафора не заменяет теорию

Практически в каждой статье сборника Л.Гудкова вместо теоретической модели довлеет органицистская метафора с сильными оценочными коннотациями: состояние современной России является не переходом (к чему-то иному и лучшему), а результатом «разложения» прежней тоталитарной системы, которая сама по себе была очень плоха.

Жесткие исторические интерпретации событий и процессов последних 15-20 лет, по сути дела, являются развертыванием вышеуказанной фигуры «разоблачение неадекватности». Практически все социальные и политические инновации (выборы, демократия, многопартийность) получают приставки «всевдо» и «квази», а обычно одобряемые явления (идентичность, солидарность, мобилизация) — атрибут «негативный». Соответственно, постсоветский человек с его «негативной идентичностью» — это тип «лукавого раба», очередная модификация «советского человека» как устойчивой антропологической структуры, главного и весьма уродливого продукта той самой тоталитарной системы [6, с. 494].

Здесь я не хочу спорить с данной интерпретаций (в ней есть и убедительность и большой провокативный потенциал), а только указываю на отсутствие общих теоретических положений, которые другие исследователи могли бы проверять или использовать в своей работе.

Связано ли пренебрежение теоретическим подходом (систематической работой по формулированию и эмпирической проверке общих гипотез) с отмеченной выше «забывчивостью» отечественного обществознания — его подверженностью новым и новым волнам западной интеллектуальной моды, смывающим прежние темы, понятия и подходы?

Оказывается, связано, причем прямо и непосредственно. Теоретические положения были и остаются стержнем накопления обобщенных знаний, таких, которые могут быть использованы для получения новых знаний в другом месте

и времени. Теории и методы (а последние всегда основаны на явных или неявных теоретических предпосылках) — ядро культурного капитала науки. Стагнация наступает не только при *забвении* накопленного культурного капитала, но и *при отсутствии самих структур и механизмов накопления*.

Вернемся к книге Л.Гудкова, являющейся к настоящему времени наиболее эмпирически обоснованным, комплексным и продуманным взглядом на происходящие в современной России процессы.

Почему стержневая в книге органицистская метафора разложения системы и продуктов тоталитаризма при всей своей публицистичной яркости и провокативности не способна выполнять функцию накопления обобщенного знания? В ней есть лишнее, но нет необходимого. Лишней является нескрываемая негативная оценка (разложение – гниение – деградация), переводящая разговор, даже помимо воли автора, из научного плана в публицистический и идеологический. Необходимым же является явное выделение параметров (качеств, переменных) по которым происходит или не происходит трансформация социальных структур и институтов, общественного сознания, требуется также формулирование и проверка общих гипотез об условиях изменения значения этих переменных в том или ином направлении.

Основной структурный параметр, волнующий Л.Гудкова, вполне можно реконструировать. Это уровень самостоятельной и продуктивной гражданской самоорганизации и активности, способный привести к существенным позитивным изменениям в институциональной структуре общества. Автор постоянно фиксирует отсутствие такой самоорганизации и активности (низкие значения переменной), довольствуясь объяснением этого устойчивого феномена неизменными свойствами (пост)тоталитарных институтов. Последние благополучно пережили перестройку и последующее десятилетие, причем наиболее устойчивой оказалась структура самого (пост)советского человека — «лукавого раба».

За этими суждениями стоят неявные предпосылки, которые, будучи сформулированными, могли бы играть роль универсальных гипотез в смысле К.Гемпеля [4, с. 13-26].

- При разрушении общественных систем тоталитарного типа сформированные структуры (в том числе типовые структуры личности) сохраняются.
- Эти сохранившиеся структуры полностью блокируют продуктивную гражданскую самоорганизацию и активность.

Здесь в мои задачи не входит содержательное обсуждение верности или неверности этих или подобных теоретических утверждений. Мне важно показать, как работа с ними позволяет развивать теоретический подход. Как только универсальные суждения сформулированы, появляется возможность сопоставлять их с известным историческим разнообразием. Очевидно, что наибольший интерес представляют случаи более или менее успешного преодоления или самоизменения тоталитарных или близких к тоталитарным режимов (Германия,

Италия, Испания, Чили, Китай, страны Центральной Европы). Кроме того, в самой России имеется большое разнообразие и по уровню сохранности тоталитарных структур, и по уровню гражданской активности. Есть неплохие возможности исследовать *дифференцирующие условия,* определяющие стагнацию или динамику. Обобщенные теоретические результаты таких исследований составили бы «золотой запас» — тот самый культурный капитал интеллектуалов, который уже не смыть новомодными веяниями.

Кроме того, приходится напоминать и о непреходящей значимости старой истины: нет ничего практичнее хорошей теории. Л.Гудков направляет резкие, судя по всему, вполне справедливые инвективы в сторону «интеллектуальной элиты», неспособной представлять обществу осмысленный образ происходящего, ставить позитивные цели и т.д.

Представим в порядке мысленного эксперимента, что эта «элита» прониклась воззрениями Л.Гудкова относительно неизбывности тоталитарных институтов, безнадежности антропологической структуры «советского человека» — «лукавого раба» и т.п. В таком случае видятся три основных пути: либо цинично встраиваться в систему, не противостоя ее порокам, но используя их в узкоэгоистических целях, либо презрительно отойти в сторону (известная стратегия внутренней эмиграции), либо вовсе уезжать из этой «безнадежной страны».

Ни один из этих путей никак не отвечает заявленной ценности гражданской продуктивной самоорганизации и активности. Если же интеллектуалы будут осведомлены о дифференцирующих условиях динамики институтов и «антропологических структур», в идеале — о необходимых и достаточных причинах действительного (не декоративного, а сущностного) преодоления тоталитарного наследия, то появятся и фокус общего внимания, и поле для дискуссий, и новые цели и символы, и точки приложения сил.

Успешная теоретизация как счастливое сочетание обстоятельств и практик

Итак, одной из главных внутренних причин интеллектуальной стагнации в современной России является широко распространенный антитеоретический консенсус. Хорошо известны все применяемые аргументы против «иллюзий» позитивизма, объективизма, сциентизма, натурализма, т.е., по сути дела, против общенаучного подхода к выявлению закономерностей и фиксации их в эмпирически подкрепленных теоретических положениях. Возобновление этого старого спора представляется бесперспективным, поскольку широкое распространение и воспроизводимость феномена антитеоретического консенсуса в социальных науках в мире и, особенно, в России имеет не столько рациональные и методологические, сколько более глубокие, обычно не проговариваемые, социальные и психологические причины.

Рассмотрим вначале общие характеристики и условия социальных исследований, а затем специфически российские.

Обычно приверженцы номологического подхода (К.Поппер и К.Гемпель — самые яркие авторы) представляли его как общенаучную обязательную норму, что вызывало у гуманитариев понятный протест. Я же постараюсь показать, что *успешно используемый в естествознании подход является, скорее, счастливым сочетанием необходимых и достаточных компонентов, которое превратилось в обычную практику, получившую нормативный статус.*

Получение нового теоретического результата — это изысканное блюдо, для изготовления которого нужны особые, специально предназначенные ингредиенты. Если же таковые по каким-то причинам не известны или не доступны, то блюда получаются гораздо менее вкусными, что также становится обычным и получает свое оправдание (рационализацию) в виде антитеоретического консенсуса.

Компоненты успешности теоретического подхода хорошо известны:

- Познавательная цель, направленная на исследование общих закономерностей, причин и механизмов динамики изменения явлений.
- Систематическое эмпирическое исследование разнообразия случаев динамики с целью выявления инвариантов.
- Опора в осмыслении выявленных инвариантов на теоретические результаты прошлых исследований (часто чужих и отдаленных).
- Формулирование общих гипотез, поддающихся операционализации.
- Сопоставление случаев с различными значениями заданных параметров и последующие выводы относительно гипотезы.
- Проверка эмпирической подкрепленности гипотезы другими исследователями на другом материале, при положительном результате — пополнение (аккумуляция) общепризнанных теоретических положений.

Теперь покажем, что буквально каждый компонент оказывается проблематичным в сфере социальных исследований.

Почему требуемые ингредиенты отсутствуют

Познавательная цель, направленная на исследование общих закономерностей, причин и механизмов динамики изменения явлений. Такие цели в социальных науках не ставятся, в первую очередь, в силу самого сложившегося антитеоретического консенсуса (таким образом, здесь есть усиливающая обратная связь), но имеются и иные причины. Для выявления общих закономерностей необходимо обобщение разных явлений, но в социально-исторической действительности эти явления происходят в разных местах и в разное время, поэтому познавательный доступ к ним весьма затруднен.

Данное препятствие не является непреодолимым. Западные ученые используют большой массив результатов по теме, ранее полученных другими исследователями, причем в некоторых областях (антропология, социальное раз-

витие, экономика, политика) эти результаты даже объединены в обширные базы данных. При достаточном финансировании есть возможность организовывать исследования по единой программе в разных регионах и даже странах. Ясно, что возможности отечественных исследователей в данном аспекте, как правило, гораздо хуже. Поэтому работает принцип «виноград зелен».

Систематическое эмпирическое исследование разнообразия случаев динамики с целью выявления инвариантов. Здесь причины те же, но кроме внешней есть и внутренняя познавательная сложность: социальные реалии, конкретные обстоятельства и контекст, исторические корни изучаемых феноменов всегда разнообразны. Выработка и обоснование критериев допустимого отвлечения от различий, встраивание самих различий в методологию исследования — крайне сложная и кропотливая работа, не обещающая быстрого и яркого эффекта.

Поэтому зачастую выигрывает *идеология идиографии и предметного эксклюзивизма*, которая в пределе выражается примерно так: «мой материал исключителен; если когда-то и где-то происходило что-то подобное, то это поверхностные аналогии, не стоящие серьезного внимания; вместо поиска химеры «общих закономерностей» каждый должен детально и глубоко изучить только свой участок, сам не лезть на чужие и гнать со своего чужаков-теоретиков».

Опора в осмыслении выявленных инвариантов на теоретические результаты прошлых исследований (часто чужих и отдаленных). Прежде всего, проведем различение между «опорой на прежние теоретические результаты» и описанной выше «радостью узнавания». В последней исследователь подводит обнаруженное явление под известную (обычно модную западную) категорию. Опора на теоретический результат, разумеется, также предполагает множественные сопоставления явлений с понятиями, но этим не ограничивается. Прежний теоретический результат либо проверяется на новом материале, либо встраивается в объяснительную схему, что позволяет формулировать новые «надстроенные» общие гипотезы. Последние операции применяются крайне редко в большинстве социальных наук (может быть, за исключением таких математизированных областей, как экономика и демография). Общая трудность — слабая разработанность удобных компактных языковых средств представления нечисленных теоретических результатов и/или неумение пользоваться такими средствами.[5] В российских социальных науках положение усугубляется весьма малым (или вовсе отсутствующим) накоплением общезначимых теоретических результатов: не на что опираться и нечего проверять.

Кардинальной значимостью обладает *использование ранее полученных теоретических суждений в последующих исследованиях в качестве основания*, здесь пересекаются "территории" методологии и социологии науки. Почему же в одних областях (социогуманитарном познании) ученые склонны игнорировать прежние теоретические суждения, заявляя собственную альтернативную

[5] Систематическая инвентаризация методических, логических, языковых и графических средств была проведена в книге [22, Ч. II].

позицию, а в других областях (естествознании и математике) они зачастую берут такое суждение в качестве основания и продвигают дальше исследовательский фронт? Почему в одном случае чье-то теоретическое суждение воспринимается как препятствие, а в другом — как трамплин к новым собственным свершениям?

Представляется, что в корне данного различия лежат три тесно взаимосвязанных фактора: 1) воспроизводимость эмпирических фактов, подкрепляющих теоретическое суждение, 2) готовность исследователей проверять эту воспроизводимость, 3) эффективность применения подкрепленных теоретических положений в планировании и проведении новых исследований.

По всем этим критериям социальные науки проигрывают, причем в пункте 2 российская ситуация наименее благоприятна. Есть пути решения данной проблемы [24], но здесь нет возможности углубляться в эту сложную область на пересечении методологии и социологии науки.

Формулирование общих гипотез, поддающихся операционализации. Разумеется, здесь также мешает идеология идиографии и предметного эксклюзивизма. Однако многие российские обществоведы любят делать обобщения. Нередко, отталкиваясь от анализа конкретного случая, они делают весьма широкие выводы общефилософского, идейного и ценностного характера. Такие высказывания хороши для нравственного позиционирования автора, но обычно малопригодны для последующего развития науки. Требуется весьма большая работа над тем, чтобы общее теоретическое положение стало операционализируемым, Однако, у нас всегда неясно, возьмется ли кто-то когда-то за проверку тезиса. Точнее, общее равнодушие к чужим исследованиям, отсутствие традиции подхватывания и развития чужих идей говорит о том, что работа по операционализации тщетная, поэтому мало кто ею и занимается.

Сопоставление случаев с различными значениями заданных параметров и последующие выводы относительно гипотезы. Фиксация на одном случае никогда не даст теоретического результата просто потому, что такой материал не позволяет отчленить существенное от множества привходящих конкретных деталей и особенностей. Приверженность статистике (например, в экономике и социологии) накладывает жесткие требования на величину выборки, количественную измеримость величин, что всегда ведет к значительному упрощению модели. Провальным, особенно в отечественном обществознании, оказывается *средний уровень — теоретический и эмпирический анализ небольшого числа специально отобранных случаев для проверки гипотез.* По-видимому, здесь совместно действуют факторы конфликтной поляризации «качественников» и «количественников», отсутствия ярких образцов исследований (блестящие классические работы Баррингтона Мура и Теды Скочпол [См. 34; 35; 36; 27, с. 230-251] о случаях социальных революций до сих пор не переведены и мало кому известны), общее недоверие гуманитариев к логике и логическим методам анализа причинности.

Проверка эмпирической подкрепленности гипотезы другими исследователями на другом материале, при положительном результате — пополнение (аккумуляция) общепризнанных теоретических положений. Поскольку общие операционализируемые гипотезы не формулируются, то и проверять нечего. Однако, я подозреваю, что и при появлении оных ситуация бы не изменилась. Когда Р. Карнейро опубликовал статью о происхождении государства, десятки антропологов вплотную занялись эмпирической проверкой и многие выступили с опровержениями теории стесненности, которые затем тот же Карнейро использовал для ее обогащения и развития [См. 31, P. 733-738; 32, P. 497 – 511; 27, с. 206-230]. Вероятно, нечто подобное имеет место в нашем естествознании, но в социальных науках ничего, даже отдаленно схожего, не происходит. Почему?

Кроме вышеуказанных факторов действует еще один: провинциальность российских социальных наук стала самопрограммируемой (ср. с известным эффектом самоисполняющегося пророчества). Мы сами привыкли думать, что в российской социальной теории ничего нового и оригинального появиться не может, поэтому никто и не будет инвестировать время и силы для проверки (тем самым, поддержки и популяризации) теории соотечественника. Периферия осознала себя периферией и уже поэтому останется ею на долгое время.

Почему же тогда не проверять теории, поступающие из западных интеллектуальных центров? Здесь оказывается настолько сильным соблазн «разоблачения неадекватности», что вкупе с идеологией идиографии и предметного эксклюзивизма они дают предсказуемый и бесперспективный результат: «тамошние теории, конечно, очень интересны, но у нас все совсем другое, поэтому теории эти не применимы и проверке не поддаются».

Выход: саморазвитие через идейный экспорт

Негоже фиксировать болезнь и не предлагать лечения. Разумеется, обширный список внешних и внутренних причин требует разноплановых действий по множеству направлений. Здесь укажу только, как можно преодолеть главный, с моей точки зрения, тормоз интеллектуального творчества — антитеоретический консенсус.

Нравится нам или нет, но геокультурные зоны интеллектуального престижа[6] лежат вовне России — на Западе. С этой реальностью приходится считаться, более того, нужно знание данного факта использовать. Важное следствие: российские исследователи и исследования получают наибольший престиж на родине, будучи признаны на Западе.

Прорвать антитеоретический консенсус нельзя методологической полемикой, но можно — высоким престижем теоретических работ. Чтобы такие работы были поняты и признаны на Западе, они должны трактовать (развивать,

[6] См. [33, P. 421-437]. Модель Коллинза использовал Г.Дерлугьян (цит. соч.) для объяснения неэквивалентного интеллектуального обмена между США и Россией.

обогащать, либо опровергать) признанные и наиболее активно обсуждаемые западные же теории и модели.

Первой практической задачей становится составление перечней теоретических положений в каждой предметной области для эмпирической проверки (излюбленную нами методологическую и чисто теоретическую критику, увы, мало ценят). В свое время я предпринимал попытку составить такой перечень взаимосвязанных положений для микро-, мезо- и макросоциологии,[7] но понимаю, что это лишь первый небольшой шаг в требуемом направлении.

Далее «дело за малым»: начать и кончить теоретико-эмпирическое исследование, в результатах которого должны содержаться сильные и подкрепленные данными утверждения относительно известных в соответствующей западной науке теорий и моделей, затем приложить большие усилия для публикации результатов в наиболее авторитетных отечественных и, главное, западных журналах, добиваться включения своих идей и результатов в западные дискуссии, после этого — пропагандировать и расширять такого рода исследования в России, привлекать молодежь.

Трудно? Очень. Но без этих усилий можно смело прогнозировать, что даже редкие появляющиеся в России исследования не получат резонанса, авторы их уедут за рубеж или уйдут из науки, антитеоретический консенсус будет, как и сегодня, править умами, интеллектуальная стагнация продолжится. Тогда последующие «раунды рефлексии» относительно интеллигенции и интеллектуалов, последующие проекты по «мыслящей России» будут по-прежнему фиксировать тотальный дефицит творческой мысли.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бродячая конструкция. Беседа с Вячеславом Глазычевым* // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

2. *Война и геополитика. Альманах «Время мира»*. Вып.3. Новосибирск, 2003.

3. *Воронков В*. Чему альтернативная «альтернативная» социология» // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

4. *Гемпель К*. Функция общих законов в истории // Время мира. Вып.1. Новосибирск, 2000.

5. *Гудков Л*. В отсутствии «общества» // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

6. *Гудков Л*. Негативная идентичность. М., 2004.

[7] См. [25]. Та же работа является разделом в книге [15, с. 417-446].

7. *Демографические исследования в России*: *история, состояние и перспективы*. Интервью с Анатолием Вишневским // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

8. *Дерлугьян Г.* Россия на подвижном горизонте Америки: механизмы неэквивалентного обмена в геокультуре // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

9. *Интеллектуальные журналы. Беседа с Борисом Дубинным* // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

10. *Исследовательские институты: состояние и проблемы. Беседа с Вадимом Радаевым* // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

11. *Кильдюшев О*. Внешняя политика // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

12. *Коллинз Р*. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002.

13. *Куренной В*. Интеллектуалы // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

14. *Кустарев А*. Нервные люди. Очерки об интеллигенции. М., 2006.

15. *Макродинамика*: закономерности геополитических, социальных и культурных изменений. Новосибирск, 2002.

16. *Маяцкий М*. Образ российской мысли во Франции // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

17. *Межуев Б.* Геополитика // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

18. *Мифологемы знания. Беседа с Симоном Кордонским* // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

19. *Негуманитарная эпоха. Беседа с Александром Ивановым* // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

20. *Плотников Н*. Русские интеллектуалы в Германии // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

21. *Политическая теория. Беседа с Борисом Капустиным* // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

22. *Разработка и апробация метода теоретической истории*. Новосибирск, 2001.

23. *Региональные исследования. Беседа с Юрием Перелыгиным* // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

24. *Розов Н.С.* Возможные ли «быстрые открытия» и накопление знаний в социальных науках? // Макродинамика: закономерности геополитических, социальных и культурных изменений. Вып. 2. Новосибирск, 2002.

25. *Розов Н.С*. Номологический синтез теоретических знаний об истории и культуре (проект интеллектуальной стратегии) // В диапазоне гуманитарного знания. СПб., 2001.

26. *Розов Н.С*. О «Социологии философии» Р.Коллинза и об интеллектуальной стагнации // Вестник Российского философского общества. 2001. № 2.

27. *Розов Н.С*. Философии и теория истории. М., 2002.

28. *Филиппов А.Теоретическая социология в России* // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

29. *Цымбурский В.Л*. Геополитика как мировидение и род занятий // Полис. 1999. № 4.

30. *Шушарин Д*. Наблюдение за наблюдателем // Логос. 2004. № 2 (42).

31. *Carneiro, R*. A Theory of the Origin of the State // Science. 1970. Vol. 169.

32. *Carneiro R*. The Circumscription Theory: Challenge and Response // American Behavioral Scientist. 1988. № 31.

33. *Collins R*. Civilizations as Zones of Prestige and Social Contact // International Sociology. 2001. Vol. 16 (3).

34. *Moore B*. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston, 1966.

35. *Skocpol Th*. Social Revolutions in the Modern World. N.Y., 1994.

36. *Skocpol Th*. States and Social Revolutions. N.Y., 1979.

МНИМЫЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ ДЛЯ СОЦИОЛОГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.Н. Олейник
доктор социологии, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН

Профессию социолога обычно не принято относить к числу опасных. Например, если судить по числу инцидентов со смертельным исходом на рабочем месте (в расчете на 100,000 работников), в 2004 году самыми опасными в США были профессии авиапилотов и рабочих на лесозаготовках (коэффициент смертности 92.4), рыбаков (86.4), металлургов, занятых в «горячем цехе» (47), мусоросборщиков (43.2), фермеров и ранчеров (37.5), кровельщиков (34.9), электриков (30), водителей большегрузных автомобилей (27.6) и таксистов (24.2) [9]. Сходная статистика для России менее доступна, но можно предположить, что и здесь «погибших при исполнении» социологов не так много. Тем не менее задачей этого краткого эссе будет показать, что социологи в действительности сталкиваются с существенными рисками при осуществении своей профессиональной деятельности, причем величина этих рисков зависит в меньшей степени от предмета исследования или применяемого метода чем от того, насколько результаты исследования ставят под сомнение сложившееся – как в науке, так и в обществе в целом – статус кво.

Сам по себе объект социологического исследования, даже если речь идет о тюрьме, организованной преступности или терроризме, редко становится источником серьезной опасности для ученого. Например, известно, что относительное число зарегистрированных правонарушений в российской тюрьме (в расчете на 1,000 человек) в середине 1990-х годов было практически на порядок ниже, чем в обществе в целом: 3.67 против 29.92 [22, P. 86]. Поэтому даже личное присутствие исследователя в тюремной среде не обязательно влечет за собой увеличение вероятности стать жертвой насилия (с чисто статистической точки зрения риск подвергнуться нападению выше как раз вне тюремных стен). Более того, при изучении «опасного» объекта «на расстоянии» исследователь и вовсе способен свести риск к минимуму. Сбор данных с помощью «посредни-

ков» – нанятых интервьюеров; ассистентов; лиц, играющих роль «культурных брокеров» – существенно облегчает задачу изучения даже самых жестоких вооруженных конфликтов, таких как война в Чечне [См., например, 23].

Если основные риски связаны не с объектом исследования, то, может быть, все зависит от выбора метода исследования? Одно дело – полагаться на вторичные источники (например, данные правоохранительных органов или материалы журналистких расследований) при изучении организованной преступности, а совсем другое – попытаться осуществить «включенное наблюдение» повседневной жизни одной из «бригад» или уличных банд на протяжении достаточно длительного времени. Один из канадских исследователей, на протяжении нескольких лет изучавших различные аспекты жизни, в том числе криминальные, байкерского клуба, был вынужден ради исследовательских целей пройти через ряд серьезных испытаний, включая участие в различного рода «разборках» [24]. Использование термина «методология, связанная с высоким риском», в данном случае выглядит уместным. Другим классическим примером применения методологии, связанной с высоким риском, стало исследование социальной среды гомосексуалистов, ведущих «двойную жизнь»: с одной стороны – примерных гетеросексуальных семьянинов, а с другой – завсегдатаев удаленных отхожих мест в парках, находящихся в поиске случайных и ни к чему не обязывающих гомосексуальных контактов [11]. Автор подвергался насилию и со стороны полиции (за отказ указать истинные цели своего систематического присутствия в таких достаточно странных местах: такое указание могло бы привести к требованию раскрытия информации о наблюдаемых субъектах), и гомосексуалистов, и агрессивно настроенных борцов с ними. Однако с самыми большими проблемами автору – и его научным руководителям – пришлось столкнуться уже после публикации результатов своего исследования: они привели к поляризации как научного, так и общественного мнения, затруднили защиту докторской диссертации, а так же негативно сказались на судьбе кафедры, на базе которой было выполнено исследование. Одна из лучших в 1960-ые годы в США программ по социологии в Университете Вашингтона (Сен-Луис) была закрыта и по сегодняшний день социологические предметы остаются исключенными из программы данного университета [12, P. 284].

Последний пример особенно интересен тем, что он позволяет различить риски, связанные с выбором методологии исследования потенциально опасного объекта и риски получения результатов, ставящих под сомнение домнинирующие в науке и/или обществе в целом мнения. Что касается рисков первого типа, то опасный характер объекта исследования является необходимым, но недостаточным условием их роста: они зависят от избранной методологии исследования. Наиболее «безопасным» методом изучения потенциально «опасных» объектов представляется использование вторичных данных и других косвенных (*unobtrusive*) методов анализа. Далее идут углубленные интервью и опросы, – если применение этих методов возможно, то исследователю удается сохранить

безопасную дистанцию. Наконец, включенное наблюдение связано с наибольшей степенью риска для исследователя. Система этических кодексов исследовательской деятельности, особенно развитая в Северной Америке, позволяет, выражаясь экономическим языком, сократить риски и «разделить» их между исследователем и организацией, в которой он работает. Если исследование получает позитивную этическую оценку специального комитета, то, после прецедента, установленного в 1994 года делом Рассела Огдена (Russel Ogden), университет тоже несет ответственность за возможные риски, которые могут возникнуть в его процессе. Огден изучал среду ВИЧ-инфецированных лиц, а так же ряд внелегальных и криминальных практик, в которые они иногда вовлечены. Учитывая последний аспект, полиция потребовала от исследователя раскрыть источники своей информации, несмотря на гарантии конфиденциальности, данные им информантам. В конечном счете университет, на базе которого проводилось исследование, был вынужден признать факт своей непосредственной вовлеченности в конфликт между исследователем и полицией [6, P. 208].

С рисками получения «нежелательных» результатов дело обстоит сложнее. Хотя насилие, которому может подвергнуться в этом случае исследователь, не обязательно носит физический характер, как это происходило в Советском Союзе в 1930-ы годы, насилие в символической и иных формах (увольнение, угроза увольнения,[1] создание затруднений в академической карьере, в публикации результатов, ограничение доступа к финансовым ресурсам, целенаправленное разрушение научной репутации и т.д.) оказывается не менее болезненным. По мнению П. Бурдье, ненависть и насилие в символической форме, обращенные ко всем тем, кто придерживается иной, противоположной точки зрения являются отличительной чертой большинства научных дискуссий [8, p. 39]. В непарадигмальных науках,[2] то есть в областях научного знания, в которых сосуществует множество теорий и нет устойчивого согласия, а социология без сомнения является одной их них, господствует ситуация, лучше всего описываемая словами сатирика А. Кнышева: «каждый по своего прав, а по-моему не прав». «Нежелательным» автоматически становится любой результат, который не вписывается в рамки конкретной теории. Отсюда парадоксальность ситуации, когда институциональная организация самой науки становится потенциально опасным объектом исследования – именно из-за выского риска получить «нежелательные» результаты. Так, ввиду «взрывоопасности» результатов, исследование научной среды П. Бурдье [8] дожидалось дня своей публикации около полутора десятков лет. Подобного рода исследования осмеливаются публиковать либо обладающие большим «весом» в научной среде ученые [см. также 18], либо – в форме мемуаров – уже после отхода от активной научной деятельности.

[1] Об отличиях между негативными санкциями и угрозой их применения см. в [16, P. 183-185].
[2] Формальное определение парадигмы можно найти в [15, P. 88 sq]

Риски получения результатов, «нежелательных» по мнению не непосредственных коллег, а общественного мнения за пределами академии, имеют несколько иную «механику» возникновения и развития. В социологическом исследовании они зависят от выбора конкретной теории – из того множества, что образует не-парадигмальную среду. Можно предположить, что выбор позитивисткого подхода – особенно в его функционалистской интерпретации – минимизирует вероятность получения «нежелательных» результатов второго рода. Ведь данный подход строится на базе допущения о том, что все социальные процессы естественны, функциональны и упорядочены. Сторонники качественных методов зачастую вменяют тем исследователям, которые предпочитают методы количественного анализа, наиболее адаптированные к решению функциональных задач, прямое или косвенное содействие сохранению сложившегося в обществе статус кво [см., например, 1]. Выбор интеракционизма в качестве отправной точки в исследовании может обусловить целый ряд неожиданных и заранее непредсказуемых результатов, но они вряд ли окажутся «нежелательными», ибо касаются исключительно взаимодействий на микроуровне (точнее, результаты могут оказаться «нежелательными», но лишь в локальном и ограниченном масштабе, а не в масштабах общества в целом). Наконец, теории конфликта, начиная с марксизма и заканчивая феминистскими теориями и критической социологией М. Фуко и П. Бурдье, именно ввиду своей критической ориентации и акцента на властных отношениях, имеют «запрограммированно» высокий риск получения «нежелательных» результатов и с точки зрения общественного мнения (мнения большинства), и с точки зрения представителей групп(ы), контролирующих власть в различных сферах повседневности.

Критика, то есть суждение об относительном или абсолютном несовершенстве сложившейся «конституции» социального действия и господствующей модели властных отношений подразумевает – явным или неявным образом – принятие за точку отсчета некой альтернативы. Выбор критической перспективы поэтому означает тесное переплетение нормативного и позитивного анализа (стоит ли говорить, насколько часто оно становится предметом осуждения?). Даже «неконструктивная» критика предполагает отсылку к определенной «шкале» оценок. Во-первых, эта «шкала» может иметь абсолютную точку отсчета, «ноль», когда критик ссылается на некие терминальные ценности, которые недостижимы в рамках сложившейся институциональной системы. Так, наиболее систематичная версия критики китайского «социализма» со стороны представителей китайской интеллектуальной диаспоры на Западе построена через отсылку к традиционным ценностям китайского общества, разрушенным революцией в конце 1940-х-1950-х годах [19]. Точка отсчета может располагаться «впереди» – в случае, когда «отсталость» сложившейся системы критикуется с позиций некоего идеала, либо сконструированного с помощью философии морали,[3] либо предположительно воплощенного на практике в «модерном»

[3] О роли философии морали в конструировании абсолютных критериев оценки см. [7, P. 21 sq.].

(вариант – «пост-модерном») обществе. Критика в терминах «отсталости» принимает преимущественно «оптимистические» оттенки: указание на конкретный и потенциально достижимый идеал способствует тому, чтобы, выражаясь словами Дж. Кейнса, «действовать, а не сидеть, сложа руки» [3, с. 349]. Основной риск для исследователя при использовании данной модели критики связан с опасностью превращения в маргинализированного и отчужденного инноватора. «Продвинутые индивиды с равной вероятностью могут как превращаться в препятствие социальным изменениям, так и становиться их движущей силой» [25, P. 37].

Не исключен и вариант, когда точка отсчета располагается «позади», то есть существующий порядок сравнивается не с «абсолютным добром», а с «абсолютным злом». Чем ближе, как постулируется, существующий порядок к «абсолютному злу», тем жестче критика и тем выше риски для исследователя. Его могут обвинить, например, в разжигании упаднических настроений – преступление, согласно общественному мнению, более серьезное, чем неоправданный оптимизм оторвавшегося от масс инноватора [попытка сопоставления последствий разжигания упаднических и оптимистических настроений в контексте пост-социалистических трансформаций предпринята в 14, P. 78-79]. Логика предлагаемых изменений тогда принимает форму выбора наименьшего из двух зол, а критика по этой причине – преимущественно пессимистическую окраску. Примером критики через выбор наименьшего из двух или нескольких зол можно считать анализ российского общества через призму тюремного сообщества.[4] Описание пост-советской социально-экономической системы в терминах «нини», то есть «ни социализм, ни капитализм», является другой иллюстрацией выбора между двух зол. Согласно В. Андреффу, в пост-советский период механизмы, обеспечивавшие стабильность социалистического порядка перестали действовать, а механизмы, поддерживающие капиталистический порядок, еще не начали действовать, поэтому переходная система «хуже» и первого, и второго варианта [5, p. 71 sq.]. Стоит отметить, что критика на основе выбора наименьшего зла не исключает более или менее строго определения вектора предлагаемых изменений: в терминах теории игр, речь идет об использовании стратегии максимин, подразумевающей минимизацию возможного ущерба.

Во-вторых, точка отсчета для критики может быть относительной. Основное отличие критики в «относительных» терминах от критики в «абсолютных» терминах заключается в том, что направление изменений задать и даже предугадать нельзя. Исследователь сравнивает различные «конституции» социального действия и/или модели властных отношений, при этом не исключая возможности, что все они могут оказаться одинаково «плохими» и, следовательно, достойными уничижительной критки. Таковы, например, выводы из сравнительного анализа российской и западной моделей государства, предложенного

[4] [22]. См. также дискуссию о допустимости использования модели тюремного сообщества для анализа российского общества в целом в [2; 4].

О. Харкординым [13]. Исследователь утверждает, что в обоих случаях речь идет лишь о фикции общих интересов, якобы воплощенных в институте государства. Критика «всего и вся» крайне рискована для исследователя лишь на первый взглад. Она ставит под вопрос саму необходимость каких-либо сознательно проводимых изменений, если все существующее (и потенциально возможное) «неразумно». Поэтому подобная критика парадоксальным образом способствует сохранению сложившегося статус кво. Четкое определение вектора измений здесь невозможно в принципе, что превращает самую яростную критику не более чем в состязание в риторике.

Выбор точки отсчета для критики во всех рассмотренных выше трех вариантах (абсолютное добро, абсолютное зло и акцент на относительности) влияет на выбор стратегий, с помощью которых исследователь стремится если не минимизировать, то хотя бы управлять своими рисками. Так, можно говорить о существовании «избирательного сродства» между выбором в качестве точки отсчета абсолютного добра и верой в «просвещенного деспота» как опоры в движении к этому абсолютному добру. Важно лишь найти правителя, пусть и монарха, который бы разделял идеалы исследователя. Именно так поступало большинство деятелей европейского Просвещения, которые, как правило имели личных покровителей в лице европейских монархов [17, P. 68]. Один из наиболее свободомыслящих из Просветителей, Вольтер, в частности находил поддержку со стороны германского престола и российской императрицы Екатерины II.

Источником поддержки в критике, имеющей в качестве точки отсчета абсолютное зло, может стать демократическая модель властных отношений. Во-первых, потому что демократия снижает издержки выражения непопулярных мнений [20, P. 85-6]. Во-вторых, выражаясь словами У. Черчилля, видимо тоже мыслившего категориями выбора наименьшего из ряда зол, «демократия является худшей формой правительства, ислючая все те формы, которые были испробованы в разлчиные периоды времени» [цит. по 21, P. 3]. В-третьих, возможность на основе критики задать вектор изменений вооружает гражданское общество, потенциального актора этих реформ, своего рода «дорожной картой». Наконец, критика в относительных терминах может найти понимание в первую очередь в научном сообществе, точнее, в той его части, которая избирает для исследований сходные координаты.

В каждом из случаев укрепление позиций исследователя в его критике достигается за счет принятия той модели властных отношений, которая воплощена в «просвященном деспотизме», демократическом правительстве или научной «сети». Иными словами, право на получение «нежелательных» результатов приобретается ценой отказа от критики определенной модели властных отношений. Конечно, исследователь, чтобы избежать внутреннего стресса, может выбрать ту модель властных отношений, с которой он в наибольшей степени ощущает «избирательное сродство». Однако полностью снять внутреннее про-

тиворечие критического подхода таким способом вряд ли удастся. Альтернативой мог бы стать отказ от постоянной привязки к конкретной модели властных отношений, что возможно лишь при использовании «гетеродоксального» и эклектического подхода,[5] когда для критики одних аспектов в качестве точки отсчета избираются терминальные ценности, других – модель выбора наименьшего из зол, третьих – относительные шкалы.

Наиболее значимые аргументы в пользу отказа от поиска единственного отправного пункта в критике таковы. Прежде всего, единая шкала оценок плохо согласуется со спецификой «сложных» обществ. Так, некоторые элементы «негативной конвергенции»,[6] делающей обоснованной критику в относительных терминах, могут быть найдены в политической сфере как в США, так и в России, например, использование «черного PR» для дискредитации соперника, осуществление манипуляций с доступом к урнам для голосования, акцент в дебатах не на политических программах, а на вопросах процедуры и т.д. Однако во многих других сферах отличия между этими двумя странами по-прежнему значимы, что делает легитимным использование «абсолютных» шкал. Далее, сама модель человеческого поведения исключает использование единой шкалы для оценки всех аспектов. Например, А. Этциони утверждает, что как минимум два приницпа лежат в основе повседневных решений и поступков, полезность (и, следовательно, модель рационального выбора) и моральные обязательства [21, P. 111]. И если моральные обязательства предполагают использование абсолютной шкалы оценок, то модель рационального выбора не исключает применения ни абсолютных, ни относительных (производных от ординалистской теории полезности) шкал. Наконец, в рамках данной дискуссии ключевой аргумент в пользу комбинирования шкал заключается в том, что он позволяет исследователю критиковать, не будучи привязанным к какой-либо одной модели властных отношений. Иными словами, исследователь перестает быть заложником конкретной модели властных отношений, и в качестве объекта критики, и в качестве точки опоры, что придает особую силу его критике. «Интересы зависимого субъекта структурированы таким образом, что обоснования [существующего порядка], предлагаемые лицами, наделенными властью, в данном контексте [властных отношений] кажутся ему или ей убедительными. Такие обоснования могут быть поставлены под вопрос только с позиций вне данного контекста» [7, P. 62].

Находя несколько «точек опоры», исследователь приобретает новые степени свободы в своем анализе. В конечном счете, именно критика в таком ключе наиболее убедительна и потому опасна с точки зрения тех, кто заинтересован в сохранении статус кво. Подобная критика дает исследователю немыслимую при иных раскладах автономию, одновременно делая его особенно уязвимым. Именно здесь начинается «экстремальная» социология, или социология, «свя-

[5] Предварительный эксиз программы эклектического подхода в экономических науках можно найти в работах [14, P. 19].
[6] Термин позаимствован в [5, p. 72-73].

занная с высоким риском». Ибо риск – это и есть продукт действительной, а не мнимой независимости исследователя в выборе объекта исследования, методологии анализа, теоретических рамок и точки отсчета. Выбор всех этих элементов дизайна исследования тогда может быть подчинен одному, но весьма достойному соображению – поиску истины.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Воронков В*. Этот безумный, безумный, безумный количественный мир // Неприкосновенный Запас. 2004. № 3 (35).

2. *Ефимова Е*. Современная субкультура как «маргинальная» устная культура // Неприкосновенный Запас. 2004. № 4 (36).

3. *Кейнс Дж*. Общая теория занятости, процента и денег // Кейнс Дж. Избранные произведения. М., 1993.

4. *Олейник А*. Маргиналы или мажоры: как субкультура становится элементом культуры // Неприкосновенный Запас. 2004. № 4 (36).

5. *Andreff W*. La mutation des économies postsocialistes: Une analyse économique alternative. Paris, 2003.

6. *Babbie E., Benaquisto L*. Fundamentals of Social Research. Scarborough, 2002.

7. *Beetham D*. The Legitimation of Power. Atlantic Highlands. N.J., 1991.

8. *Bourdieu P*. Homo Academicus. Paris, 1984.

9. *Christie L*. America's Most Dangerous Jobs // CNN/Money. 2005, September 23 < retrieved on Oct. 29, 2005>. – http://money.cnn.com/2005/08/26/pf/jobs_jeopardy/

10. *Etzioni A*. Toward a New Socio-Economic Paradigm // Socio-Economic Review. 2003. № 1. P. 105-134.

11. *Humphreys L*. Tearoom Trade. Chicago, 1970.

12. *Jackson W*. Methods: Doing Social Research. Scarborough, 1999.

13. *Kharkhordin O*. What is the State? The Russian Concept of *gosudarstvo* in the European Context // History and Theory. 2001. № 40. P. 206-240.

14. *Kornai J*. Struggle and Hope: Essays on Stabilization and Reform in a Post-socialist Economy. Cheltenham, 1997.

15. *Kuhn T*. Scientific Paradigms // Sociology of Science: Selected Readings. Barnes B. (ed.). Harmondsworth, 1972. P. 80-104.

16. *Ledyaev V*. Power: A Conceptual Analysis. N.Y., 1997.

17. *Malia M*. Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge and London, 1999.

18. *Merton R*. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago and London, 1973.

19. *Nine Commentaries on the Chinese Communist Party* // The Epoch Times. 2004, December < retrieved on Oct. 30, 2005>. –http://ninecommentaries.com/

20. *North D*. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, 1990.

21. *Rose R., Mishler W*. What are the Alternatives to Democracy in Post-Communist Societies? // Studies in Public Policy. 1995. № 248.

22. *Oleinik A*. Organized Crime, Prison and Post-Soviet Soc*ieties.* Burlington, VT, 2003.

23. *Tishkov V*. Chechnya: Life in a War-Torn Society. Berkley, CA, 2004.

24. *Wolf D*. The Rebels: A Brotherhood of Outlaw Bikers. Toronto, 1990.

25. *Yaney G*. The Systematization of Russian Government: Social Evolution in the Domestic Administration of Imperial Russia, 1711-1905. Urbana, 1973.

ДИАЛОГ КАК «ВЕРБАЛЬНОЕ СНОВИДЕНИЕ»

О некоторых особенностях парадиалогического дискурса в аспекте теории эгоцентрической речи

С.П. Поцелуев
кандидат философских наук, доцент,
Южный федеральный университет

Философия, как говорили Платон и Аристотель, начинается с удивления. В самом деле, есть такие факты нашей жизни, которые настолько удивляют, что хочется поразмышлять об условиях их возможности. Для нас таким фактом стала теледуэль Жириновского и Проханова в одном из выпусков телепередачи В.Соловьева «К барьеру!» (эфир НТВ от 02.02.2006). Увиденное на экране побудило нас поразмышлять на тему *политического парадиалога* [см. подробнее 11], тему, которая уже в 90-ых гг. стала предметом обсуждения у российских филологов В.Базылева и Ю.Сорокина, в частности, в их статье о постсоветском «новоязе» [1, с. 8]. Следует заметить, что рассматриваемый здесь случай не представляет единственный тип политического парадиалога. Общение политиков в парламенте, в том числе без телекамер, а также их диалоги со своими актуальными или потенциальными избирателями, вообще с людьми, внешними политической сфере, – все это дает особые формы парадиалогического дискурса. В чем эти формы едины и чем отличаются между собой – это тема особого разговора. В настоящей статье мы отметим лишь некоторые психологические особенности политического парадиалога.

Во-первых, почему именно *пара*диалог имеется здесь в виду? Название автор находит удачным, поскольку греч. приставка παρά- означает, помимо прочего, не просто отступление от истины, но ее выворачивание, оборачивание, переиначивание. Соответственно, *парадиалог* – это как бы вывернутый наизнанку диалог, его инверсия, пародия, симуляция. Или, как выражаются Базылев и Сорокин, парадиалог – это «ситуация постоянной подмены речи» [1, с. 8]. В основе парадиалога лежит не принцип диалогической природы истины, о котором писал М. Бахтин, но инверсия этого принципа: делезовский «эффект», лишенный всякой субстанциальности и причинности. Парадиалог отрицает идеологичность сократического диалога, в нем нет идеи, которая «хочет быть услышанной, понятой и ‘отвеченной’ другими голосами с других позиций» [2,

с. 127]. В парадиалоге нет и того нововременного монологизма «идеологического творчества», который у Бахтина образует диалектическую противоположность диалогическому принципу. Вместо взаимодействия «точек зрения», «концепций», «идеологий», в политическом парадиалоге происходит простое совмещение двух потоков мышления и речи (как в клипе, коллаже и т.п.). Это противоречит принципу успешности стандартного диалогового общения.

Парадиалог вообще культивирует семантические и прагматические бессмыслицы. Это относится прежде всего к выпадению важнейших пресуппозиций высказываний и предпосылок коммуникации. Так, в своей «теледуэли» Жириновский и Проханов предлагают диаметрально противоположные трактовки советской истории. Вместе с тем за этими трактовками не стоит никаких реальных идейных различий и конфликтов. «Идейный спор» оказывается чисто языковым эффектом, поэтому он постоянно подвергается ревизии, пародии, инверсии. В случае политического парадиалога следует говорить не столько о принципе кооперации (этой излюбленной теме дискурс-анализа), сколько о «коммуникативном саботаже», как удачно выразилась Т. Николаева [7, с. 225-226]. Для участников парадиалога оппонент выступает лишь в качестве стимула для саморазвертывания автокоммуникативного по сути своей дискурса. Это напоминает разговор с воображаемыми собеседниками во сне или в бреду. Есть также немало общих черт между парадиалогом и фиктивным художественным дискурсом, прежде всего, литературой нонсенса и абсурда. Но эти черты мы оставим сейчас в стороне, чтобы сосредоточиться на двух интересных психологических аспектах парадиалога: на его параллелях с психотическим и детским дискурсом.

Параллели с психотическим сознанием Базылев и Сорокин отмечают особо. Они пишут о политике как о человеке «с измененным (смещенным) состоянием сознания», речь которого, будучи «вербальной реакцией на постоянный стресс», представляет собой «форсированный звуковой поток», главной функцией которого является не убеждение, а подавление собеседника» [1, с. 8]. В парадиалоге обнаруживаются аналогии с так называемым «систематизированным бредом». Разорванное мышление участников парадиалога напоминает известную в психиатрии «мифоманию» или «псевдологию» как болезненную склонность к вымыслу и лжи. Что же касается инфантильных черт рассматриваемого парадиалога, то в их анализе мы опирались на работу А.Н. Леонтьева «Психологические основы дошкольной игры» [6]. В указанной выше статье показывается, в частности, что есть явные параллели между детской ролевой игрой и коммуникативным поведением в парадиалоге политической оппозиции авторитарного типа.

В данной статье мы хотели бы специально остановиться еще на одном сюжете, тоже относящемся к инфантильным аспектам политического парадиалога,

а именно, его схожести с эгоцентрической речью ребенка. При этом мы будет опираться, в основном, на идеи Ж.Пиаже и Л.С.Выготского.

Характеризуя эгоцентрическую речь ребенка, Пиаже отмечает, что таковой она является потому, что «ребенок говорит лишь о себе и не пытается стать на точку зрения собеседника. Собеседник для него первый встречный» [10, с. 17]. Здесь Пиаже ухватывает замечательную двойственность и парадоксальность эгоцентрической речи, важную и для понимания речи парадиалогической: с одной стороны, ребенок «не интересуется тем, кому он говорит, и слушают ли его». Он говорит о себе и для себя, «он не испытывает желания воздействовать на собеседника, действительно сообщить ему что-нибудь», «он ни к кому не обращается» [10, с. 17]. С другой стороны, Пиаже фиксирует, что наличие собеседника все же существенно для эгоцентрической речи. Ребенок испытывает удовольствие от приобщения кого-нибудь к своему действию и его речевому сопровождению. Ребенку, – пишет Пиаже, – важен видимый интерес другого к тому, что он делает и говорит. «У него (ребенка), очевидно, есть иллюзия, что его слышат и понимают» [10, с. 17]. Кстати, Пиаже указывает в этой связи на важную роль эхолалических реакций в эгоцентрической речи ребенка.

Эта двойственность и *парадоксальность* детской эгоцентрической речи хорошо выражается у Ж. Пиаже понятием «коллективного монолога». Он подразумевает, что во время детских разговоров «каждый приобщает другого к своей мысли или действию в данный момент, но не заботится о том, чтобы и в самом деле быть услышанным или понятым» [10, с. 17]. Коллективный монолог Пиаже рассматривает как наиболее социальную из всех эгоцентрических разновидностей детского языка, поскольку «к удовольствию разговаривать она прибавляет еще удовольствие произносить монолог перед другими и этим привлекать – или полагать, что привлекаешь, – их интерес к его собственному действию или к собственной мысли». Но ребенок, говорящий таким образом, фактически ни к кому не обращается. «Он громко говорит для себя перед другими. Такой образ действий можно найти у некоторых взрослых, оставшихся недоразвитыми (у некоторых истериков, если называть истерией нечто, проистекающее из детского характера), которые имеют привычку громко размышлять, как если бы они говорили сами для себя, но с расчетом, что их слушают. Если отбросить некоторое актерство этого положения, то получим эквивалент коллективного монолога нормальных детей» [10, с. 23-24].

Пиаже описывает здесь нечто большее, чем только особенность эгоцентрической речи ребенка, а именно, особый вид перформанса: *говорить для себя перед другими*. В этом случае присутствие других *предполагается* говорящим и *важно* для самого говорения как перформанса (что, кстати, подчеркивает и Выготский в своих экспериментах с детской эгоцентрической речью), но стремление передать собеседнику информацию или существенно повлиять на него, ограничено «говорением для себя». Формы этого ограничения, конечно, различны. В случае «коллективного монолога» ребенок «говорит лишь о себе, не

заботясь о позиции другого, не стараясь убедиться в том, слушает ли и понимает ли его собеседник» [10, с. 17]. В случае же примитивных детских диалогов уже имеет место тематическое сотрудничество, т.е. дети говорят об одном и том же, хотя каждый говорят о себе и со своей точки зрения, между ними нет сотрудничества в общем действии, в содержании темы. Однако, в отличие от коллективного монолога, они слушают и понимают друг друга.

В контексте политического парадиалога особенно интересно отметить, что Пиаже видит аналоги детского коллективного монолога и во взрослой коммуникации: в привычке истериков размышлять вслух на публике, в «гостиничных разговорах», где каждый говорит о себе, и никто никого не слушает и т.п.

Сегодня психолингвисты и онтолингвисты различают в речевой практике детей многие виды «речи для себя». В интересном исследовании М.Б. Елисеевой рассматриваются возможные пути перехода от так называемого *квазидиалога* и монолога к речи, ориентированной на собеседника [5]. Под квазидиалогом понимается формально монологическая речь, в которую, однако, детским мышлением вводится фигура квазисобеседника. Этот собеседник говорит цитатами из речи взрослых (матери, отца, бабушки и т.п.), текста сказок, телерекламы и т.п. Такой детский квазидиалог – тоже пример эгоцентрического перформанса как говорения для себя перед другими (воображаемыми и/или реально присутствующими другими).

Еще одним примером эгоцентрического перформанса можно считать ритуальный диалог в рамках тоталитарной или авторитарной политической коммуникации. Е.Опарина в своей статье о политических метафорах [8]. приводит удачный пример из стихотворения Александра Галича «О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира». «Израильская, – говорю, – военщина // Известна всему свету // Как мать, – говорю, – и как женщина // Требую их к ответу! // Который год я вдовая // Все счастье – мимо // Но я стоять готовая // За дело мира!».

Эти слова произносит с трибуны мужчина, которому по ошибке вручили текст чужого выступления. При этом зал реагирует совершенно спокойно, без смеха, как будто все нормально: «А как кончил // Все захлопали разом // Первый тоже – лично – сдвинул ладоши // Опосля зазвал в свою вотчину // И сказал при всем окружении // "Хорошо, брат, ты им дал, по-рабочему! // Очень верно осветил положение!"...». Таким образом, никто из участников этого перформанса не реагирует недоуменно на абсурдность речи выступающего, потому что главное в ней соблюдено – наличие определенных стереотипов как элементов ритуала (в данном случае рабочего митинга в защиту мира).

Е.Опарина замечает, что «такая политическая речь представляет собой по сути монолог и абсолютно не приспособлена для политического диалога, в котором говорящему приходится убеждать слушателей/читателей, доказывая свою правоту при наличии множества позиций, оценок и возможных решений» [8, с. 21]. Ю.С.Степанов называет такого рода политический ритуальный моно-

лог «*псевдодиалогом* с идеальным адресатом» [3, 95]. Идеальный адресат – это тот, кто принимает все пресуппозиции каждой фразы, кто даже принимает курьезную подмену выступлений в выше приведенном случае, кто «все понимает» и тем самым обеспечивает право даже такого абсурдного выступления в ритуальном или ритуализированном мероприятии. Здесь мы, стало быть, тоже имеем дело с разновидностью эгоцентрического перформанса. Кстати, в своих позднейших комментариях на критику Выготского, Пиаже сравнивает эгоцентрическую речь ребенка с лектором, который может говорить «для себя», даже когда он обращается к аудитории [9, с. 455].

Таким образом, развитое в психологии понятие эгоцентрической речи позволяет себя истолковать как одно из проявлений эгоцентрических перформансов, к которым, наряду с детским квазидиалогом, можно отнести политические псевдо- и парадиалоги.

Поскольку политический парадиалог относится к разновидностям эгоцентрических перформансов, он обнаруживает существенное сходство с детским коллективным монологом. Обе формы коммуникации суть «говорение для себя перед другими». Однако структура этих говорений обнаруживает существенные различия.

Чтобы подойти к этим различиям, нам следует отправляться от интерпретации теории Пиаже у Выготского. В отличие от Пиаже, Выготский склоняется не в сторону учения о недостаточной социализации как источнике детской эгоцентрической речи, а, напротив, в пользу слишком большой ее социализации, ее недостаточной обособленности от «речи для других». Поэтому он особенно акцентирует тот момент, что эта речь «проявляется не иначе, как в детском коллективе при наличии других детей», что она напоминает социализованную речь, а не произносится шепотом, невнятно, про себя. Наконец, здесь важно, что «ребенок верит и полагает, будто его ни к кому не обращенные эгоцентрические высказывания понимаются окружающими» [4, с. 304]. В коллективном монологе «дети верят, что они говорят друг другу и что другие их слушают». Они «полагают, что каждая их мысль, которая не выражена вовсе или выражена недостаточно, есть все же общее достояние» [4, с. 305]. Этот последний момент особенно важно подчеркнуть, поскольку он позволяет лучше понять отличие коллективного монолога у детей от политического парадиалога. Для Выготского эти свойства детской эгоцентрической речи не являются выражением мыслительного эгоцентризма, но выполняют прямо противоположную функцию реалистического мышления, «сближаясь не с логикой мечты и сновидения, а с логикой разумного, целесообразного действия и мышления» [4, с. 48]. Эту функцию эгоцентрической речи ребенка Выготский объясняет возникновением детского размышления из *спора*. Именно в споре, в дискуссии проявляются те функциональные моменты, которые дают начало развитию размышления у ребенка. И «когда ребенок начинает разговаривать сам с собой совершенно так

же, как он прежде разговаривал с другими», тогда «он начинает <…> думать вслух там, где ситуация вынуждает его к тому» [4. с. 51].

Здесь видно уже существенное отличие детского коллективного монолога от парадиалога. Политики в парадиалоге говорят иначе для себя и иначе для других, чем это делают дети в своей эгоцентрической речи. У детей имеет место неотрефлектированная, спонтанная вера в то, что их слушают и понимают, в парадиалоге же мы имеем сознательную симуляцию, инсценирование этой веры. Этим эгоцентрический дискурс парадиалога сближается как раз с логикой мечты и сновидения, с «вербальным сновидением», в отличие от детской эгоцентрической речи, по Выготскому.

«Вера в слушателя» фиктивна в парадиалоге, однако ее фиктивность нельзя свести однозначно ни к театрально-художественному, ни к ритуально-символическому дискурсу. «Другие», перед которыми говорят участники парадиалога, это – по определению – не публика артиста, и рамочные условия перформанса определяют его участников в их реальной функции политиков, а не актеров. Правда, политики ведут себя как лицедеи, но в отличие от артистов, их лицедейство прагматично: свои послания они адресуют своим избирателям, они делают политический капитал. А пресловутый «электорат» – это не только реальные люди, сидящие в зале или телестудии; это – *идеальный* или *виртуальный* слушатель-зритель, замкнутый на политическое «эго» политика. Прежде всего с ним и перед ним говорит политик в парадиалоге, а не со своим визави и не перед живой публикой в зале или телестудии. В этом смысле, он, как и ребенок, все же говорит для себя, хотя и перед другими. Но в отличие от идеального слушателя ритуального псевдодиалога, виртуально-идеальный слушатель парадиалога не понимает автоматически всех пресуппозиций; его понимание должно быть еще продемонстрировано, сыграно как в театре, хотя и для идеальной публики. В этом смысле парадиалогический дискурс требует от его участников большей эмоциональной ангажированности, большего сценического перевоплощения и раздвоения, чем в случае ритуального псевдодиалога. В данном моменте политический диалог крайне близок тем типам художественного дискурса, которые обнаруживают признаки эгоцентрической речи.

В частности, здесь обнаруживаются интересные параллели с лирической поэзией. Анализ русской лирики XIX–XX вв., произведенный И.Ковтуновой, показал, что адресат в поэтических текстах моделируется как «нададресат», т.е., как современники и все человечество одновременно [см. об этом 12, с. 153]. Заметим, что в парадиалоге мы видим нечто аналогичное: в качестве адресата посланий здесь выступают и конкретный собеседник, и публика в зале, и реальные или потенциальные телезрители передачи, и поверх всего этого – идеальный зритель, с которым демонстрируется единение. Получается, что и в лирической поэзии, и в парадиалоге, адресат предстает как неопределенная фигура, как «некто», «другой», перед которым поэт и политик говорят для себя. При этом и поэтическое произведение, и парадиалогический дискурс в своем по-

строении прямо не зависят от адресата, конкретно на не него не сориентированы. С этим связаны как раз многочисленные противоречия, семантические лакуны, любовная связь антиномий как в поэзии, так и в парадиалоге. И здесь они действительно очень близки логике мечты и сновидения. В любом случае, они уводят от логики предметного реалистического мышления, сопровождением которого, считал Выготский, являются эгоцентрические диалоги ребенка.

Но поэзия не претендует на предметность реалистического мышления, так что ее близость логике сновидения вряд ли может вызывать недоумение. Но как быть с политиками, которые практикуют в парадиалоге подобного рода дискурс? Здесь недоумение становится оправданным. И оно уже выходит за рамки психологии и дискурсологии, приобретая смысл морального и собственно политического вопроса.

Не удивление, а недоумение и печаль суть начало философии, – утверждал Шопенгауэр, полемизируя с великими греками. Но иногда можно встретить в опыте столь странные факты, которые вызывают и удивление, и недоумение, и глубокую печаль одновременно. Возможно, этих эмоций слишком много, чтобы быть началом для целой философии, однако достаточно, чтобы задуматься о некоторых аспектах окружающей нас действительности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Базылев В., Сорокин Ю*. О нашем новоязе. От чужих слов мы становимся агрессивнее // Независимая газета, 25.09.1998.

2. *Бахтин М.М*. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М., 1979.

3. *Беседа с Юрием Сергеевичем Степановым* // Политическая наука – 3. Политический дискурс: история и современные исследования. М., 2002.

4. *Выготский Л.С*. Мышление и речь. 5-е изд-е. М., 1999.

5. *Елисеева М.Б.* От 2 до 5: речь "для других" и речь "для себя" (к вопросу об эгоцентрической речи ребенка) // Ребенок как партнер в диалоге: Труды постоянно действующего семинара по онтолингвистике. Вып.2. СПб., 2001.

6. *Леонтьев А.Н*. Психологически основы дошкольной игры // Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 4-е изд-е. М., 1981.

7. *Николаева Т.М*. О принципе «некооперации» и/или о категориях социолингвистического воздействия // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.

8. *Опарина Е.О*. Метафора в политическом дискурсе // Политическая наука – 3. Политический дискурс: история и современные исследования. М., 2002.

9. *Пиаже Ж*. Комментарии к критическим замечаниям Л. Выготского // Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М., 1994.

10. *Пиаже Ж*. Речь и мышление ребенка. М., 1994.

11. *Поцелуев С.П*. Политический парадиалог // Политические исследования. 2007. № 1.

12. *Радзиевская Т.В*. Прагматические противоречия при текстообразовании // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.

В ОБИТЕЛИ ТРУДОВ И ВДОХНОВЕНЬЯ[1]

И.С. Дмитриев
доктор химических наук, профессор,
директор Музея-архива Д.И. Менделеева
Санкт-Петербургского государственного университета

Тот, кто приносит общее благо,
всегда страшен….
Революция должна завершиться установлением
совершенного счастья.
Л.-А. Сен-Жюст [9, с. 290]

ЭЛИЗИУМ СРЕДИ ПАНДЕМОНИУМА

Литература, посвященная влиянию событий Французской революции XVIII в. французскую науку и судьбы ученых, весьма обширна[2]. В настоящей статье будет рассмотрено обратное воздействие научного дискурса и научной риторики *siècle de Lumières* на моральную и политическую мысль и риторику пред- и революционного времени.

Как уже не раз отмечалось в историко-научной и философской литературе, естественнонаучный опыт Нового времени деперсонализован, отдален от своего носителя, вытеснен из сферы его субъективности[3] в сферу инструментального исследования [10, с. 85; 21]. Ситуация дистанцированности исследователя от изучаемого с одновременной вовлеченностью его в наблюдаемую реальность характерна не только для нововременной науки, но и для иных областей человеческой деятельности, в том числе и политики [10, с. 86-92]. Феномен дистанцированности-вовлеченности детально рассмотрен в монографии М. Ямпольского, где проанализированы различные грани этого феномена, а также его связь с феноменом любопытства, которое всегда связано с познанием, но «отличается от философского созерцания и эпистемологической пытливости. Объект любопытства часто маргинален, экзотичен, сенсационен. Истинным продуктом любопытства является кунсткамера, или собрание “редкостей”. <…>. Речь идет

[1]Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект «Французское научное сообщество в эпоху Великой французской революции и Первой империи (1789 – 1815): социокультурные, политико-экономические и военные аспекты», № 07 – 03 – 00626а)

[2] В качестве наиболее информативных работ назову [30; 11; 29].

[3] В частности, он перестал быть «памятью о многих вещах» [2, 12].

о познании, не основанном на поиске истинности или сущности» [10, с. 80]. Уходя от поиска истины, любопытство превращается «в чистое удовольствие от созерцания будоражащего воображение образа, который не включен ни в какую аналогическую, символическую связь, связь, которая была бы способна отвлечь сознание от нацеленного созерцания» [10, с. 80]. В итоге любопытство не в состоянии преодолеть границу видимости. Статус опыта в естествознании Нового времени создал указанную выше парадоксальную ситуацию, когда крайняя степень вовлеченности у любопытствующего сопряжена с крайней степенью его дистанцированности, отчужденности от наблюдаемого [10, с. 85].

К сказанному М. Ямпольским уместно добавить важное, на мой взгляд, замечание, для чего я обращусь к примеру функционирования *Jardin des plantes*, парижских королевских ботанических садов, трансформированных в 1793 г. в *Muséum National d'Histoire Naturelle*.

Ранняя история *Jardin des plantes* не очень ясна. По мнению некоторых авторов, она косвенно связана с развитием искусства вышивания. Долгое время узоры для вышивания переходили из рук в руки и копировались самими вышивальщицами. Однако с изобретением книгопечатания эти узоры делались все более доступными и тогда рисовальщики в поисках новых моделей стали обращаться к природе, и, как правило, к экзотическим растениям, привозимым из дальних стран. В самом начале XVII в. Жан Робэн (*J. Robin*), придворный садовник Генриха IV и Людовика XIII, чтобы помочь составителям узоров, заложил специальный сад, где разводил редкие растения, в названии одного из которых – *Robinia pseudo-acacia* – увековечено его имя. Цветочное заведение Робэна пользовалось большим успехом и вскоре было куплено Генрихом IV в казну, получив название *Jardin du Roi*. Бесспорно, однако, что создание *Jardin* диктовалось медицинскими и фармацевтическими потребностями. В 1626 г. Жан Эруар (*J. Hérouard*), врач Людовика XIII, видимо, под влиянием кардинала Ришелье, предложил создать в Париже *Jardin royal des herbes médicinales*. В то же время другому придворному врачу Людовика XIII Гюи де ла Броссу (*Guy de la Brosse*) пришла идея воспользоваться садом Ж. Робэна для обучения студентов-медиков и будущих аптекарей. Кроме того, на специально отведенной невозделанной земле в поместье Сен-Виктор был, стараниями ла Бросса, заложен большой королевский *Jardin* (соответствующий эдикт о создании сада был подписан Людовиком XIII в 1635 г., официальное открытие состоялось в 1640). В 1650 г., уже при Людовике XIV, *Jardin royal des herbes médicinales*[4] был открыт для публики. Уже в первые годы существования *Jardin* там культивировалось свыше 2000 растений. Впоследствии, в период интендантства (директорства), а по мнению Добантона – «диктаторства» Бюффона, продолжавшегося без малого полстолетия (с 1739 по 1788 г.), *Jardin des plantes* был значительно расширен. Был также преобразован – главным образом, усилиями упомянутого выше талантливого натуралиста и агронома Луи Добантона (*L. Daubenton*; 1716 –

[4] В 1718 г. Сад был переименован в *Jardin royal des plantes*.

1799), приглашенного Бюффоном в помощники в 1745 г., – *Cabinet du Roi*, т. е. кабинет натуральной истории, созданный еще в 1729 г. Скопище несистематизированных предметов (лекарств, раковин, чучел, минералов, оружия «дикарей» и т. п.) превратилось в прекрасный научный музей.

Жорж-Луи Леклер, граф де Бюффон (*G.-L. Leclerc de Buffon* ; 1707 – 1788) был человеком талантливым, деятельным и нахальным, не стесненным излишней щепетильностью в достижении своих целей. Так например, когда потребовалось расширить территорию *Jardin*, он, не дожидаясь отпуска казенных кредитов, скупал за свои деньги участки смежной земли в свою собственность, а затем с выгодой продавал их казне. Когда же один из арендаторов отказался уступить за бесценок свою землю Бюффону, тот просто велел разобрать зимой крышу дома строптивца и вынудил-таки его уехать. Бюффон рассматривал *Jardin des plantes* как свой личный бизнес и как свою вотчину. Ему даже удалось заручиться обещанием Людовика XV передать интендантство по наследству своему сыну.[5] Но вернемся к характеристике Музея.

Muséum представлял собой публичное пространство, в границах которого были сосредоточены растения и животные, в естественных условиях, в «дикой» природе, вместе, как правило, не встречающиеся. Более того, в коллекциях Музея были собраны фрагменты организмов, живших на Земле в разные эпохи. Таким образом, *Muséum* синоптически представлял природный мир в единой, целостной пространственно-временной развертке, являя собой идеализированное – и вместе с тем реальное – пространство посреди революционного Пандемониума, *Элизиум*, если воспользоваться терминологией А. Фуркруа,[6] расположенный вне пространства социальных и политических бурь и потрясений. *Muséum*, – при *Ancien Régime* место изысканного времяпровождения, интеллектуального отдыха просвещенной публики, – став в 1793 г. достоянием нации, должен был знакомить народ с естественной историей, что вполне отвечало якобинской риторике и идеологии, которая трактовала Природу и природное как этические понятия. Тем самым, *Muséum*, по замыслу лидеров революю-

[5] Подр. см. [24, p. 131-198]. Когда в 1771 г. Бюффон-старший серьезно заболел и при дворе сочли, что он при смерти, король – учитывая что единственному законному наследнику интенданта («Бюффончику») всего 7 лет – решил передать руководство *Jardin* в руки графа д'Анживье. Однако здоровье Бюффона постепенно пошло на поправку и в итоге король, чтобы как-то успокоить огорченного натуралиста, компенсировал ему обиду различными милостями – возвел Бюффона в графское достоинство, распорядился поставить ему при жизни памятник в *Jardin des plantes* и т. д.

[6] «Ces jardins seront un Elisée dont l'ami de la Nature n'approchera qu'avec respect» - из речи Фуркруа на похоронах Л. Добантона (январь 1800 г.). См.: [27, p. 9]. Термин Элизиум (Ἠλύσιον πεδίον) впервые упоминается в *Одиссее* (IV, 563), и означает далекую область на окраине Вселенной, где царствует светловласый Радаманф. Там нет бурь и непогод, но постоянно с океана веет зефир. Впоследствии представление об Элизиуме развилось и слилось с представлением об «островах блаженных», помещавшихся на краю океана, на крайнем западе. Сюда же относится и представление об острове Левке, где наслаждаются бессмертием Ахилл и другие герои. У Гесиода (*Труды*, 167 и сл.) на островах блаженных пребывают все герои, сражавшиеся в знаменитых войнах древности. Острова эти необычайно плодородны и управляются Кроносом. Любопытное развитие понятия об островах блаженных находим у Пиндара (*Од*. II, 140 и сл.), где оно возвышается до степени понятия о загробном воздаянии, и у Платона (*Горгий*, 626С.), по которому истинный мудрец отсылается Радаманфом на острова блаженных. Кювье называл *Muséum* «*le temple le plus grand et le plus beau qui ait été consacré à la nature*» [20, p. 436].

ции, должен был способствовать трансформации бывших королевских подданных в равноправных граждан «Республики всеобщего блага», т. е. создавать новый тип идеальной личности, автономной и потому легитимной («нации … должны пониматься как индивиды вне социальных связей и, как говорится, в природном состоянии», – писал Э. Сьейес [цит. по: 10, с. 99]). Действительно, где, как не в его садах, оранжереях, зверинцах и павильонах нация – этот новый суверен[7] – могла узреть порядок Природы. Пространство *Muséum* представляло собой артефактное пространство якобинской социальной утопии, местом культивирования рациональной добродетели. Именно благодаря этой своей идеологической и символической роли бывший *Jardin du Roi* избежал участи королевской *Académie des sciences*.

Более того, именно в годы Террора и в посттермидорианский период *Muséum* засвидетельствовал известный расцвет. Декрет Конвента от 10 июня 1793 г., принятый по инициативе депутатов Ж. Лаканаля (*J. Lakanal*) и А. Тибодо (*A. Thibaudeau*), поддержавших идеи Добантона, предусматривал создание двенадцати кафедр (вместо прежних трех: ботаники, анатомии и химии). Собрание профессоров, возглавлявших эти кафедры[8] и имевших одинаковые права и оклады, ежегодно избирало из своего числа президента (должность интенданта была упразднена), который подчинялся министру внутренних дел (главным образом, в финансовых вопросах). Согласно новому, революционному уставу *Muséum* должен был вести просветительскую и учебную работу по всем нефизико-математическим наукам, а не только по ботанике *par excellence*, как это было ранее. Таким образом, заветная мечта Добантона соединить в *Jardin*/*Muséum* три направления деятельности – учебное, исследовательское и собственно музейное (собирание, хранение и систематизацию естественнонаучных экспонатов) – смогла, наконец, осуществиться в полной мере.

Якобинский террор и войны (сначала так называемые революционные, а затем наполеоновские) стали одним из основных источников пополнения му-

[7] В Конституции, принятой Учредительным собранием 3 сентября 1791 г., в силу необходимости как-то примирить заявление о том, что «источник любого суверенитета зиждется по существу в Нации» с фактом существования королевской власти, было записано, что «Нация, которая единственная является источником всех властей, может осуществлять их лишь путем делегирования». В тексте же Конституции (статья 25), принятой Конвентом 24 июня 1793 г., понятие нации было фактически заменено понятием «народа-суверена».

[8] Р.-Л. Дефонтен (*R.-L. Desfontaines*) – профессор ботаники, А. Фуркруа – профессор химии, А. Порталь (*A. Portal*) – профессор анатомии человека, А.-Л. де Жюссье (*A.-L. De Jussieu*) – профессор полевой ботаники (*botanique à la campagne*), Г. ван Спендонк (*G. Van Spaendock*) – профессор иконографии, А. Туэн (*A. Thouin*) – профессор садоводства, А.-Л. Броньяр (*A.-L. Brongniart*) – профессор химии в ее применении к промышленности, Л. Добантон – профессор минералогии, А. Мертрюд (*A. Mertrud*) – профессор анатомии животных (затем Кювье переименовал эту кафедру, назвав ее кафедрой сравнительной анатомии), Б. Фойас де Сент Фон (*B. Faujas de St. Fond*) – профессор геологии, Ж.Б. Ламарк (*J.B. Lamarck*) – профессор зоологии насекомых, червей и микроскопических животных, Б.-Ж.-Э. де Ла-Виль-сюр-Иллон, граф де Ласепед (*B.-G.-E. De-sur-Illon, comte de Lacèpede*) – профессор зоологии четвероногих, птиц, рептилий и рыб. После вынужденного отъезда Ласепеда из Парижа в 1794 г. его кафедра была разделена на две – зоологии млекопитающих и птиц (ее возглавил Э. Жоффруа Сент-Илер (*E. Geoffroy Saint Hilaire*)) и зоологии рептилий и рыб (ее занял Ласепед, по возвращении, в 1794 г., в Париж). Из приведенного списка только Жоффруа не был связан с *Muséum* до 1789 г.

зейных коллекций.[9] Вот уж поистине – «пожар способствовал ей много к украшенью»!

Так, бывший королевский зверинец был перемещен из Версаля в *Muséum*.[10] Музейный минеральный кабинет пополнился замечательными собраниями принцев Конде, а библиотека и коллекции «специменов» сильно увеличились за счет «конфиската», т. е. собственности арестованных, гильотинированных и *émigrés*. Но этого мало. В 1794-1795 гг. после внушительных побед революционных армий и последующих дипломатических переговоров Франция получила часть территории Пруссии, испанскую часть Сан-Доминго, голландскую Фландрию, Маастрихт и Венло, а также Бельгию. При этом вслед за военными на завоеванной территории тут же появлялись люди науки (*commissaires des sciences*), среди коих были и профессора *Muséum* – биолог Андрэ Туэн, с 1764 г. главный садовник в *Jardin*, секретарь Бюффона, а также геолог и путешественник, автор работ по воздухоплаванию на воздушных шарах Бартелеми Фойас де Сент Фон (его именем назван минерал фойясит), – которые подчистую конфисковывали все научные коллекции, книги и инструменты.[11] Лучший способ освободить науку от деспотизма – это отправить все награб… , простите, освобожденное от оков тирании прямиком в Париж.[12] Самым впечатляющим эпизодом этой грандиозной операции стала отправка в *Muséum* из Гааги двух живых слонов из коллекции голландского штатгальтера (вместе, разумеется, со всем зверинцем и прочими коллекциями). В *cité* свободы, равенства и братства слоны благополучно пережили Конституцию III года, Директорию, II Вандейскую войну, заговор Бабефа, перевороты 18 фрюктидора и 18 брюмера, Конституцию VIII года, после чего один из них в 1802 г. перешел в лучший из миров, как раз после блестящего завершения военной экспедиции генерала Бонапарта, сопровождаемого цветом французской науки, куда-то в направлении исторической родины штатгальтерова животного. Второй слон оказался более живучим, он

[9] По словам Д. Оутрам, «*the Muséum was the direct beneficiary of the Terror and the Revolutionary and Napoleonic wars*» [39, P. 164].

[10] В XVI и XVII вв. зверинцы часто устраивали при дворах европейских правителей. Диких животных держали в Тауэре, в Версале, Потсдаме, Турине, Дрездене, Касселе, Гааге и Штуттгардте.

[11] См. [17, p. 354-374; 38, p. 251-257; 50, p. 860-863; 48, P. 67-123; 49, p. 197-209]. Впрочем, идейных наследников Руссо и Даламбера отличала широта замыслов (особенно в предприятиях такого рода), а потому людей науки сопровождали также специалисты по искусству. Как было сказано одним депутатом Конвента, «мы имеем большее право, нежели римляне, утверждать, что сражаясь с тиранами, мы защищаем искусство … . Ван Дейк и Рубенс уже на пути в Париж, фламандская школа воскресла *en masse* и украсит наши музеи». Предвижу возражение – мол, нельзя модернизировать нравы, поступки и практику далекой эпохи, это неисторично. Люди действовали в соответствии с *droit du vainqueur*, так было принято. Абсолютно с этим согласен. За двести с лишним лет нравы и практика времен Робеспьера и Наполеона так модернизировались, а права победителей так расширились, что ни о каком сравнении и речи быть не может.

[12] Как заметил Ф. Бойер, «выполняя зимой 1794 – 1795 гг. свою миссию в Бельгии и на левом берегу Рейна, Туэн и Фойас действовали двояко: они то конфисковывали, то ограничивались наблюдениями, записями или зарисовками» [16, p. 251 – 257]. Действительно, когда, к примеру, внимание комиссаров Конвента привлекли угольные копи в районе Льежа, то в силу физической невозможности вывезти это месторождение во Францию, пришлось заняться описаниями и кое-каким художественным творчеством – «мы сделали рисунки нескольких машин, которые облегчают эксплуатацию [месторождения] и экономят человеческий труд», – докладывали Туэн и Фойас Комитету народного образования 2 брюмера III года [16, p. 253]. А все потому, что эти хитрые голландцы были «*toujours mystérieux*», когда дело касалось технологических усовершенствований.

дотянул до убийства герцога Энгиенского и коронации Наполеона. Но и после смерти бывшие узники голландского деспотизма продолжали верно служить науке своей третьей родины – Ж. Кювье, внимательно изучив их останки и сравнив последние с останками мамонтов, представил в *Annales du Muséum d'Histoire Naturelle* замечательный мемуар «*Sur les éléphans vivants et fossiles*».

Конвент высоко оценил заслуги своих ученых. Было отмечено, что «граждане Фойас и Туэн, соединяя патриотизм и просвещенную любовь к наукам, осуществили доставку этого кабинета (т.е. естественнонаучных коллекций бывшего штатгальтера Голландии Вильгельма V. – *И.Д.*) в целости и сохранности» и собранные ими материалы будут способствовать «процветанию Республики» [16, p. 257]. Позднее, в 1808 г. аналогичную миссию в Испании и Португалии выполнял Э. Жоффруа Сент Илер [32, P. 1-82]. Вернемся однако в *Muséum*, куда попала б*о*льшая часть естественнонаучных коллекций, вывезенных из других стран Европы по праву победителя или полученных по обмену или в дар.

Как уже было сказано, политико-воспитательная функция *Muséum* состояла в демонстрации широкой публике порядка Природы. Однако, при этом за скобками оставалось то обстоятельство, что хотя кое-какой порядок в этом Элизиуме действительно был, но – именно в силу сосредоточенности в нем растений и животных, кои в вольной природе вместе никогда не сосуществовали – *естественного* в нем было не больше, чем в регулярной проницаемости парковых пространств Версаля [10, с. 163-183]. Если королевский парк имитировал природу, «прежде всего имитируя силу и энергию творения» [10, с. 171], то пространства *Muséum*, т. е. публичные пространства-репрезентаторы дикой природы, расположенные среди хаоса и раздрая урбанизированной жизни, демонстрировали неисчерпаемое много- и разнообразие сотворенной Природы, т. е. искусственно (механически) размещая в музейном подпространстве конгломерат видов, «естественные отношения» (Кювье) которых оставались неясными, имитировали земной Рай, состоящий из «индивидов вне социальных связей». Речь шла, таким образом, не о реальной природе, но о «просветительской идеологеме Природы как обобщенного, нерасчлененного единства» [3, с. 27]. Такая Природа-субстанция виделась Руссо и его последователям источником первозданных «естественных» ценностей.

В то же время само сообщество естествоиспытателей, призванное изучать гармонию Природы и просвещать публику, со второй половины XVIII столетия начало раскалываться по одной застарелой, но до поры малозаметной трещине, прошедшей также и по штату Музея натуральной истории. Начну с примера, немного забежав во времени вперед, в период Консульства.

Как известно Наполеон, отправляясь в египетский поход, пригласил принять в нем участие ведущих французских ученых. Тем самым, кампания Бонапарта наряду с тривиальным военно-политическим окрасом обретала также полутона научно-исследовательского предприятия, характерного для века Про-

свещения. Однако, отнюдь не все светила французской науки приняли предложение Первого консула Республики. Некоторые, как, например, Г. Прони, Фуркруа и Кювье, отказались. Разумеется, у каждого на то были свои резоны. «Мой расчет, – объяснял свой отказ Кювье, – таков: я сейчас нахожусь в центре наук, среди самых замечательных коллекций и уверен, что здесь [в Париже] напишу свои лучшие, куда более совершенные и систематические работы и сделаю куда более важные открытия, нежели участвуя даже в самом плодотворном путешествии» [цит по: 39, P. 61]. В тоже время Э. Жоффруа живо откликнулся на генеральское приглашение и отправился в Египет, где чуть было не потерял зрение, да, и жизнь его оказалась в опасности [31]. За столь разным отношением двух, тогда еще близких друзей, к возможности участия в египетском походе, стояло нечто большее, нежели мотивы личного выбора, продиктованные житейскими или карьерными соображениями. Яснее всего об этом спустя несколько лет сказал Кювье: «Между стилем и идеями путешествующего и кабинетного натуралиста (*du naturaliste voyageur et ... du naturaliste sédentaire*), равно как и между их талантами и характерами, существуют, как правило, сильные различия. Первый преодолевает, с той или иной скоростью, многие и разнообразные местности, дивясь великому множеству интересных объектов и живых существ. Он наблюдает их в естественном окружении (*dans les lieux même où les plaça la nature*) и в их подлинном отношении со всем, что находится вокруг них и во всей полноте их жизни и деятельности. Но каждому из них он в состоянии уделить лишь немного времени … . И потому он лишен возможности сравнивать каждый объект с другими, ему подобными и досконально описать его характерные черты… . В итоге, его наблюдения оказываются разрозненными и беглыми (*isolée et fugitives*) … . Кабинетный же натуралист, действительно, опирается на описания живых существ отдаленных стран, сделанные другими и подверженные в той или иной мере ошибкам, а также на более или менее испорченные (*altérés*) образцы. Да, он не может прочувствовать зрелищ природы так, как тот, кто видел их воочию. Тысячи мелких деталей … ускользают от него. Однако эти недостатки его положения вполне компенсируются его преимуществами. Хотя кабинетный натуралист и не видит природы в действии, он, тем не менее, может детально изучить находящиеся перед ним ее произведения. Он может их сопоставлять друг с другом столько, сколько ему нужно, чтобы придти к достоверным выводам. Он сам выбирает и формулирует те вопросы, на которые затем будет искать ответ. Он может изучать природные образцы тогда, когда ему это будет удобно. Он может сопоставлять разрозненные факты, изложенные в разных отчетах. Путешественник же вынужден идти только одним путем (*une route étroite*), и только сидя в своем кабинете, натуралист имеет возможность свободно путешествовать по миру в различных направлениях (*l'on peut parcourir l'univers en tout sens*). Но для этого от него требуется мужество иного рода, мужество, кое берет начало в безграничной преданности истине и которое позволяет

натуралисту оставить предмет его изысканий лишь тогда, когда с помощью размышлений, наблюдений и эрудиции он высветит его настолько, насколько это возможно при данном состоянии знаний» [13].

Если вдуматься, позиция Кювье несколько озадачивает. Ведь далеко не все натуралисты в XVIII в. ездили по миру в качестве любителей экстремального туризма. Тот же Фойас, интересовавшийся вулканическими породами, отправлялся в экспедиции часто с очень конкретными научными целями (если, конечно, не считать некоторых спецкомандировок по заданию Конвента), успешно сочетая полевые и кабинетные исследования. Пафос антигумбольдтовского по своему генезису выступления Кювье заключался не в «обличении» методов работы *naturalistes voyageur* как таковых, а в противопоставлении двух стилей исследования. Здесь уместно обратиться к его поминальной речи (*éloge historique*), произнесенной в Институте Франции 5 апреля 1800 г. и посвященной памяти Добантона. Кювье сравнил исследовательские манеры и темпераменты Бюффона и Добантона:

«Бюффон, крепкого сложения, импозантного вида, властный по природе, жадный до всякой скорой радости, казалось, хотел угадать истину, а не наблюдать ее. Его воображение каждое мгновение становилось между ним и природой… ».

«Добантон, человек слабого темперамента, с кротким взором, с умеренностью, которой он был обязан природе в такой же мере, как своей собственной мудрости, вносил во все свои исследования осмотрительность самую скрупулезную; он верил только тому, что он видел и трогал, и только это решался утверждать. <…> С неистощимым терпением он возвращался к той же работе до тех пор, пока она не удовлетворяла его, и методом, быть может, слишком редким среди людей, занятых естественными науками, все ресурсы его духа, казалось, объединялись, чтобы заставить молчать его воображение. <…>. Он запирался на целые дни в Кабинете [естественной истории]; он на тысячу ладов поворачивал предметы, которые он там собрал; он скрупулезно рассматривал все их части; испытывал все возможные положения до тех пор, пока не находил такое, которое не шокировало ни глаз, ни естественные отношения» [цит. по: 4, с. 176-178].

В приведенных фрагментах из работ Кювье, просматривается, как мне представляется, еще одна тема (или контекст). Наука, как практически любая область человеческой деятельности, характеризуется своими пространственными формами, которые (если ограничиться реалиями XVIII столетия), в первом приближении можно классифицировать следующим образом:

- искусственно созданная (рукотворная) среда, архитектурная (здания и помещения лабораторий, кабинетов, оранжерей, библиотек и т. д.) и ландшафтная (ботанические и зоологические сады и иные «*domestic environments*» [40, P. 249];

- «дикая», часто экзотическая (на взгляд европейца), природа.

Кювье в приведенных выше фрагментах противопоставил эти два пространства путем противопоставления мотиваций, методологических подходов и исследовательских установок «населяющих» эти пространства натуралистов. Натуралист-путешественник, «глотатель широт» (М. Цветаева), преодолевающий бесчисленные препятствия, постоянно рискующий здоровьем и жизнью – и потому предстающий в глазах широкой публики в героическом ореоле – чутко реагирует на увиденное им в природе. Кювье же, отдавая должное заслугам *naturaliste voyageur* – иначе и быть не могло, ведь кто-то должен обеспечивать кабинетного сидельца необходимым материалом, – делает акцент на физической, эпистемологической и психологической удаленности *naturaliste sédentaire* от вечнозеленеющего древа жизни (если воспользоваться известной метафорой И.-В. Гете: «*Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum*»). Истинное знание берет начало не из романтического или мистического слияния с живой Природой, но из дистанцированности, даже отчужденности исследователя от изучаемого объекта, что требует мужества особого рода, о котором удачно сказала Д. Оутрам – «*courage mean the courage to look steadily: look in the face of Medusa, he* (т.е. Кювье. – *И.Д.*) *seems to be saying*» [40, P. 262]. Эта позиция отчасти кореллирует с нововременным идеалом «искусственно-изолирующего» (А.В. Ахутин), деперсонализованного опыта и в то же время, как мне представляется, ясно перекликается с той отстраненностью, чуждостью социуму, исключенностью из общественного договора, которые, по мысли Сен-Жюста (см. его слова, вынесенные в эпиграф данной статьи), характерны для носителя общего блага, т. е. идеализированной социальной истины. Этот носитель ино-ментален тем, кто населяет «пространство ненарушимого, однородного единства, в котором единение воль обеспечивает господство добродетели и свободы» [10, с. 466].

Подобно тому, как утопическое публичное пространство *Muséum*, встроенное на пике Террора в идеальное пространство общественного договора, топографически отделенное от пространства Гревской площади, оказалось совместимым (конгруэнтным) с главной утопией Революции – идеей нации-суверена, коей суждено было избавить общество от конфликтов, – так образ *naturaliste sédentaire*, эдакого *Homo clausus*, по терминологии Норберта Элиаса, т. е. образ своего рода следователя по делам Природы, контролирующее око и испытующий разум которого должны были заменить отзывчивое сердце и пылкое воображение *naturaliste voyageur*, оказался конгруэнтен новому типу идеальной личности, в которой лидеры Французской революции надеялись найти опору новому режиму.

КОМБИНАТОРИКА ТЕРРОРА

Теперь обратимся к иным аспектам соотнесенности научной и политико-идеологической практики в рассматриваемую эпоху.

Как известно, метафора Закона – одна из распространеннейших во время Французской революции. «Я представляю себе закон в центре гигантской сферы; все граждане без исключения находятся на равном от него расстоянии на ее поверхности и занимают на ней равные места», – писал Э. Сьейес [46, p. 209]. Откуда, по мере радикализации революции, делался неизбежный вывод: все, кто оказываются вне поверхности этой сферы, т. е. любая общественная сила, индивид или группа, нарушающие «абсолютную недифференцированную однородность общей воли» [10, с. 645] должны быть уничтожены; как выразился Л.-А. Сент-Жюст, необходимо создать такой порядок, чтобы «фракции оказались на эшафоте» [9, с. 114].

По тонкому наблюдению М. Ямпольского, «среди архитектурных проектов Французской революции особое место занимают памятники (храмы) закону… . <…> … В основу кладется некий принцип *геометрической структуры* – призмы ли, сферы ли, позволяющий осуществить то, что Люсьен Жом называет “атомизмом с эгалитарной установкой”, истоки которого он обнаруживает у Гоббса [36, p. 165]. Этот атомизм идеально отражается в сфере Сьейеса, на поверхности которой располагаются совершенно одинаковые точки-граждане. В принципе такая геометрическая модель хотя и отличается от структуры линейной перспективы, сохраняет явную связь с абсолютистской репрезентацией, где каждая точка пространства в ценностном отношении равна любой иной точке пространства, за исключением точки зрения и точки схода перспективы. Закон в центре сферы в значительной мере эквивалентен точке схода, он является тем *центром, который организует равенство граждан*» [10, с. 399, 404].

Однако наряду с детально рассмотренной М. Ямпольским *геометрической* репрезентацией власти и социума имела место также их, условно говоря, *арифметическая* репрезентация, путь которой был открыт и выраженным в сфере Сьейеса пониманием закона и государства (по словам Л. Жома, «отныне Государство должно быть понимаемо как коллективный Индивид, а также как гигантская машина, составленная из колесиков, каждое из которых будет выполнять ту задачу, которую ему предпишет инициативный Центр» [цит. по: 10, с. 637]), и характерной для века Просвещения тенденцией к квантификации реальности – природной и социальной.

По мысли Бернара де Фонтенеля, непременного секретаря Парижской академии наук в 1697 – 1740 гг., расцвет литературы в его время был обусловлен в первую очередь распространением того, что было им названо *l’esprit géometrique*, а в XX столетии Джоном Хейлброном – *the quantifying spirit* [26, p. 14; 35, P. 2]. И тот, и другой термин означал страсть к порядку, систематизации, измерению и калькуляции, что предполагало частичную или полную деиндивидуализацию калькулируемых объектов. На мой взгляд, точнее было бы говорить о *комбинаторно-калькулирующем* подходе к репрезентации реальности. Страсть к комбинаторно-калькуляционным процедурам нашла свое выражение не только в естественных и прикладных дисциплинах – от физики до лесо-

водства, но и в гуманитарной и социально-политической сферах. Вот несколько характерных примеров.

Размышляя о трагической судьбе Марии-Антуанетты, Эдмунд Берк заметил: «век рыцарства миновал, пришло время жуликов, экономистов и калькуляторов…»[13].

Роялистские печатни распространяли афиши, на которых был изображен *le calculateur patriote*, сидящий за столом, на котором свалены отрубленные головы врагов революции, и ведущий учет казненных в отдельной книге [28, P. 154]. В этом контексте известные «расчеты» Марата – сколько голов следует отрубить для полного счастья французского народа – вполне вписываются в калькулирующую риторику века Просвещения.

«Искусство расчета вообще (*L'art de calculer en général*), – читаем в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера (статья «*CALCUL*»), – есть в сущности искусство находить единственное отношение, которое получается из комбинации нескольких отношений. Различные типы комбинаций дают различные правила *вычисления* (*calcul*)» [23, p. 545].

Комбинаторно-калькуляционный дискурс ясно выразился в сочинениях Этьенна Бонно де Кондильяка, чье влияние на становление и характер психологии и эпистемологии во Франции эпохи Просвещения было глубоким и длительным. Кондильяк понимал метод анализа и как инструмент исследования действий (*opérations*) ума, и как способ описания этих действий: «это действие [анализ] состоит лишь в сочетании наших идей и их расчленении, с тем, чтобы подвергать их различным сравнениям и посредством этого обнаруживать отношения между ними и новые идеи, которые они могут породить. Этот анализ – подлинный путь к открытиям, потому что благодаря ему мы устанавливаем происхождение вещей. <…> Он ищет истину без всякой помощи общих предложений, а всегда посредством своего рода исчисления (*par une espèce de calcul*), т. е. сочетая и расчленяя понятия …» [6, с. 114].

Французский инженер Гаспар де Прони в неопубликованной статье «*De intelligence moyenne et de ses progrès*» писал: «Средний ум (*l'intelligence moyenne*) характеризует и измеряет превосходство одного народа над другим. Принимая за точку отсчета (*pour terme de comparaison*) его состояние во Франции, мы можем составить детальную и градуированную таблицу (*un tableau nuancé et gradué*) для всех народов Европы» [43].

Для Кондильяка, Даламбера, Кондорсе и многих других философов XVIII-го столетия, мышление представляло собой своего рода комбинаторное исчисление («*a combinatorial calculus*», по выражению Лорен Дастон [21, P. 191]), подобно тому как арифметика была «искусством комбинирования [численных] отношений» [23, p. 675]. Сила ума – искусного калькулятора – выражалась прежде всего в его способности расчленять, сопоставлять и рекомбинировать

[13] См. [18, P. 170]. По поводу этого высказывания Берка Т. Пэйн бросил реплику: «He [Burke] pities the plumage but forgets the dying bird». [41, P. 75].

идеи согласно определенным правилам. «Мы в сущности не создаем идей, – убеждал читателей Кондильяк, – а лишь комбинируем путем сочетания и расчленения те идеи, которые мы получаем через органы чувств. Изобретательность состоит в умении делать новые сочетания» [6, с. 131]. И поскольку «здравый смысл, ум, разум и их противоположности происходят одинаково из одного и того же начала, коим является связь идей друг с другом», связь, «которая порождена применением знаков» [6, с. 135], то посредственность, талант и гений отличаются не, так сказать, качественно, а лишь по степени владения искусством сочетания (комбинаторики) идей, что в свою очередь зависит от степени развития языка (и вообще знаковых систем), которую застает данный индивид или данная нация в данную эпоху («успехи Ньютона были подготовлены тем выбором знаков, который был сделан до него, и методами исчисления (т. е. комбинаторики знаков. – *И.Д.*), которые были до него придуманы» [6, с. 264]) и от степени умственного развития индивида, чему способствует правильное обучение, т. е. обучение, следующее «урокам, которые дает нам природа» [5, с. 185].

Экспансия комбинаторно-калькулирующего дискурса в сферы морали и политики давала порою «странные сближения» идей. Считалось, к примеру, что одни пороки (скажем, жадность), сочетаясь с другими, могут эти другие (например, честолюбие) ослаблять. К тому же, если поведение человека, диктуемое его порочными наклонностями, может легко просчитываться, то тогда эти наклонности становятся управляемыми, а потому не столь опасными для окружающих. Иными словами, калькулируемый порок не намного хуже добродетели, ибо предсказуем и, в принципе, нейтрализуем. (Как в известной песенке: «На жадину не нужен нож / Ему покажешь медный грош / И делай с ним, что хошь»). Типичный пример – когда героиня *The History of Rasselas, Prince of Abissinia* (1759), единственного романа Сэмюэля Джонсона, «литературного диктатора» Англии XVIII века, узнает, что похитивший ее араб падок на золото, она утешает себя тем, что «алчность – порок заурядный и предсказуемый (*a uniform and tractable vice*)» [37, P. 93]. При этом некоторые авторы предлагали количественные оценки тех или иных моральных качеств. Так, Фрэнсис Хатчесон ввел понятие «*moment of good*» (M) некоего поступка, математически определив этот момент как произведение *benevolence* (благожелательности, великодушия) на *ability* (способность делать добро): $M = B \cdot A$.[14]

[14] См.: [*Hatcheson F.*] An Inquiry Concerning Moral Good and Evil « // An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue (полное название в переводе на русский звучит так: «Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели в двух трактатах, в которых принципы покойного графа Шефтсбери объяснены и защищаются против автора басни о пчелах, а идеи морального добра и зла устанавливаются согласно суждениям древних моралистов с попыткой ввести математическую калькуляцию в предмет нравственности». – *И.Д.*). London, 1725. P. 168. Рассматривая правила суждения о нравственности действий, исходя из их мотивации или оценки склонностей, побудивших к действию, Хатчесон осознавал сложность проблемы. «Ведь сентименталистский характер проявлений добродетельных склонностей скрывает от нас субъективные мотивы действий. Сам агент может не отдавать в них отчета. Личная интроспекция подтверждает это. Помочь делу может установление общих правил для определения сравнительной ценности добродетельных действий. Тут снова можно

Бентам уверял читателей, что составляемые им суммы и разности величин удовольствия и страданий есть «*nothing but what the practice of mankind*» [12, P. 40].

Здесь уместно также вспомнить приведенное Дж. Свифтом сатирическое описание комбинаторной машины Большой Академии Лагадо «для усовершенствования умозрительного знания при помощи технических и механических операций». Благодаря этой машине, выдающей с помощью сорока учеников разнообразные случайные комбинации слов, «самый невежественный человек с помощью умеренных затрат и небольших физических усилий может писать книги по философии, поэзии, политике, праву, математике и богословию при полном отсутствии эрудиции и таланта» [8, с. 122].

Отголоски комбинаторного мышления слышны в замечании английского мемуариста Генри Йорка: «… французские химики почти повсеместно были наиболее преисполненными энтузиазмом агентами революции. Возможно, они тешили себя надеждой, что люди могут объединяться и разъединяться подобно тому, как это имеет место в химических процессах (*mankind are capable of being composed and decomposed after the model of a chemical process*). И, конечно, не будет абсурдным (*irrational*) приписывать это их революционное рвение врожденной любви к экспериментам» [52, P. 314].

Комбинаторно-калькуляционный дискурс часто воспринимают как проявление механистического взгляда на природу, человека и общество. И в этом есть свой резон, но с той, однако, оговоркой, что в эпоху Просвещения понятие *calcul* все-таки еще не обрело вполне механистическую форму, поскольку ум и даже моральное чувство хотя и мыслились как наделенные способностью к исчислению, однако способность эта, *во-первых*, не проявлялась изолированно, а только в сочетании с умозрением и способностью морального суждения, а *во-вторых*, и это особенно важно, калькуляция не стала еще монотонной, утомительной *подсобной* работой, обыденной и автоматической, тогда как механицизм в когнитивной сфере был связан с репрезентацией интеллектуальных процессов по аналогии с *automata*. Даже в знаменитой *L'Homme Machine* Жюльена Деламетри калькулирующий ум еще не превратился в, как выразилась Л. Дастон, «*the oxymoronic mechanical intelligence*».[15] Гигантская вычислительная ра-

---

попытаться применить калькуляцию. При одинаково добром поступке двух агентов при неравенстве их способностей первенство принадлежит тому, чьи способности слабее. Но как установить мерило склонности? В том случае, когда человек находится во власти частного интереса, следует вычесть из мотивов величину эгоистических желаний и остаток покажет величину добродетели. Далее предлагается алгоритм подсчета моральной низости недобрых и чисто эгоистических наклонностей, ведущих к причинению обществу вреда. Сила их прямо пропорциональна причиненному злу и обратно пропорциональна способностям. Вообще правила суждения о моральности действий, исходя из сравнительного объема или количественной характеристики склонностей, по сути являются рационалистической методой подсчета морального эффекта, от которой Хатчесон отказался в 4 издании Трактата о морали (1738)». См.: [1, с. 74].

[15] См.: [21, P. 193]. Вообще задача Деламетри – уподобление ума телу, а не того и другого машине, отсюда его акцент на способности ума к воображению, которая часто понималась как наиболее «телесная» из всех умственных способностей.

бота служила предметом восхваления и вызывала почтительное изумление. Приведу характерный пример.

В начале 1790-х гг. в Париже шла активная работа над проектом, который в глазах современников представлял собой своеобразный памятник Разуму, но в отличии от других многочисленных аллегорий Разума (алтарей, статуй, обелисков, пирамид и прочих атрибутов революционного театра) этот монумент был совсем иного рода. Под руководством инженера Гаспара-Клэр-Франсуа-Мари Риш, барона де Прони (*G.-C.-F.-M. Riche, baron de Prony*, 1750 – 1839) два десятка «калькуляторов» заполняли семнадцать томов *elephant folio* логарифмических и тригонометрических таблиц, кои, как было сказано в правительственной инструкции,[16] «не только не оставляли желать ничего лучшего в отношении точности, но также представляли собой самый грандиозный и величественный памятник искусству вычисления, который когда-либо сооружался или задумывался» [44, p. 49]. Создание этих невиданных таблиц мыслилось как часть мероприятий по составлению земельного кадастра Франции. Но по разным причинам (незавершенность исследований по разработке метрической системы мер, недостаточное финансирование) дело затягивалось. Кроме того, хваленая беспрецедентная точность[17] была, как признавал сам Прони, в то время никому не нужна (уж во всяком случае в кадастровых и многих иных практических работах). Наконец, таблицы были неудобны в пользовании, поскольку предполагали деление прямого угла не на привычные 90, а на «революционные 100 градусов», а каждый градус – на 100 столь же революционных минут, поскольку по первоначальному замыслу введение метрической системы предусматривало децимализацию всех величин, в том числе угловых градусов и единиц времени.[18] Причем консервативная Парижская академия наук охотно поддержала и эту часть метрологической реформы. Но это не спасло Академию от роспуска,

[16] Работа велась по заказу правительства кадастровым управлением (*Bureau du Cadastre*), созданным в 1791 г. и возглавлявшимся упомянутым де Прони.

[17] В парижской обсерватории с 1797 г. хранятся два экземпляра порознь вычисленных рукописных таблиц, по 17-ти томов в каждом экземпляре. Они заключают 10 000 натуральных синусов с 25-ю десятичными знаками и восемью столбцами разностей, логарифмы 100 000 синусов с четырнадцатью десятичными знаками и пятью столбцами разностей, логарифмы отношений синусов к дугам для 5000 дуг до 1/8 доли окружности, с четырнадцатью десятичными знаками, такая же таблица отношений тангенсов к дугам, логарифмы чисел от 1 до 100 000 с девятнадцатью знаками и от 100 000 до 200 000 с двадцатью четырьмя знаками и пятью столбцами разностей.

[18] Подроб. см.: [25, p. 191 – 207]. Впрочем, деление прямого угла на 100 градов, града — на 100 минут, минуты — на 100 секунд было преложено Лагранжем еще в 1782 г. Кроме того, декрет от 24 ноября 1793 г. ретроспективно ввел, начиная с 22 сентября (дня осеннего равноденствия) 1792 г., новое летоисчисление – со дня установления Французской республики. Год, согласно республиканскому календарю, делился на 12 равных месяцев по 30 дней в каждом, в конце года добавлялось 5 или 6 дополнительных дней. Каждый месяц делился на 3 декады. Сутки делились на 10 часов, каждый час — на 100 минут, каждая минута на 100 секунд. Были даже изготовлены несколько часов, отвечавших такому делению, но большинство часовых мастеров новшество не приняло, вынуждая французов жить по «рабскому» исчислению времени остальных народов. Поэтому закон от 18 жерминаля III года приостановил действие республиканского времени под тем предлогом, что оно, мол, было только в интересах ученых. Республиканский календарь просуществовал 14 лет – до 1 января 1806 г., когда он был отменен Наполеоном.

ибо, как было сказано в решении Конвента, «при разумном правительстве не должно существовать никаких паразитических учреждений».

Польза от таблиц Прони была не больше, чем от мишуры, украшавшей праздник Разума 20 брюмера II года Республики, хотя эти фетиши рационализма, прославляемые как выражение меры самой Природы (десятичная система была объявлена столь же естественной, как человеческая рука [15, p. 5]), меры вечной и неизменной. На деле же их символическая мощь была обратно пропорциональна их практической полезности и они остались монументом революционного иррационализма, а не инструментом действительно необходимых рациональных реформ.

Кстати, о десятичной системе мер. Ее введение многие рассматривали не только в научном и экономическом контекстах, но и в политико-идеологическом. В законе от 18 жерминаля III года Республики (7 апреля 1795 г.) говорилось: «Как могут друзья равенства терпеть пестроту и неудобство мер, хранящих еще память о позорном феодальном рабстве?» Закон предлагал гражданам «дать доказательства своей преданности единству и неделимости республики, пользуясь уже теперь новыми мерами в своих расчетах и сделках» [35, P. 207-215].

Клод Антуан Приер де ла Кот д'Ор (*C.A. Prieur-Duvernois* или *Prieur de la Côte d'Or*; 1763 – 1832), по образованию военный инженер, уверял, что десятичная система – это технический язык страны Утопии: «сколь счастливы мы станем оттого, что нам не придется более ни с кому обращаться, чтобы произвести расчеты, касающиеся нашего процветания, нашей собственности, наших расходов и выпивки. Нам не придется иметь дело с людьми, которые извлекают выгоду из нашего невежества» [42, p. 4-5].

Кондорсе же напрямую связывал десятичную систему с демократией, поскольку новая система мер и весов сделает, по его мнению, всех граждан «самодостаточными в расчетах, связанных с их интересами, без чего они не могут быть ни по-настоящему равными … , ни подлинно свободными» [19, p. 3-4]. И только мудрый П.С. Лаплас в 1811 г. признался Наполеону, что главное предназначение новой метрической системы, по замыслу ее создателей, состояло не в сокрушении феодальной метрологии, а в том, чтобы все величины делились на десять [14, p. 193]. Лаплас выбрал вполне подходящее время для этого признания – революционная риторика и демагогия к тому времени уже отошли в историю, социо-культурная ситуация также изменилась, талант перестали рассматривать как *virtuoso* по части перестановок и комбинаций идей [21, P. 186] и скучную, трудоемкую и малооплачиваемую работу вычислителя стали поручать тем, кого не считали обремененными большими способностями к творческой интеллектуальной деятельности, т. е. женщинам, кои и выполняли роль живого процессора при составлении астрономических, статистических и прочих таблиц по крайней мере до конца Второй мировой войны. Но вернемся к 90-м гг. XVIII столетия.

Вдохновленный идеей производственного разделения труда, детально рассмотренной в первых главах *The Wealth of Nations* (1776) Адама Смита, Прони задумал свести сложные математические вычисления к рутинным операциям, не требующим от подавляющего большинства исполнителей творческого подхода: «Мне сразу же пришла идея применить тот же метод (т. е. метод разделения труда, описанный А. Смитом. – *И.Д.*) к той колоссальной работе, которая на меня свалилась и фабриковать мои логарифмы так же, как производят иголки» [45, p. 5]. Предложенной им иерархии вычислительных задач соответствовала иерархия исполнителей: на вершине исполнительской пирамиды – горстка талантливых математиков (*géomètres d'un très grand mérite*), таких как А. Лежандр и Л. Карно, которые разрабатывали расчетную процедуру (т. е. выводили аналитические формулы для вычислений), далее следовали семь-восемь *calculateurs*, которые организовывали вычислительный процесс по предложенным формулам, основание же пирамиды составляли 70-80 исполнителей (*ouvriers*), знакомых с азами арифметики и способных аккуратно складывать и вычитать. На первых порах эти рабочие функции выполняли девушки сомнительного поведения, которым Революция открыла новые жизненные перспективы. Грандиозная и бессмысленная работа этой вычислительной мануфактуры (*ateliers de calcul*), начатая в 1791 г. была окончательно завершена к 1801 г. Она уместилась в семнадцать томов *in folio* и полностью никогда не публиковалась, оставшись, по мнению Л. Дастон, символом соединения того, что прежде считалось несоединимым – высокого искусства анализа и рутинной работы, ученых высокого ранга и безвестных, малообразованных *ouvriers*.[19]

Размышляя в 1800 г. о взаимоотношениях между обществом и литературой мадам де Сталь бросила несколько уничижительных слов в адрес ученого люда: «Ученые относят все, что не поддается логике расчета (*calcul*) к иллюзиям. Они сначала оценивают силу правительства – неважно, какого – а затем, поскольку у них нет иных желаний, кроме как предаваться своим трудам в мире и спокойствии, приносят обет послушания тем, кто в данный момент оказывается у власти. … И никто так не радует сердце абсолютного монарха, как те, кто глубоко погружен в поиск физических законов, оставив мораль любому, кто захочет ею воспользоваться» [47, p. 79].

Как и в предыдущем сюжетном блоке этого раздела, обращенном к области натуральной истории, здесь, на примере математического проекта Прони, также просматривается соотнесенность (если не структурный изоморфизм) приемов научной и политической репрезентации реальности, природной и социальной. Вычислительная работа, самой своей громадностью и точностью вызывавшая поначалу восхищенное удивление публики – сродни ее восторгам подвигами *naturalistes voyageurs*, – став механически-рутинной, противопоставлялась не

[19] См. [21, P. 190]. Впрочем, реализованная Прони схема организации вычислений навела англичанина Чарльза Бэббиджа на мысль заменить ошибающегося человека-вычислителя безошибочной машиной.

только силе интеллекта, но и спонтанности морального импульса, а подчас и самой жизни.

Рутинизация «производства логарифмов» (мероприятие само по себе морально непредосудительное) в смысловой матрице эпохи Террора оказалась сопряженной с почти мануфактурной рутиной фабрикации смертных приговоров, а также процедуры их исполнения, о чем свидетельствует письмо Шарля-Анри Сансона, палача Старого Режима и старого закала, доктору Жозефу Гильотену, депутату Учредительного собрания, человеку нового режима. По сообщению *Moniteur* от 11 октября 1789 г. «Г-н Гильотен прочел свой доклад, в котором он устанавливает принцип, согласно которому закон должен быть равным для всех … . Развитие этого принципа приводит к положению, которое Гильотен предлагает собранию обсудить (речь шла об «отсечении головы при помощи простого приспособления» – *И.Д.*). Доклад часто прерывался аплодисментами, часть собрания, в видимом возбуждении, требует немедленного обсуждения, в то время как другая часть, кажется, предполагает возражать» [цит. по: 7, с. 24-26]. Сансон поначалу с неудовольствием наблюдал, как люди науки вмешиваются в его ремесло, но потом написал Гильотену, что, поскольку после каждой казни меч зазубривается и его надо оттачивать и выравнивать заново, да и по многим иным причинам, доставляющим палачу лишние хлопоты и неудобства, пожалуй, стоит ввести в употребление новый аппарат, который позволил бы работать с большей точностью и с большей производительностью. Конечно, как и в описанной выше ситуации с математическими таблицами, рутинизация и механизация умаляют славу, но увеличивают производительность труда (конечно, при правильном его разделении).

Свобода и Террор росли из одного корня – из веры в универсальный характер ценностей науки как парадигмы рациональной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Абрамов М.А*. Шотландская философия века Просвещения. М., 2000.

2. *Гоббс Т*. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // *Гоббс Т*. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М., 1991.

3. *Зенкин С.Н*. Французский романтизм и идея культуры (аспекты проблемы). М., 2001.

4. *Канаев И.И*. Жорж Кювье (1769-1832). Л., 1976.

5. *Кондильяк Э*. Логика, или начала искусства мыслить // Кондильяк Э. Сочинения в 2-х тт. Т. 3. М., 1983.

6. *Кондильяк Э*. Опыт о происхождении человеческих знаний // Кондильяк Э. Сочинения в 2-х тт. Т. 1. М., 1980.

7. *Революционный трибунал в эпоху Великой Французской революции*. Воспоминания современников и документы. Под ред. проф. Е.В. Тарле. Ч. 1. Петроград, 1918-1919.

8. *Свифт Дж*. Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, потом капитана нескольких кораблей // Дж. Свифт. Избранное. Л., 1987.

9. *Сен-Жюст Л.-А*. Речи. Трактаты. СПб., 1995.

10. *Ямпольский М*. Физиология символического. Книга I. Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М., 2004.

11. *Barthélemy G.* Les savants sous la Révolution. Paris, 1988;

12. *Bentham J*. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London, 1970.

13. *Bibliothèque de l'Institut de France*. Paris. Fonds Cuvier, 3159. «Analyse d'un ouvrage de M. Humboldt intitulé: "Tableaux de la Nature ou Considérations sur les Deserts, sur la Physionomie des Végétaux et sur les Cataractes de l'Orenoque"; traduit de l'allemand par J.B.B. Eyries».

14. *Bigourdan G*. Le systèm métrique des poids et mesures: son établissement et sa propagation graduelle. Paris, 1901.

15. *Borda Ch., Lagrange J.L., Lavoisier A.L., Tillet M., Caritat M.J.A.N., marquis de Condorcet*. Rapport // Histoire de L'Academie des Sciences de Paris, 1788.

16. *Boyer F*. Le Muséum d'Histoire naturelle à Paris et l'Europe des sciences sous la Convention // Revue d'Histoire des Sciences. 1973. T. 26. № 3.

17. *Boyer F*. Les conquêtes scientifiques de la Convention // Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. 1971. T. 18.

18. *Burke E*. Reflections on the Revolution in France [1790]. Harmondsworth, 1968.

19. *Condorcet C*. Mémoires sur les monnoies. Paris, 1790.

20. *Cuvier G*. Recueil des éloges historiques. En 3 t. T. 3. Paris – Strasburg, 1819 – 1827.

21. *Daston L*. Enlightenment Calculations // Critical Inquiry. 1994. Vol. 21.

22. *Elias N*. Involvement and Detachment. Oxford, 1987.

23. *Encyclopédie*, *ou Dictionaire raisonné des arts, des sciences et des métiers*. En 17 tt. Paris, 1751 – 1765. T. 2.

24. *Falls W*. Buffon et l'agrandissement du Jardin du Roi à Paris // Archives du Muséum national d'Histoire naturelle. 1934. Ser. 6. T. 6.

25. *Favre A*. Les origines du système métrique. Paris, 1931.

26. *Fontenelle [B. le Bovier de]* Histoire du renouvellement de l'Académie royale des sciences en MDCXCIX et les eloges historiques. En 2 tt. Amsterdam, 1719-1720. T. 1.

27. *Fourcroy A., Thouin A*. Extrait des registres du Muséum d'Histoire Naturelle sur la fête funéraire relative à l'inhumation du corps du Citoyen Daubenton, dans le Jardin de cet établissement. Ann. VIII. Paris, 1800.

28. *French Caricature and the French Revolution*. Los Angeles, 1988.

29. *Gillispie Ch*. Science and Polity in France: The Revolutionary and Napoleonic Years. Princeton, 2004.

30. *Hahn R.* The Anatomy of a Scientific Institution: The Paris Academy of Sciences, 1666-1803. Berkely, 1971.

31. *Hamy E.T*. Etienne Geoffroy St. Hilaire: Lettres écrites d'Egypte à Cuvier, Jussieu, Lacepède, Monge, Desgenettes, Redouté jeune, Norry, etc. aux professeurs du Muséum et sa famille. Paris, 1901.

32. *Hamy E.T*. La mission d'Etienne Geoffroy St Hilaire en Espagne et en Portugal, 1808: histoire et documents // Nouvelles Archives du Muséum. 4-t Sér. 1908. T. 10.

33. *Hatcheson F.* An Inquiry Concerning Moral Good and Evil // An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue. London, 1725.

34. *Heilbron J.L*. Introductory Essay // The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century. Berkely – Los Angeles – Oxford, 1990.

35. *Heilbron J.L*. The Measure of Enlightenment // The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century. Berkely – Los Angeles – Oxford, 1990.

36. *Jaume L*. Le discours jacobin et la démocratie. Paris, 1989.

37. *Johnson S.* The History of Rasselas, Prince of Abissinia. London, 1968.

38. *Le Muséum d'Histoire Naturelle a Paris et l'Europe des sciences sous la Convention* // Revue d'Histoire des Sciences. 1973. T. 26.

39. *Outram D*. Georges Cuvier: Vocation, science and authority in post-revolutionary France. Manchester, 1984.

40. *Outram D*. New spaces in natural history // Cultures of natural history. Cambridge, 1996.

41. *Paine T*. The Rights of Man. Harmondsworth, 1969.

42. *Prieur C.A*. Instruction sur le calcul décimal, appliqué principalement au nouveau système des poids et mesures. Paris, 1795.

43. *Prony G. R. de* De intelligence moyenne et de ses progrès. Bibliothèque de l'Ecole des Ponts et Chaussées. Paris, 1771.

44. *Prony G. R. de*. Notices sur les grandes tables logarithmiques et trigonométriques, adaptées au nouveau système métrique décimale. Paris, 1824.

45. *Prony G. R. de*. Notice sur les grandes tables logarithmiques et trigonométriques, calculées au bureau du cadastre sous la direction du citoyen Prony // Mémoires de l'Institut National des Sciences et des Arts: Sciences mathématiques et phisiques. T. 5. Fructidor. Ann. XII.

46. *Sieyès E*. Qu'est-ce que le Tiers état? Genève, 1970.

47. *Staël G. de* De la Littérature. Paris, 1991.

48. *Strien-Chardonneau M.M.G. van*. La correspondance d'André Thouin (1747-1824) et de Martinus van Marum (1750-1837), 1796-1818 // Lias: Sources and Documents relating to the Early Modern History of Ideas. 1997. Vol. 24.

49. *Strien-Chardonneau M.M.G. van*. Regard des Français sur les Hollandais aux XVIIIe siècle ou apologie du bonheur bourgeois // L'Europe des politesses et le caractère des nations. Paris, 1997.

50. *Strien-Chardonneau M.M.G. van* Voyages et lumieres: André Thouin en Belgique et en Hollande, 1794-1795 // Transactions of the ninth international congress on the enlightenment. Munster, 23-29 July 1995.

51. *Studies on Voltaire and the eighteenth century*, 346-348. Oxford, 1996.

52. *Yorke H.R*. Letters from France. London, 1814.

М.К. ПЕТРОВ: БИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ТЕОРИИ

М.С. Константинов
кандидат политических наук,
Южный федеральный университет

Люди минувших эпох живы для нас благодаря особого рода общественной практике – мемориальной. Она обеспечивает постоянное присутствие прошлого в актуальном сознании и препятствует тому, чтобы мы его подменяли или сочиняли. Те, кого уже нет, продолжают общаться с нами через оставленное ими наследие. Мы находимся во власти их заветов и в каждом новом поколении стоим перед задачей осмысленного отношения к заветам, которое одно только может уберечь от слепой покорности авторитету, с одной стороны, и от предательского беспамятства - с другой.

Э.Ю. Соловьёв [35, с. 3-4]

Жизнь была одинаковая, но мы готовили себе о ней разные воспоминания.

В.Н. Сёмин [33, с. 247]

Методологические замечания

В данной работе для анализа биографий двух замечательных мыслителей XX века – М.К.Петрова и Г.П.Щедровицкого – используется методологический инструментарий социологии знания в той её версии, которая получила название «феноменологической» [2].

Однако применение названной методологии в биографическом анализе нельзя назвать беспроблемным. Прежде всего одним из методологических постулатов социологии знания оказывается приписывание «верховного статуса» реальности повседневной жизни:[1] «По сравнению с реальностью повседневной жизни другие реальности оказываются конечными областями значений, анклавами в рамках высшей реальности, отмеченными характерными значениями и способами восприятия. Высшая реальность окружает их со всех сторон, и сознание всегда возвращается к высшей реальности как из экскурсии» [2, с. 47]. Верховенство этой реальности обусловлено её интерсубъективным характером.

[1] Это представление восходит к А.Шюцу и Д.Г.Миду. См, например, [31, с. 22; 41; 43].

Подтверждением и средством интерсубъективности служит язык как объективированная знаковая система человеческого общения. Язык тесно связан с повседневной жизнью.

Методологически это не самый сильный аргумент в социологии знания. В таком контексте те самые факты повседневной жизни, которым сам учёный мог не придавать абсолютно никакого значения, и будут выступать предметом анализа. Однако рассматриваемые авторы – М.К.Петров и Г.П.Щедровицкий – сами предоставляют ключ работы. В трудах М.К.Петрова, много занимавшегося социологией знания и социологией науки, одна из ключевых идей – идея различения науки для службы и науки как инструмента личного пользования, даже как одержимости. В первом случае это наука, «которую можно забыть на письменном столе или в лаборатории» [25, с. 319], «способность быть активным болельщиком науки, дивясь со стороны на ее свершения» [26, с. 219]. Такая наука воспринимается как ещё одна мифология и из её реальности действительно возвращаются в повседневную реальность «как из экскурсии».

Г.П.Щедровицкий, в свою очередь, фиксирует разрыв между двумя мирами:[2] «Итак, …была действительность моего мышления и даже моего призвания, предназначения или еще чего-то. А с другой стороны, были… ситуации реальной жизни, где надо было отвечать какими-то поступками на действия других, … реагировать на что-то, или наоборот, не реагировать, исключать, определять, оценивать… Весь вопрос заключается в том, какое отношение устанавливается между этими двумя мирами: что с чем мы соотносим, и какой из этих миров мы считаем главным и определяющим» [42, с. 146-147].

Поскольку индивидуальное восприятие «мира реальных ситуаций» обуславливается «биографической ситуацией» [31, с. 57; 40], важное методологическое значение приобретает понятие седиментации социального (биографического) опыта: «Лишь небольшая часть человеческого опыта сохраняется в сознании. И тот опыт, который сохраняется в нем, становится осажденным (седиментированным), то есть застывшим в памяти в качестве незабываемой и признанной сущности. До тех пор, пока не произошло такой седиментации, индивид не может придать смысл своей биографии» [2, с. 113].[3]

Итак, отправными для данного исследования служат следующие идеи. С.С.Неретина формулирует проблему изучения биографии и творчества М.К.Петрова следующим образом: «О господствующем в наше время типе ученых … можно сообщить предельно унифицированный набор данных: родился, окончил школу, аспирантуру, защитил диссертацию. В таком-то году опубликовал работу, послужившую началом таких-то идей или открытий. Элементарное построение некролога или биографических книг, имеющих структуру развернутого некролога. […] Его путь был иной. Его можно уподобить пути средневеко-

[2] Уже с седьмого класса средней школы для Георгия Петровича любимым стало выражение Салтыкова-Щедрина: «Есть жизнь, а есть концерты». В «концертах» принимать участия он не хотел [42, с. 140].

[3] Ср. аналогичное место у А.Шюца [41, с. 130].

вого подвижника. Каждый определенный отрезок времени – испытание воли» [18, с. 3; 19, с. 7].

Идею С.С.Неретиной о подвижническом пути М.К.Петрова и идею Г.П.Щедровицкого о призвании учёного следует считать основополагающей для настоящего исследования.[4] Тогда работа биографа должна быть направлена на выявление ключевого момента в жизни мыслителя – осознание главной проблемы его жизни, на исследование того, что мыслитель сам считал своим призванием, чему он отдавал свои силы: «Личность обычно кристаллизуется вокруг известного основного целеустремления, идеала, который чем дальше, тем больше определяет предпочитаемый ею тип поведения» [35, с. 33]. Задача биографа – распознать те значения, которыми мыслитель **сам** наделял события внешней жизни, и через это увидеть его жизненный опыт, седиментированный в памяти мыслителя.

Поэтому для нас интереснее будут даже не реальные события жизни двух замечательных учёных – М.К.Петрова и Г.П.Щедровицкого, – а то, как эти события интерпретировались самими этими учёными, какие из этих событий остались в их памяти, а какие нет и т.д. Как конструировалась научно-философская реальность на наличном социальном опыте?

При этом повесть М.К.Петрова «Экзамен не состоялся» и воспоминания Г.П.Щедровицкого «Я всегда был идеалистом…» рассматриваются как седиментированный биографический опыт и в качестве такового – как важнейший источник для осмысления биографий двух мыслителей.

Михаил Константинович Петров: биография

> *Судьба Михаила Константиновича, как это ни парадоксально, типична для мыслящих людей. Если слово «мыслящий» синонимично стойкости, мужеству, ответственности, нравственности.*
>
> С.С. Неретина [18, с. 17]

Михаил Константинович Петров родился 8 апреля 1923 года в г. Благовещенске (Амурская область). Его отец был партийным работником, начальником отдела народного образования Уссурийской железной дороги. Отец умер, когда Мише было около семи лет. Мать тоже партийная, учительница, имела два ордена – Ленина и Трудового красного знамени. Согласно воспоминаниям супруги М.К.Петрова Гали Дмитриевны Петровой, мать была очень мудрая, с твёрдым характером и в этом духе воспитывала сына. К общим характеристикам семейных традиций можно отнести следующие: «Мне кажется, что у них была какая-то целеустремленность, желание что-то делать, чего-то добиваться… Они

[4] Похожим образом формулирует проблему и О.И.Генисаретский [4, с. 1992]. Интересно, что сам Генисаретский сравнивает «сообщества», подобные ММК, с монастырями.

работоспособные очень. Вся семья. И потом … какая-то правильность в них была, какие-то правильные они были люди, понимаете? […] Серьёзные, неподкупные, справедливые, принципиальные и порядочные» [9].

Можно предположить, что эти семейные традиции были получены в наследство от старшего поколения – дедушки и бабушки. Дедушка Михаила Константиновича был человеком верующим – молоканином. Молоканство представляют собой одну из сект духовных христиан и при этом существенно напоминает протестантские религиозные движения.[5] Мы предполагаем определённое влияние, опосредованное семейными традициями, молоканства на мировоззрение Михаила Константиновича. Это проявилось, в частности, в его неприятии иерархии; в критике различных форм социального фетишизма; в уклонении от видимого участия в политике с одновременным выстраиванием независимого «храма внутри самого себя»; в особой форме политического противостояния – в погружении в работу и отказе от «покаяния в грехах» (допущенных ошибках) перед лицом «голосующих истину» вместо открытого протеста; в постоянном преодолении «попа в голове»;[6] в романтическом гуманизме; в определении ответственности и самодисциплинированности в качестве главных необходимых свойств современного человека;[7] в критике «антично-христианских корней современной науки»[8] и т.д.

Знавших М.К.Петрова потрясала его мудрая – почти религиозная – терпимость к любым неприятностям: «Терпимость его, кажется, ничто не могло утомить или застать врасплох. Она поднимала его над прошлой работой в разведке, над нынешней его работой, над нашими походными неожиданностями. Как будто он все время помнил что-то более важное. Но что? И почему у меня перед этой терпимостью смесь уязвленности и превосходства?» [33, с. 589].

Ещё один интересный момент: перенос самим Петровым надежд на признание собственных заслуг, результатов исследований post mortem[9]: «Одержимых редко чествовали при жизни, чаще украшали венками могилы. [Однако] если мы кому и обязаны из предшественников, то не отступникам от истины, а тем, кто шёл до конца» [25, с. 320]. Даже в его поразительной работоспособности проявляется некоторая одержимость, корни которой можно

[5] Так, М.М.Ковалевский в книге «Интеллигенция в России» (1910г.) прямо называет молокан одной из «наиболее передовых сект протестантизма». Интересно также, что историк Н.И.Костомаров связывает возникновение сект молокан с «развитием в русском народе рациональных умствований» [14, гл. XIV]. В.Шубинский в послесловии к книге М.Эпштейна «Новое сектантство» также отмечает уникальность существовавших в России сект «протестантского типа» – молокан, духоборов и т.д. [40, с. 234]. Особенный интерес представляет сложный характер взаимоотношений молокан с государственной властью [34; 20, с. 157].

[6] Уже в ранних работах встречаются высказывания такого рода: «Вот нам и кажется, что сегодня очень нужна нам "человеческая мифология", и что именно в создании такой мифологии, способной занять место "попа в голове", – задача и смысл существования современного искусства» [28, с. 176].

[7] По Петрову, в современном мире требуется «свободный, научно-грамотный, сознающий границы собственной свободы и ответственности человек-творец» [26, с. 186].

[8] Реликты воспроизводящейся в науке религиозности: вера в абсолют, авторитет, порядок, неисчерпаемость нового, запрет противоречия и т.д.

[9] По свидетельству Г.Д.Петровой, Михаил Константинович говорил: «Меня будут публиковать после смерти».

найти скорее в семейных традициях, чем в современной ему культуре. За что бы он ни брался, ко всему относился очень серьёзно и ответственно: «Все, что он ни делал, было действительно стремлением сделать нечто правильно, то есть истинно. Отсюда неумение рисоваться, способность моментально и сосредоточенно оценивать любую ситуацию, встречаться с любой опасностью и принимать жизнь такой, какой она достается» [20, с. 5].

В школе Михаил Константинович учился очень хорошо – в аттестате были все «пятерки». В 1940 году он поступает в Ленинградский кораблестроительный институт. Среди исследователей биографии М.К.Петрова нет единства в понимании того, чем был обусловлен выбор именно этого института. Объём статьи не позволяет нам вступать в дискуссию. В любом случае, учёбу в институте Михаил Константинович не окончил: с началом войны он попал со второго курса института во фронтовую разведку на Ленинградском фронте.

Очевидно, война стала одним из поворотных пунктов в его судьбе. Однако мы до сих пор практически ничего не знаем об участии Михаила Константиновича в Великой Отечественной войне. Знаем только, что он «прославился умением выходить живым из немыслимых ситуаций, как то было, например, в Пенемюнде во время сбора сведений о первой немецкой ракетной установке» [20, с. 75]. Наше незнание обусловлено двумя причинами: во-первых, спецификой военной «профессии» М.К.Петрова,[10] во-вторых, нежеланием самого Михаила Константиновича обсуждать эту тему: о войне он рассказывать не любил. В ответ на вопросы о войне он обычно говорил только: «Война – это грязь».[11] В результате даже близкие люди и друзья почти ничего не могут рассказать об этом периоде жизни М.К.Петрова.

Война – всегда сложный и противоречивый опыт для человека. Попытаемся хотя бы частично реконструировать его. По-видимому, главное (применительно к задачам нашего исследования), что Петров вынес из своего участия в войне, состояло в осознании относительности моральных норм и, соответственно, в нежелании судить поступки других людей: «В моральном приговоре всегда есть покушение на силу. "Я лучше". Да? А уже если говорить о войне, то там все моральные приговоры пересматривались» [33, с. 590]. Можно предположить, что война побудила М.К.Петрова к переоценке ценностей. При этом, что очень важно, его этическая мягкость относилась к другим людям, проявляясь в нежелании судить поступки других людей, но не к самому себе: внутренний стержень его так и остался не сломленным.

Люди, никогда не участвовавшие в боевых действиях, с лёгкостью судят о поведении других людей в экстремальных условиях. А.А.Зиновьев, тоже участ-

[10] С.С.Неретина пишет: «Хорошо бы и, вероятно, пора ГРУ раскрыть архивы, проливающие свет на деятельность М.К.Петрова во время войны: несомненно, мы узнаем много важного о его разведдеятельности и в Пенемюнде, и в других местах» [20, с. 47, сноска 3].

[11] Г.Д.Петрова: «Он был в армии, но в блокаде одно время и, конечно, это оставило неизгладимое впечатление. Трупы подо льдом; общее мытье в банях… и я очень жалею, что фотографию выбросила... Он там как скелет, на этой фотографии…».

ник войны, высказал как-то точно такую же мысль, правда по другому поводу: «…Если человек поставлен в условия, которые ниже некоторого минимума, необходимого для практической применимости норм морали, то бессмысленно применять к его поведению моральные критерии. […] Безнравственно требовать от человека быть нравственным, если нет минимума жизненных условий для того, чтобы от человека можно было требовать нравственности» [6, с. 66].

Интересно, что подобное отношение к моральным нормам зафиксировано и Г.П.Щедровицким. О студентах-фронтовиках он вспоминал: «В подавляющем большинстве своем эти люди уже знали две очень важные жизненные вещи. Первое – что жизнь страшна. …Они прошли войну, они знали, что такое смерть, они прошли через испытание на выживание, и многие из них пришли сюда [в университет – М.К.], чтобы заниматься физикой и здесь найти пропуск в будущую жизнь, и сделали они это совершенно сознательно. (…) И вторую вещь эти ребята тоже поняли – важнейший пункт, который вообще определяет первые послевоенные годы. Они поняли, что есть "лошадь", а есть "всадник". Что можно быть либо погоняемым, либо погонять самому. И никакой промежуточной позиции нет. Поэтому они пришли на физический факультет, чтобы получить некоторую жизненную перспективу. И в этом смысле они достаточно четко знали и понимали, чего хотят. В отличие от меня» [42, с. 168]. Или в другом месте, ещё более определённо: «Это были уже взрослые люди, так сказать, видавшие виды и поэтому резкие и откровенные до циничности» [42, с. 252].

Итак, Георгий Петрович фиксирует «важнейший пункт, который вообще определяет первые послевоенные годы». И всё же М.К.Петров отказывался «быть всадником», что явно отличает его от основной массы фронтовиков-«прагматиков». Ещё один важный момент. По свидетельству Г.П.Щедровицкого, бывшие фронтовики были люди, знавшие все ужасы войны, но «познавшие, что такое доброта, и понявшие необходимость широкой точки зрения и такого взгляда, который берет на себя ответственность за целое – за жизнь какой-то системы культуры, за жизнь страны и т.д.» [43, с. 18]. Об этой же ответственности за судьбы страны говорят герои повести М.К.Петрова «Экзамен не состоялся».

Особые способности и тяга к изучению языков стали причиной, по которой в 1944 году Петрова откомандировали с фронта на учёбу в Военный институт иностранных языков, готовящий кадры для разведработы за рубежом. В институте Петров специализируется для выполнения спецзаданий в Греции. Тяжелейшим в моральном плане был для Петрова опыт участия в начале 50-х годов в эвакуации греческих партизан-коммунистов движения Сопротивления в Советский Союз. Михаил Константинович, согласно воспоминаниям близких и друзей, до конца жизни тяжело переживал этот эпизод: он выступил невольным участником предательства советской властью эвакуированных греческих коммунистов.

С отличием окончив институт в 1949 году,[12] Петров был оставлен преподавателем в институте, где и проработал три года. Общая обстановка в стране в первое послевоенное десятилетие была крайне сложной. С одной стороны, народ выиграл тяжелейшую войну. Связанное с этим воодушевление можно выразить фразой из кинофильма режиссёра Л.Быкова «В бой идут одни старики»: «Будем жить!». Другая сторона была крайне неприглядной и от её описания уклонялись и многие писатели, и режиссёры. А.А.Зиновьев свидетельствует: «Бесспорно, окончание войны было огромной радостью для всего населения страны. Но плодами победы и достоинствами наступившего мира воспользовались далеко не все. Для большинства русских наступил период, может быть, еще более трудный, чем во время войны. Плодами победы воспользовались прежде всего самые ловкие приспособленцы и те, кто по своему положению в обществе попадал в привилегированные слои. Это ощущалось и в армии» [7, с. 236].

С 1952 года Петров становится начальником кафедры иностранных языков Ростовского артиллерийского училища. Здесь он преподаёт английский язык до своей демобилизации в 1956 году в связи с общим сокращением армии. Это сокращение, по мнению А.А.Зиновьева, было связано с тем, что «по окончании войны усилилось моральное разложение участвовавшей в боях армии. Упала дисциплина. Заставить людей, видавших смерть в лицо, безропотно подчиняться начальству и выполнять уставные требования было невозможно практически» [7, с. 238]. Зиновьев так охарактеризовал общее настроение демобилизуемой армии: «этот социалистический бардак надо взорвать к чертовой матери»; «перевернуть все дома», «начать жить по-новому» [7, с. 241]. По его мнению, «во время войны в стране наметился перелом огромного исторического значения. …Он … ощущался во всем, проявлялся в бесчисленных житейских мелочах» [7, с. 242-243]. В таком контексте понятно утверждение В.Н.Садовского: «Вторая половина 40-х – начало 50-х гг. – это пик коммунистического идеологического мракобесия» [32, с. 16]. Как следствие, участие в войне «вплоть до конца 1950-х гг. … вызывало настороженность советской власти. Она предпринимала последовательные действия для недопущения фронтовиков на ключевые социальные роли» [15, с. 99].[13]

Оказавшись в связи с сокращением армии в ситуации «лишнего человека», вынужденного радикально менять профессию, Михаил Константинович отправляется в Москву с тем, чтобы поступить в Московский авиационный институт. Однако в институт он не поступил; в поисках средств к жизни он занимается разнообразными видами заработка, в частности, сопровождает греческие парламентские делегации. Этот период также можно считать переломным: поиски работы, поиски «своей судьбы» в ситуации, когда ты вдруг оказываешься «лишним» – всё это окажет несомненное влияние на его

[12] По свидетельству Г.Д.Петровой, Михаил Константинович был в институте сталинским стипендиатом.
[13] См. также по этому поводу [38].

последующие научные поиски. Одна из ключевых идей М.К.Петрова: в европейском обществе ситуация «лишнего человека» воспроизводится неоднократно в процессе жизни индивида, в эту ситуацию его ставит система институтов воспитания/образования.[14]

В 1956 году Михаил Константинович поступает в аспирантуру Института философии АН СССР. И снова остаётся только предполагать, чем был обусловлен его выбор – дискуссия среди исследователей биографии М.К.Петрова не окончена. Мы считаем, что Михаил Константинович сам ответил на данный вопрос, выписав в своей повести «Экзамен не состоялся» (1959 г.) собирательный образ, состоящий из образа некоего Лёньки, ищущего «правду», едва намеченных образов Игоря и Якова, «погибших» – первый для философии, второй физически – и, наконец, образа аспиранта Юрия Шатова. В этом собирательном образе многое – от самого Михаила Константиновича. Лёнька – вернувшийся из армии, – «покосился парень, как гнилой сруб, куда упасть прикидывает. То в шофера, то в крановщики, а теперь пристал – в университет. […] Пойду, говорит…, правды искать» [24, с. 137]. Игорь – «сбросивший погоны, удивленный и немного разочарованный тылом лейтенант-артиллерист. Восторженный и не очень грамотный» – разочаровывается и в философии, советуя подруге Виктории: «Уйди из философии» [23, с. 135]. Он «прошел войну…, но так и не постиг искусства уходить в афоризмы, пытался быть поэтом в науке и не сносил головы» [23, с. 119]. Яков – «погиб и знал, что погибнет. Пришел за неделю до ареста прощаться. […] Остался вот портрет да слова друга. Грустные слова: "Привет, Митя, время придет, и мы напомним о себе вам, живым. …Когда пройдет пора авторитетов, встанут перед вами задачи, непосильные для одного или десятка, когда понятие "коммунист" будет означать не только "исполняю", но и "думаю", – выпей за нас, неопознанных в общей свалке. За нас, имевших несчастье заглядывать слишком далеко"» [24, с. 140-141].

Один из главных героев повести – Юрий Шатов – при сдаче кандидатского экзамена по философии «позволил себе сказать лишнего», с чем связано решение экзаменационной комиссии «считать экзамен не состоявшимся» [23, с. 125]. Шатов определяет место коммуниста-философа «не в обозе и не в оркестре, а в разведке. И, как разведчику, философу не нужно бояться вымазаться в грязи, залезть в болото. Дело не в том, чтобы выйти сухим из воды, а в том, чтобы застраховать основные силы от неожиданностей. А парады, барабанный бой – это не по философской части, это и без философии можно…» [23, с. 125]. Каждый коммунист-философ имеет право «не верить ЦК, а знать», более того он «не только имеет право, но обязан знать» [23, с. 124].

[14] «…Независимо от частных случаев срыва налаженных ассоциативных связей по множеству причин личного порядка, общество нашего культурного типа, использующее вполне определенные воспитательные институты, массово и закономерно воспроизводит диссоциированных индивидов как типичное явление, для определенных возрастных групп, проводит через эти срывы ассоциации всех будущих субъектов деятельности» [29, с. 53].

Вместе с тем, Петров ясно понимает ситуацию в философии,[15] характеризуя её устами философа Дмитрия Ивановича Модестова: «…Если ищешь, где полегче, философию обойди. Да и не в моде она…» [24, с. 139]. Но в ответе Лёньки можно увидеть осмысление собственного призвания: «Хотел бы полегче, остался бы в армии на сверхсрочную. До коммунизма в казарме бы и дотянул… Поглядел я, как люди живут. Сами вроде не знают, чего хотят. И в армии, и на гражданке. Все больше мелочами интересуются... А общего не видно… Куда идем? А? Слова-то есть: коммунизм, лучшее будущее… А что за ними, за словами? Как щенята слепые. Ведут – и идем. Топить ведут, к хорошей жизни ведут – нам все равно. А я не хочу, чтоб вели. Сам хочу идти. Еще и дорогу выбирать, чтоб проще и быстрее дойти. А может, погляжу, куда ведут, да и не захочу идти-то, а? …Я знать хочу, что и для кого строим. Откуда вы… знаете, что дом? А? Может, вовсе не дом, а всенародные Бутырки? Может, сами себе одиночки по вашей правде строим?..» [24, с. 139].

Интересно, что описываемая позиция перекликается со свидетельством Э.Ю.Соловьёва, который так охарактеризовал представления аспирантско-студенческой среды конца 50-х – начала 60-х годов: «Все мы… исповедовали понятие философии как строгой науки, способной противостоять идеологическому иррационализму и свободной от комплекса неполноценности в отношении физики, биологии или политической экономии. Тема коренного различия философии и науки еще не проложила себе дорогу» [36, с. 110]. Более того, по мнению О.И.Генисаретского, авторитет сциентистско-технологической идеологии (матлогики, семиотики, кибернетики, потом системного подхода, проектирования, системотехники и т.д.) в социально-культурном отношении («мировоззренчески, ценностно») имел тогда «освободительное значение. Это вплотную связывалось с освобождением от зашоренности официальной науки, от официальной идеологии» [4].

Петров чётко фиксирует конфликт поколений в философии 50-х годов,[16] когда старому «сталинскому» поколению «и говорить, и молчать неудобно» [24, с. 140]. «Странное что-то творится после Венгрии. Мечутся в верхах, а низы во всем разуверились. Пробуют "жать сок" из думающих, а получается какая-то ерунда. "Правда" и "Коммунист" бьют, а думающие не замолкают… Обиженная верхушка осуждает, а обидчики находят способы не соглашаться…

[15] Один из главных героев повести – философ Дмитрий Иванович Модестов – всё чаще задаётся вопросом: «Есть ли вообще советская философия?» [24, с. 131]. При этом собственную роль в философии он оценивает весьма трезво: «…Откровенный враг в нашей обстановке мог бы действовать только так, как я и мне подобные…» [24, с. 131]. Г.П.Щедровицкий так охарактеризовал ситуацию в философии конца 40-х годов: «… Ситуация жесткого разрыва между тем, что могли предложить преподаватели философского факультета и традиция философии в России, и острой потребностью в восприятии и понимании мира в условиях, **когда кожа фактически снята**» [43, с. 18; выделено мной – М.К.].

[16] О ситуации в философии того времени подробнее см. две замечательных статьи [32; 30; 42]. В своих публичных лекциях «На досках» Георгий Петрович Щедровицкий так характеризует ситуацию в философии тех лет: «…С одной стороны, полное отсутствие философской проблематики, людей, способных работать в философии на официальных местах – преподавателей и учителей, а с другой – невероятно интересные студенческие коллективы, в которых были и вчерашние школьники, и люди, прошедшие войну…» [43, с. 18].

Верхушка почему-то пятится. Что же это? Оттепель перед морозом или весенний заморозок? Оттепель или заморозок – вот в чем вопрос!» [24, с. 128]. Отсюда и отношение к «молодому дарованию»: «Пусть уж сам добирается до истины, университет поможет стать на ноги… Поможет?.. А вдруг как Игорю? А может, научит подленько балансировать на грани дозволенного, маскировать мысли? Хочется сказать парню что-то доброе, обнадеживающее, просто ласковое. Но слов не находится…» [24, с. 140]. В то время, как, по Петрову, «бывает, одним свистом человека спасти можно» [24, с. 140].

Итак, выбор Петровым философии не был случайным – он был осознан как выбор пути, соответствующего собственному призванию: понимать ситуацию и «спасать» людей словом («свистом»). В этом выборе прослеживается основание всего мировоззрения М.К.Петрова: острое ощущение ответственности за собственную страну и нежелание принять ситуацию, когда «тебя ведут», стремление «идти самому» и понимать, «куда идем». Трагичность ситуации, описываемой Петровым – в ощущении обречённости, в том, что его герой Яков «погиб и знал, что погибнет» [24, с. 140]. Поэтому исходить из «наивности» М.К.Петрова, который мог «не понимать ситуацию» и не предвидеть последствий своей повести – глубочайшее заблуждение и несправедливость по отношению к автору.

Отличие же хрущёвского времени от времени сталинского – в том, что смерть не была физической, она была иной: «Петров был одним из тех, чье имя в течении двух десятилетий пытались стереть из памяти современников» [20, с. 7]. Но даже не это самое страшное для Петрова: не память современников его волновала, а продвижение идей (поэтому он не противился распространению своих идей без ссылок на автора, полагая, что «мысль потому и всеобща, что ею все могут пользоваться, изменяя при употреблении» [19, с. 5]). Гораздо более трагично заканчивается повесть «Экзамен не состоялся». Юрий Шатов, который был готов на самопожертвование во имя высоких идей[17] примиряется с действительностью, отступает перед давлением прозаических житейских дел и проблем: он защищает диссертацию, он женат и о прошлом вспоминает так: «Странное было время… Смешное какое-то…» [24, с. 141]. Юношеский романтизм растворяется в «коммунальных отношениях».[18]

1956-1965 годы – знаковые для советского общества. XX съезд; критика «культа личности»;[19] реабилитация и амнистия политзаключённых; реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций с целью «демократизации» жизни общества; разработка новой Конституции СССР; оживление в литературе, искусстве и науке (статьи в «Новом мире»

[17] В частности, Шатов говорит: «Вряд ли обойдется без жертв, но нас много, будет еще больше…» [23, с. 127]. Или в другом месте: «Жить хочется, Володя. Понимаешь, жить, как все. Не задумываясь, чему-то веря, на что-то надеясь. […] А **впереди такое, что может смять тысячи таких, как я**» [23, с. 132; выделено мной – М.К.].

[18] Есть целый ряд свидетельств о стремлении М.К.Петрова избежать поглощения трясиной мещанства.

[19] Замечательный образ этого события предложен А.А.Зиновьевым: «римский папа собирает кардиналов и торжественно объявляет: "Бога нет!"». Приводится по [17, с. 122].

В.Померанцева, В.Овечкина, Ф.Абрамова, М.Лифшица, И.Эренбурга и др.; публикация произведений А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и в то же время – «дело Пастернака», хрущёвская критика писателей и поэтов А.Вознесенского, Д.Гранина, В.Дудинцева, Е.Евтушенко и др.); образование Объединённого института ядерных исследований в Дубне; создание Сибирского отделения Академии наук СССР; запуск первого космического спутника; полёт первого человека в космос; Карибский кризис – лишь наиболее заметные события того времени. С.С.Неретина так охарактеризовала эти годы: «Время круто изменилось за период одних лишь Шестидесятых. Одни и те же люди в их начале и в конце были разные люди… В конце Шестидесятых только слепой мог верить в коммунистическую идею, в партию вступали из карьерных соображений. Но в начале Шестидесятых таких идеалистов было еще много. К тому же Коммунистическая партия, поддерживаемая мощью КГБ и Армии, была олицетворением силы. Считалось, что лишь с ее помощью можно преодолеть и "культ личности" Сталина, оборотной стороной которого был ГУЛАГ. В партию вновь пошли интеллигенты, поставившие утопическую цель преобразовать ее» [20, с. 8]. И действительно, цель, которую ставит перед собой Юрий Шатов, состоит в следующем: «Мы не уйдем из партии и не поднимем на нее руку. Мы завоюем ее изнутри. А когда завоюем, сделаем ее тем, чем она должна быть, – орудием построения коммунизма. […] Ради этого нужно быть философом. С дипломом или без диплома – это уже дело десятое…» [23, с. 127]. Это подтверждает и Г.Д.Петрова: «Михаил Константинович не был разрушителем. Он не был диссидентом. Он не собирался уезжать за границу. И, хотя он многое понимал, в партию хотел вернуться. Даже просто для того, чтобы добиться справедливости» [9].

Ко времени окончания аспирантуры в 1959 году М.К.Петров подготавливает к защите кандидатскую диссертацию «Проблемы детерминизма в древнегреческой философии классического периода». Но защита не состоялась из-за принципиальных расхождений с научным руководителем чл.-корр. АН СССР Михаилом Александровичем Дынником[20] (последний специализировался в истории философии). Мы не можем осуждать М.А.Дынника за этот поступок.

Действительно, «было бы поверхностным предполагать, что сталинистская традиция сразу же, с 1953 г., прерывается и исчезает в … порывах новаторства и жажды обновления. Она не только еще сильна, но все еще господствует и в руководящих органах, и на ниве высшего гуманитарного образования, и в специализированной науке, в журналах и издательствах. Очень скоро выставят "гносеологов" из Университета[21], одернут Кедрова, Шаумяна и наше издание ["Философской энциклопедии"] в связи … со статьей "Культ личности", раскассируют сектор исторического материализма Института философии АН

[20] Для того, чтобы составить себе представление о М.А.Дыннике, можно просмотреть ряд статей: [8; 1; 32].

[21] Речь идёт о знаменитых «тезисах гносеологизма» Э.В.Ильенкова-В.И.Коровикова, тогда преподавателей философского факультета МГУ. «Гносеологи» подверглись гонениям: Э.В.Ильенкова лишили права преподавания на факультете, В.И.Коровикова «изгнали из философии навсегда» [32, с. 28].

СССР, руководимый В.Ж.Келле, и т.д. и т.п.» [12, с. 76]. Тем не менее, следует зафиксировать этот факт: через шесть лет после смерти Сталина и через три года после XX съезда М.А.Дынник не допускает к защите диссертацию М.К.Петрова по причине «принципиальных расхождений».

По окончании аспирантуры М.К.Петров избирается по конкурсу заведующим кафедрой иностранных языков Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков (ЕВВАУЛ). Однако и здесь он проработает недолго. Причиной его увольнения послужит упомянутая выше повесть «Экзамен не состоялся». В июне 1960 года Петров отправляет повесть в ЦК КПСС на имя Н.С.-Хрущёва. В сопроводительном письме он объясняет, что в повести изображена обстановка, сложившаяся в одном из учебных заведений в условиях культа личности Сталина, выражает надежду, что его произведение «явится затравкой для откровенного разговора перед [XXII] съездом партии», будет способствовать «детальной разработке теории строительства коммунизма» [цит. по: 37, с. 116]. Это событие также станет одним из ключевых в биографии М.К.Петрова:[22] «Из ЦК КПСС повесть была направлена в Ростовский ОК КПСС, а оттуда в политуправление СКВО. В апреле 1961 г. политотдел Ейского военного училища лётчиков рассматривает персональное дело М.К.Петрова. В июле 1961 г. парткомиссия при Главном политуправлении Советской Армии и Военно-Морского Флота подтверждает решение партбюро учебно-летного состава и парткомиссии при политотделе ЕВВАУЛ, парткомиссии при политотделе военно-воздушных сил Северо-Кавказского военного округа и парткомиссии при политуправлении этого военного округа об исключении М.К.Петрова из членов КПСС: «...за недостойное поведение, выразившееся в написании и послании в ЦК КПСС повести антипартийного содержания“. 1 июня этого же года М.К.Петрова увольняют с работы в Ейском авиационном училище по пункту «В» статьи 47 КЗОТ РСФСР. В июле 1962 Комитет партийного контроля при ЦК КПСС не находит оснований для восстановления М. К. Петрова в партии» [5, с. 9-10].

После увольнения из ЕВВАУЛ по 1964 г.[23] М.К.Петров занимался вопросами общей лингвистики: «В результате этих исследований у М.К.Петрова складывается оригинальная концепция роли языка в становлении человеческой психики» [5, с. 10].

С 1965 г. М.К. Петров работает на кафедре философии: «Хотя в 1965 г. его просьба о восстановлении в партии и отклоняется городским и областным комитетами КПСС, партийные власти не возражали против его использования по специальности. И успешно защитив в феврале 1967 г. кандидатскую диссертацию „Философские проблемы "науки о науке"“,[24] М.К.Петров в сентябре

[22] Биографы М.К.Петрова сходятся во мнении о значимости данного события в его жизни. Наша позиция изложена в [13].

[23] С сентября 1962 г. М.К.Петров стал работать преподавателем кафедры иностранных языков Ростовского государственного университета.

[24] История защиты кандидатской диссертации М.К.Петровым интересна сама по себе (в архиве автора данной статьи есть ряд свидетельств, демонстрирующих всю сложность этого события), однако за ограниченностью места изложение этой истории я опускаю.

этого же года с кафедры иностранных языков переходит работать преподавателем кафедры философии РГУ» [5, с. 10]. К этому времени в РГУ сформировалась «сильная в творческом отношении группа специалистов по гносеологии, истории философии, истории науки и науковедению… (М.К.Петров, А.В.Потемкин, Э.М.Мирский, В.Н.Дубровин, Ю.Р.Тищенко и др.)» [32, с. 42].

Этот период работы на кафедре философии РГУ – с 1965 по 1970 гг. – был для М.К.Петрова более чем продуктивным в творческом отношении: написаны три монографии,[25] ряд очерков[26] и статей. В философских кругах М.К.Петрова ценили как специалиста в области античной философии,[27] которому редакция «Философской энциклопедии» заказала более двух десятков статей, как автора оригинальных идей по науковедению, одним из зачинателей которого в СССР он стал. Так, Ю.А.Шрейдер вспоминает конференцию в Обнинске, «где "царил" М.К.Петров, человек с примечательной биографией бывшего разведчика и первоклассными науковедческими идеями. Ему принадлежит идея о том, что университетское образование было порождено безбрачием западного духовенства, ибо из-за этого они не могли передавать профессиональные знания через семью детям» [39, с. 179].

Однако из Ростовского университета М.К.Петров был уволен 1 июля 1970 г. «на основе решения парткома РГУ о невозможности его использования на преподавательской работе по философии» [5, с. 11]. «Осознание» философскими властями «невозможности… использования» было вызвано публикацией М.К.Петровым статьи «Предмет и цели изучения истории философии» в журнале «Вопросы философии» (1969 г., № 2). Этой статьёй М.К.Петров включился в дискуссию по проблемам истории философии как науки, открытую публикацией статьи П.В.Копнина «К вопросу о методе историко-философского исследования».

Эта статья, как и вышеупомянутая повесть «Экзамен не состоялся», сыграла роковую роль в судьбе философа. После публикации статьи и последовавшего увольнения из РГУ публикация других работ М.К.Петрова стала фактически

[25] «Античная культура» (1966 г., опубликована в издательстве РОССПЭН в 1997 г.), «Социальная природа самосознания и научного творчества» (1967 г., опубликована под несколько изменённым названием «Самосознание и научное творчество» в 1992 г. в издательстве Ростовского университета) и «Искусство и наука» (1968 г., опубликована в 1995 г. в издательстве РОССПЭН).

[26] «Человек и наука» (1965 г., опубликован в 1992 г. в издательстве Ростовского университета в сборнике «Самосознание и научное творчество»), «Возникновение опытной науки в Европе XVI-XVIII веков» (1968 г., опубликован там же), «Пираты Эгейского моря и личность» (1966 г., опубликован в 1995 г. в сборнике «Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность» в издательстве РОССПЭН). и др.

[27] «… В 1966 году он [М.К.Петров] выступает на семинаре молодых преподавателей и аспирантов кафедры философии РГУ с докладом «Пираты Эгейского моря и личность»... В данной статье, как и в написанной в этом же году монографии – «Античная культура», М.К.Петров подводил итог своим многолетним исследованиям античности. Подвести такой итог его заставляла не только потребность показать, что к изучению античности возможен не только подход, реализованный А.Ф. Лосевым, но и работа над осмыслением проблем современной науки, достаточно широко распространенное понимание последней как мышления о мире по способу древних греков. Основным итогом фактически и стала культурологическая концепция Петрова, в рамках которой «греческое чудо» объясняется как случайный продукт случайного слома социальности традиционного типа в бассейне Эгейского моря. Доклад М.К. Петрова был встречен с большим интересом, хотя у многих слушателей возникли сомнения по поводу его марксистской ортодоксальности» [5, с. 10-11].

невозможной (с этих пор публикуются, в основном, рефераты и обзоры иностранной литературы в серии ИНИОН, некоторые переводы и статьи по науковедческой проблематике).

О том, насколько философские власти были задеты этой статьёй, можно судить по нескольким эпизодам из философской жизни тех лет. Во-первых, «обсуждение» журнала «Вопросы философии» в Академии общественных наук при ЦК КПСС 17-18 июня 1974 года, на котором в числе недостатков работы редакции журнала указывалось следующее: «Она порой берет под свою защиту, одобряет некоторые издания, содержащие серьезные идейно-теоретические ошибки, и отказывается публиковать материалы, в которых содержится критический анализ такого рода ошибок. Выступавшие в этой связи указывали на защиту членами редакции журнала ошибочных статей М.К.Петрова, Б.А.Грушина, А.Я.Гуревича и других» [17, с. 146]. Более того! «Даже после того, как редакции указывалось, что та или иная из опубликованных ею статей нуждается в серьезной критике, работники редакции журнала воздерживались от этой критики. Так было, например, с порочной статьей М.К.Петрова (1968. № 2)» [17, с. 148]. Итак, даже через шесть лет после публикации «порочной» статьи М.К.Петрова философские власти не забыли о ней и поставили в вину редакции журнала «Вопросы философии» отсутствие критики этой статьи!

Следующий эпизод – уже в мае 1976 года. На расширенном заседании Учёного совета Института истории естествознания и техники Академии наук СССР состоялось обсуждение работы ежегодника «Системные исследования». В числе недостатков ежегодника также указывалось, что «Ежегодник стоит в стороне от идеологической борьбы против буржуазной идеологии и ревизионизма. Более того, в статьях ряда авторов – М.К.Петрова, Б.Г.Юдина, А.И.Каценелинбойгена… допущены политические ошибки» [приводится по: 3, с. 163]. Имеется в виду статья М.К.Петрова «Системные характеристики научно-технической деятельности», опубликованная в ежегоднике «Системные исследования» в 1972 году. Какие «политические ошибки» мог допустить Петров в этой статье?! Игорь Блауберг совершенно справедливо вспоминал: «…По поводу обвинений, которые касались статьи Петрова и были столь же неосновательными, мы имели возможность дать общий вывод: обвинение в том, что в ряде статей ежегодника допущены политические ошибки, фальсификация вопроса о роли партии и ее научного мировоззрения в развитии социалистического общества, следует категорически отмести как совершенно необоснованное и клеветническое» [3, с. 165].

В сентябре 1970г. М.К.Петров становится старшим научным сотрудником группы по изучению науки, организованной при Северо-Кавказком научным центром высшей школы. В СКНЦ ВШ в разных должностях, занимаясь исследованиями по организации научной жизни в регионах, он и проработал последние 17 лет своей жизни. 11 апреля 1987 г. М.К.Петров умер.

Михаил Константинович Петров оставил нам огромное философское наследие. Архив его рукописей (опубликована лишь малая часть этого архива) составляет 452 печ.л. [5, с. 26]. Однако не только написанное М.К.Петровым представляет философскую ценность. Сама его жизнь была реализацией его философских взглядов, и описанная нами биография М.К.Петрова – тому лишнее подтверждение.

В заключение приведём замечательные слова С.С.Неретиной: «Михаил Константинович Петров поделился с нами своим личным опытом, который не проходит даром, а входит в плоть и кровь науки, сознания, мышления, культуры. В этой плоти и крови хотелось бы, чтобы мы обнаружили его незамещаемость, увидели, что до сих пор это место пусто» [20, с. 46].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Батыгин Г.С., Девятко И.Ф.* Дело академика Г.Ф.Александрова: эпизоды 40-х годов // Философия не кончается… Из истории отечественной философии: XX век. Лекторский В.А. (ред.). В 2-х кн. Кн. I. 20-50-е годы. М., 1999.

2. *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995.

3. *Блауберг И.В.* Из истории системных исследований в СССР: попытка ситуационного анализа // Философия не кончается… Из истории отечественной философии. XX век. В 2-х кн. Лекторский В.А. (ред.). Кн. I. 20-50-е годы. М., 1999.

4. *Генисаретский О.И.* В таких сообществах совершенно необходима этика незаинтересованного служения // Кентавр. 1992. № 6.

5. *Дубровин В.Н., Тищенко Ю.Р.* Философ М.К.Петров: два эпизода и вся жизнь. Москва – Ростов-на-Дону, 2006.

6. *Зиновьев А.А.* Собрание сочинений в 10 т. Т.5. Гомо советикус. М., 2000.

7. *Зиновьев А.А.* Русская судьба, исповедь отщепенца. Москва, 2000.

8. *Зись А.Я.* Чему свидетелем был // Философия не кончается… Из истории отечественной философии. XX век. В 2-х кн. Лекторский В.А. (ред.). Кн. I. 20-50-е годы. М., 1999.

9. *Интервью с Г.Д.Петровой № 1* от 06.11.2006 г. // Личный архив Константинова М.С.

10. *Интервью с Г.Д.Петровой № 2* от 17.04.2007 г. // Личный архив Константинова М.С.

11. *Интервью с Ю.Р.Тищенко № 1* от 11.11.2006 г. // Личный архив Константинова М.С.

12. *Каменский* В.А. О «Философской энциклопедии» // Философия не кончается… Из истории отечественной философии. XX век. В 2-х кн. Лекторский В.А. (ред.). Кн. I. 20-50-е годы. М., 1999.

13. *Константинов М.С.* Элементы институционально-эволюционной теории в социальной философии М.К.Петрова. Ростов-на-Дону, 2005.

14. *Костомаров Н.И.* Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. М., 1991.

15. *Макаренко В.П.* Социокультурный фон исследований М.К.Петрова // Практична Філософіа. 2005. № 2.

16. *Мамардашвили М.К.* Начало всегда исторично, то есть случайно // Вопросы методологии. 1991. №1.

17. *Митрохин Л.Н.* Докладная записка – 74 // Философия не кончается… Из истории отечественной философии. Лекторский В.А. (ред.). В 2-х кн. Кн. 2 (60-80-е годы). М., 1999.

18. *Неретина С.С.* Творчество как сущность (О концепции культуры М. К. Петрова) // Петров М.К. Язык, знак, культура. М., 1991.

19. *Неретина С.С.* Приглашение к разговору // Петров М.К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М., 1995.

20. *Неретина С.С.* Михаил Константинович Петров: жизнь и творчество. М., 1999.

21. *Пайпс Р.* Россия при старом режиме. Москва, 1993.

22. *Петров М.К.* Предмет и цели изучения истории философии // Вопросы философии. 1969. № 2.

23. *Петров М.К.* Экзамен не состоялся // Дон. 1989. № 6.

24. *Петров М.К.* Экзамен не состоялся (Продолжение) // Дон. 1989. № 7.

25. *Петров М.К.* Язык. Знак. Культура. М., 1991.

26. *Петров М.К.* Социально-культурные основания развития современной науки. М., 1992.

27. *Петров М.К.* Самосознание и научное творчество. Ростов-на-Дону, 1992.

28. *Петров М.К.* Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М., 1995.

29. *Петров М.К.* Регион как объект системного исследования. Ростов-на-Дону, 2005.

30. *Пятигорский А., Садовский В.Н.* Как мы изучали философию. Московский университет, 50-е годы // Свободная мысль. 1993. № 2.

31. *Руткевич Е.Д.* Феноменологическая социология знания. М., 1993.

32. *Садовский В.Н*. Философия в Москве в 50 и 60-е годы // Философия не кончается... Из истории отечественной философии. Лекторский В.А. (ред.). В 2-х кн. Кн. 2 (60-80-е годы). М., 1999.

33. *Сёмин В.Н*. Нагрудный знак "OST". М., 1978.

34. *Самарина О.И*. Взаимоотношения молокан с государственной властью // Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета. Выпуск 4. Ставрополь, 2004.

35. *Соловьёв Э.Ю*. Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и культуры). М., 1991.

36. *Соловьёв Э.Ю.* Философский журнализм шестидесятых: завоевания, обольщения, недоделанные дела. // Философия не кончается... Из истории отечественной философии. Лекторский В.А. (ред.). В 2-х кн. Кн. 2 (60-80-е годы). М., 1999.

37. *Стреляный А. М*. Петров: творчество и судьба // Дон. 1989. № 6.

38. *Чудакова М*. Заметки о поколениях в Советской России // Новое литературное обозрение. 1998. № 2/30.

39. *Шрейдер Ю.А*. Загадочная притягательность философии // Философия не кончается... Из истории отечественной философии. Лекторский В.А. (ред.). В 2-х кн. Кн. 2 (60-80-е годы). М., 1999.

40. *Шубинский В*. Ещё один голос // Эпштейн М.Н. Новое сектантство. Самара, 2005.

41. *Шюц А*. Структура повседневного мышления // Социс. 1988. № 2.

42. *Щедровицкий Г.П*. Я всегда был идеалистом… М., 2001.

43. *Щедровицкий Г.П*. На Досках. Публичные лекции по философии Г.П. Щедровицкого. М., 2004.

44. *Mead G.H*. Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt am Main, 1968.

МОДА И СВОБОДА

(заметки о научной конференции)

Как мыслить свободно в мире интеллектуально-политических мод? – Над этим вопросом размышляли участники симпозиума «Интеллектуально-политические моды: концептологический подход», проходившего 6-7 декабря этого года в Ростове-на-Дону. Разговор получился уникальный (в России еще не проводилось конференций на такую тему), интересный и междисциплинарный (участвовали представители пяти гуманитарных факультетов ЮФУ, а также коллеги из Санкт-Петербурга, Мурманска, Волгограда и др. городов).

В роли организатора конференции выступила кафедра политической теории ЮФУ во главе с заслуженным деятелем науки России, профессором **В.П. Макаренко**. Своим вступительным словом профессор Макаренко задал и тон всей дискуссии: В чем смысл интеллектуальной моды? Можно ли идти против течения в мире интеллектуально-политических мод? Ссылаясь на Г. Зиммеля, В.П. Макаренко определил моду как конформистско-индивидуалистический феномен, который дает возможность одновременно вписаться в общество и дистанцироваться от него. В практическом плане такая постановка вопроса означает проблему дистанции при описании актуальной социально-политической динамики, в особенности, «временно-официальных» идеологий и политического жаргона. Речь идет, помимо прочего, о «хуторском синдроме» (В.П. Макаренко) гуманитарного знания как следствии его национально-политической ангажированности.

***Что такое мода*?**

В ходе дискуссии обозначилось несколько подходов к определению моды как социального феномена. *Когнитивный* концепт моды представил в своем выступлении профессор **А.В. Лубский** (факультет регионоведения ЮФУ). Интеллектуальные моды он определил как теоретические образцы познавательной деятельности, преобладающие в определенном сообществе и выполняющие в научном познании нормативно-принудительную функцию. Эти образцы суть следствие интеллектуального подражания определенным когнитивным авторитетам. Но подражание может быть мотивировано в интеллектуальной моде по-разному; оно может выражать как уважение к авторитету, так и стремление стать вровень с ним. В любом случае, в жизни каждой интеллектуальной моды наблюдается общая закономерность: разрыв с

традиционными образцами познавательной деятельности завершается превращением альтернативного образца в норму, в новое когнитивное принуждение.

В рамках развиваемой проф. Макаренко политической *концептологии* интеллектуальная мода представляется частью политики как практического воплощения абсурда. Это хорошо согласуется с пониманием моды как бессмыслицы. С «бессмысленностью» моды согласились, однако, не все участники дискуссии. Как заметил **Н.А. Кравцов** (юридический факультет ЮФУ), объект моды слишком конкретен и содержателен, чтобы быть бессмысленным. Мода – явление глубокое, хотя и производит впечатление чего-то легкого, поверхностного, мимолетного. Но такое впечатление Н.А. Кравцов объясняет нерефлективным, иррациональным характером публичного признания моды как эстетической ценности. Это признание осуществляется через подражание «всем» или путем следования авторитетным образцам. Но в любом случае, данный объект моды можно «опровергнуть» только другим объектом моды, а не рациональными аргументами. Эстетическую привлекательность Н.А. Кравцов считает отличительной чертой любой моды, в том числе политической. Причем в политике речь идет, прежде всего, о модных идеях, которые навязываются публике в стратегических целях, хотя и по схеме раскрутки, общей для любой моды: «не то повторяемо, что модно, а то модно, что повторяемо».

Если Н.А. Кравцов развивал *эстетический* концепт моды, то **С.П. Поцелуев** (факультет социологии и политологии ЮФУ) попытался обозначить ее *семиотическую* модель. Европейские языки, обозначая моду терминами, производными от лат. modus, видят в ней нечто регулярное и принудительное. Любая мода обладает естественной нормативностью языка, его грамматики. Мода, как утверждали Р. Барт и Ж. Бодрийяр, регулирует знаки. Критиковать моду так же бессмысленно, как и фрагменты языка. Мода есть одновременно поверхностное и глубинное семиотическое явление. В случае интеллектуальной моды это рождает нетривиальный вопрос: подпадает ли под власть моды только «мимика мысли» (заимствование авторитетного, популярного, привлекательного словаря) или также ее содержание? Модная манера выражения сама по себе не делает мысль плоской, как не делает ее бесплодной сам факт работы в рамках модного направления. Зловещим представляется тот вариант интеллектуально-политической моды, когда ее предмет (дискурс) замыкается на самого себя. Бесконечная вереница псевдособытий и прочих фигур символической политики – лучшее тому подтверждение.

«Мода прекрасна!» - таков лейтмотив подхода к осмыслению моды, который профессор **И. Д. Коротец** (факультет социологии и политологии ЮФУ) назвал в своем выступлении «*экологическим*» или «целостным». Человек, по мнению И.Д. Коротца, не может игнорировать моду, ибо в противном случае он становится неспособным к взаимодействию с другими

людьми. Мода сложнейшим образом выражает актуальное содержание культуры, в которой она возникает. Мода – это «эпифеномен актуальности» и одновременно мощный культурный ресурс для достижения различных целей, в том числе профессиональных.

Мода как «хуторской синдром»?

В своем выступлении В.П. Макаренко поставил еще один вопрос, нашедший живой отклик у присутствовавших коллег: вопрос о необходимости дистанцироваться по отношению к схемам западного советологического дискурса. Эти схемы перекочевали в Россию после крушения официальной советской идеологии и стали у нас интеллектуальной модой. Не последнюю роль в западной советологии сыграли цивилизационный и модернизационный подходы.

В исторической науке взаимодействие этих подходов приобрело вид конкуренции теории исторических циклов с теорией исторического прогресса. На этом сюжете подробно остановился в своем выступлении профессор **А.В. Островский** (г. Санкт-Петербург). По его словам, спор указанных теорий не имеет под собой никакого научного основания и похож на столкновение двух модных точек зрения. Фактически полемика ведется на разных уровнях: теория исторических циклов располагается на микроуровне исторического процесса, а теория прогресса – на его макроуровне. Реальная методологическая проблема состоит не в том, чтобы выбрать из этих двух уровней какой-то один, а в том, чтобы понять исторически изменчивое соотношение между поступательностью и обратимостью исторических процессов.

По мнению профессора А.В. Лубского, быстрый перехват отечественным обществоведением цивилизационного и модернизационного подходов объясняется традициями «холуйской морали» и комплексом «догоняющего развития». В результате наша гуманитарная мысль не только не отошла от «устаревшей методологии однолинейного прогрессизма», но и породила концептуальных монстров вроде «модернизационных усилий Ивана Грозного». Об аналогичных абсурдах, но уже в рамках цивилизационного подхода, говорил в своем выступлении **М.А. Петров** (факультет социологии и политологии ЮФУ). Он проанализировал концепцию Л. Гумилева как одну из интеллектуальных мод постсоветской России. Выступавший отметил научную бесплодность и дилетантизм «моды на Гумилева» в отечественном обществоведении. С другой стороны, М.А. Петров подчеркнул политическую востребованность и ангажированность цивилизационного подхода, в том числе в бывших «социалистических» странах. Тем самым упомянутый «хуторской синдром» был убедительно показан на конкретных примерах.

Впрочем, с такой оценкой Л. Гумилева и «моды на пассионарность» не согласился **В.Г. Доманов** (факультет социологии и политологии ЮФУ), выступивший в рамках, как он сам признал, «модной» темы империализма. Как

подчеркнул В.Г. Доманов, жить и мыслить в обществе, не следуя моде, невозможно. Важный вопрос – кто создает в моде «креатив»? В.Г. Доманов предложил развить понятие империализма сообразно нынешним социально-политическим реалиям. Чтобы выжить, современные империи должны, по его мнению, основываться на гражданском обществе. О *моде на патриотизм* размышляла в своем выступлении **Т.В. Беспалова** (факультет политологии и социологии ЮФУ). По ее словам, эта мода сочетается в современной России с прагматическим отношением к государству. Т.В. Беспалова подробно остановилась на связи рационального и иррационального, этического и эстетического в патриотизме и в моде на патриотизм.

Мода как феномен mass media

Профессор **В.В. Савчук** (г. Санкт-Петербург) рассказал участникам симпозиума о *культурале* как социальной фигуре, которую он вывел в контексте своих размышлений об актуальном искусстве, о соотношении модного и актуального в искусстве. Культурал приходит на смену интеллектуалу и интеллигенту как «властителям дум». Культурал властвует в пространстве СМИ; он – «медиальный модельер» и «масс-медийный шаман». Модой для культурала является актуальное искусство. Но такой моде культурал не только не сопротивляется, но, напротив, пытается ее оседлать. Он ставит интеллектуально-эстетический потенциал моды себе на службу. В.В. Савчук видит в фигуре культурала такой же необходимый феномен, как и в любых проявлениях моды.

С еще одним интересным явлением, заставляющим задуматься о природе моды, познакомил участников конференции профессор **В.А. Шкуратов** (факультет психологии ЮФУ). Опираясь на идеи Бодрийяра, он рассмотрел явление *презентификационизма*, характерное для общества, переходящего от принципа «все на продажу» к принципу «все на показ». Этот процесс совпадает с переходом от письменной культуры к визуальной. И это же ведет, по В.А. Шкуратову, к изменению социальной позиции моды. То, что раньше, будучи модой, лежало на поверхности, теперь ушло вглубь, стало некой регулярностью, «психокультурным трендом». В политике, утверждает В.А. Шкуратов, данный процесс имеет положительные стороны: он делает относительно бескровными социальные потрясения и трансформации. В какой мере «народ» превращается в телевизионную «публику», в такой мере революции из кровавых становятся «цветными».

О политических последствиях превращения народа в публику размышлял в своем выступлении и **А.И. Бардаков** (г. Волгоград). По его словам, господство политической моды сегодня напрямую связано с превращением политики в спектакль, в телевизионные политические сериалы. Партийно-политическая система страны существенным образом определяется телевизионной драматургией. С одной стороны, лучше, когда народ сидит перед телевизором,

чем когда он стоит на баррикадах. Но с другой стороны, «телеполитику» трудно назвать политикой. Выход из данного положения А.И. Бардаков видит в изменениях, которые возможны в сфере «культуры», отличной от «социальности».

***Покорны моде все гуманитарии*?**

«В той мере, в какой экономическая наука является социальной наукой, она подвержена интеллектуальной моде», - таков был лейтмотив выступления на конференции профессора **О.Ю.Мамедова** (экономический факультет ЮФУ). По его мнению, если рассматривать интеллектуальную моду саму по себе, она выступает «пресыщенной забавой для интеллектуалов и культуралов». Продуктивное же осмысление моды должно учитывать ее связь с актуальными проблемами науки и реальными противоречиями эпохи. Не всегда то, что модно - актуально; не всегда то, что актуально – модно. Но если мода совпадает с актуальностью, наука развивается быстрее. В отечественной экономической науке мода деформирует всю систему ценностей. Одно время в ней были модными либеральные идеи, сегодня – державные и государственнические. С другой стороны, - отметил О.Ю.Мамедов, - в экономической науке стало немодным обращаться к социальной стороне производства. Экономисты все больше уходят от социологических фактов в сторону математических моделей. Но реальная экономика не сводится к технологии производства.

Тему *математического формализма* как интеллектуальной моды в современной экономической науке развил профессор **В.В. Вольчик** (экономический факультет ЮФУ). Бессмысленно, - сказал он, - отрицать значение математических моделей для экономиста. Но когда математический формализм становится модой экономического анализа, он осуществляется ради себя самого, а не в целях познания реальной экономики. Тогда экономисты попадают в «институциональную ловушку» формализма: однажды встав на путь формализации предмета своей науки, они все больше строят абстрактные модели хозяйственных процессов на основе отвлеченных предпосылок. В результате, эти модели оказываются не связанными напрямую с фактами экономической действительности, зачастую противоречат даже здравому смыслу. А это открывает политикам возможность использовать «достижения экономической науки» в качестве модной этикетки для любых политико-экономических авантюр.

* * *

Проблемные блоки, обозначившиеся в ходе симпозиума, свидетельствуют о противоречивости и многоликости феномена интеллектуальной моды. Произведенный на симпозиуме обмен мнениями – только начало в его систематическом исследовании. Участники симпозиума сошлись во мнении,

что начало оказалось удачным. Приятно отметить, что симпозиум вызвал большой интерес у студентов ЮФУ. Они активно слушали выступавших, нередко «атакуя» их дельными вопросами. Организаторы конференции благодарны ректорату Южного федерального университета за финансовую поддержку мероприятия. Особую благодарность мы выражаем руководству Донской публичной библиотеки за предоставленную возможность провести конференцию в удобном и красивом месте.

С.П. Поцелуев

ВЛАСТЬ, НАУКА И ЗНАНИЕ: НОВЫЕ ФОРМЫ ДИАЛОГА

22-24 апреля 2008 г. в Донской государственной публичной библиотеке состоялась Всероссийская научная конференция «Наука и власть: социокультурные модели взаимодействия». Тема конференции собрала учёных различных отраслей знания: историков и политологов, философов, экономистов и психологов. В гости к ученым из Южного Федерального университета приехали коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Киева и других городов. Организатором встречи выступила кафедра политической теории во главе с заслуженным деятелем науки РФ, доктором философских и политических наук, профессором В.П.Макаренко.

В своем докладе В.П.Макаренко подчеркнул несовместимость структур науки и государства, продолжая в этом вопросе линию известного российского философа, нашего земляка, М.К. Петрова. Проф. Макаренко отметил дискуссионный характер связи мировоззренческого согласия и социального порядка. Ссылаясь на фундаментальный труд коллег из С.-Петербурга (Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки. СПб, 2003), он заявил, что современная наука является воплощением английских (колониально-имперских), французских (революционно-бюрократических) и российских (самодержавных) амбиций власти и учёных. В.П.Макаренко предложил рассматривать историю науки в рамках двух концептов – сопротивления и сотрудничества. «Современная научная политика и система образования нуждаются в пересмотре» - таков был вывод докладчика.

Наука и власть - единство и борьба институтов

Профессор **Э.И.Колчинский** (Санкт-Петербург) отметил в своем докладе, что наука и власть всегда были и остаются неразрывно связанными социальными институтами. В рамках этого симбиоза государство стремится использовать науку для получения знаний, применяемых в основном для экономической и военной мощи, для повышения национального престижа. В свою очередь наука использует государство как основного заказчика, способного предоставить средства для осуществления крупных и затратных исследовательских проектов. Взаимопроникновение институтов приводит к тому, что кризисы общества и государства распространяются и на учёных. В таких ситуациях, по мысли Колчинского, власть стремится реформировать научные институты, строит «идеологически корректную науку». С другой

стороны, кризис становится исходным моментом в становлении новых форм организации самой науки. Выступавший подверг критике классический стереотип «философского парохода», указав, что такая трактовка закрывает глаза на множество трагедий учёных. По мнению проф. Колчинского, наука во все времена проявляла удивительную живучесть, выживая в самых неблагоприятных для себя социально-политических условиях.

Профессор **И.С.Дмитриев** (Санкт-Петербург) начал свое выступление с мысли о том, что научная революция есть часть глобальных и глубинных изменений, затрагивающих всё общество: это и время бурного экономического развития, и период религиозной реформации, и сезон географических открытий, и революционные процессы в музыке. Множество как бы независимых друг от друга видов знания накапливаются и резонируют: в такой «точке бифуркации» трудно определить, что есть причина, а что следствие. Гораздо точнее применять термин «интеллектуальная революция». По мысли проф. Дмитриева, в любое время для нормального функционирования науки необходима определённая социальная ниша, как бы защитный пояс от невежд и клерикалов. Если в 17-18 веках в роли такой ниши выступал придворный патронат, то сегодня – университет. Статус университета позволяет «уйти в творчество», обеспечить ученому полную свободу мысли.

Противоположный взгляд на проблему взаимодействия власти и науки предложил профессор **В.А.Шкуратов** (факультет психологии ЮФУ). Согласно его мнению, наука и власть суть в России явления одного порядка. Наука сегодня инкорпорирована во власть, так что следует говорить о едином институциональном явлении, а не о каком-то противоборстве между учёными и власть предержащими. Шкуратов отверг идею Фуко о контракте науки и власти, заявив, что ни о каком тандемном отношении здесь не может быть и речи: наука насаждается властью и управляется бюрократией. Если между ними и возникает определённое противоборство, то это скорее относится к связке «власть - литература». Именно литература удерживает паритетные отношения с наукой, выступая в роли привередливого критика существующего политического режима.

О «братании науки и власти» на примерах Самиздата и Тамиздата рассказала в своем выступлении профессор **А.Н Еремеева** (Краснодар). Корень основного массива проблем она усматривает как среди государственно-бюрократической элиты, так и в кругах самого научного сообщества: из чувства зависти коллеги порой сами «подставляют» друг друга, и только потом уже следуют репрессивные санкции власти.

Власть и методология социального познания

О «производстве различий научными категориями» рассказал участникам конференции профессор **В.С. Малахов** (Москва). Применение категорий может объяснять и структурировать социальную реальность; но оно может и

усложнять общество. По Малахову, существуют категории анализа (удел учёных), власти (удел бюрократии) и практики (удел простых индивидов). Опасно подменять одни понятия другими; нельзя, к примеру, использовать категории практической жизни в анализе политической и национальной действительности. Культурная и этническая плюрализация ставит, по мысли Малахова, академический мир перед вызовом: переосмыслить природу национального сообщества.

О плюрализме и мультипарадигмальности говорил в своем выступлении и профессор **А.В.Лубский** (ИППК ЮФУ). Случается так, что некоторые учёные стараются присвоить себе монопольное право на толкование общества и человека и при этом отказывают в праве на существование другим картинам социального мира. Утратив жажду объективности, такие учёные занимаются «обслугой власти». Они продвигают свои монистические паттерны познания и не обращают внимания на творчество своих коллег. Интеллектуальная Россия, по словам А.В.Лубского, является «страной концептов, легитимирующих современность». Такие концепты призваны выполнять идеологическую и мобилизационную роль: они предлагают широким слоям населения целевые ориентиры, смыслы и ценности. Сегодня, - заявил профессор, - назрела необходимость выставить для публичной дискуссии важнейший вопрос о социальной ответственности учёного, независимо от его места в социальной и политической иерархии.

Проблему власти и знания в парадигме очень популярного конструктивизма поднял профессор **И.Д.Коротец** (факультет социологии и политологии ЮФУ). Согласно конструктивистам, все наличные формы знания закрепляются в институциональных практиках. Затем эти институты утверждают власть и довлеют над индивидами. Если знание, как и любая форма инноваций, не относится к институтам – оно исчезает. Конструктивизм не способен учесть весь комплекс разнородных элементов действительности, не ограниченных институтами. Инструментарий исследователей, согласно Коротцу, следует пополнить экологическим подходом и холотропным мышлением. Усматривая марксистские истоки в когнитивной структуре конструктивизма («бытие определяет сознание»), проф. И.Д. Коротец приходит к выводу: только сложное, системно-сетевое видение процессов может удовлетворить потребность в понимании реальности.

Расширяя границы дискуссии

Профессор **О.Ю.Мамедов** (экономический факультет ЮФУ) предложил сменить тональность дискуссии и выразил крайнюю позицию: действительно ли заявленная тема «горит актуальностью»? Отношения власти и науки не являются конституирующими для общества, они носят частный характер, для общественных наук отнюдь не судьбоносный. И наука, и власть зиждутся на «трёх китах»: этатизме, монополизме и бюрократии; причем эти институты

вполне соответствуют друг другу. По мысли О.Ю.Мамедова, есть смысл говорить об изменении самого научного сообщества – оно должно направить свой взор в сторону исследований, а не «плакаться в тельняшку» общественности. Размышляя об экономическом развитии России, проф. О.Ю.Мамедов высказал тезис: «инновационная экономика – это создание институтов власти на базе гражданского общества. И только свобода мелкого и среднего бизнеса даст рывок к светлому экономическому будущему».

Экономический дискурс развил в своем выступлении профессор **В.В.Вольчик** (экономический факультет ЮФУ). Он признался участникам конференции, что в экономической науке происходит несовершенная конкуренция исследовательских программ: неоклассическая теория претендует на роль методологического канона для всех исследователей. Помимо внутрицеховой битвы, налицо экспансия экономистов в сопредельные области общественных наук. При этом объявляется: «если вы не занимаетесь формализацией, то вы не учёный». Драматичность подобных диспозиций в том, что форма убивает содержание. Но нельзя, по мысли В.В.Вольчика, сводить экономическую жизнь к цифрам и графикам. Экономика есть нечто большее, это - часть культуры.

Тему отношений экономической науки и экономической политики времен первой русской революции поднял **С.В.Беспалов** (Москва). Он заметил, что в жаркие экономические дискуссии того времени были вовлечены различные слои населения - от маститых профессиональных экономистов до простых обывателей. Накалу полемики способствовало идейное противостояние радикальных либералов и умеренных правительственных консерваторов. На повестке дня стоял вопрос: можно ли использовать западный опыт при осуществлении российских реформ? Сторонники крайне либеральных идей, - заметил профессор С.В.Беспалов, - защищали позицию качества экономической жизни, не очень-то утруждая себя размышлениями о поэтапности модернизации. Консерваторы, напротив, оказались более взвешенными в речах, и в результате тенденция стабильного экономического развития возобладала. И хотя у либералов не было альтернативной программы развития, роль резких полемистов и критиков они выполняли исправно, - подчеркнул С.В.Беспалов.

Если экономисты лишь вскользь коснулись проблемы власти и гражданского общества, то **В.Г.Доманов** (факультет социологии и политологии ЮФУ) уделил этой теме специальное внимание. По его мнению, тандем «власть – гражданское общество» наглядно отражает конструктивное противоречие науки и власти. Выступавший напомнил, что история становления гражданского общества в России уходит корнями в полемику западников (либеральных реформаторов) и славянофилов (сторонников этатистских механизмов), а практика гражданской активности и кооперации ведет отсчет с 18-19 веков. Нынешние иллюзорные гражданские структуры следует, по словам В.Г.Доманова, заменить «пугающим хаосом гражданского

общества». А упование на государственную власть, как инструмент создания гражданского общества не несет перспектив для будущего. Усилия и импульсы гражданской воли должны быть направлены на реконструкцию элементов свободных сословий.

Анализу проблемы развития научно-технического потенциала посвятил свое выступление **М.Е.Васильев** (Ростов-на-Дону). По его мнению, новое общественное устройство положительно корреллирует с уровнем развития науки и технологий. Государство, вступившее на путь приращения инноваций, имеет шанс выбиться в мировые лидеры. В противном случае – перспектива остаться сырьевым донором для «более проворных» государств. Для оценки отношений науки и власти, подчеркнул М.Е.Васильев, важно учитывать, помимо технологических процедур, социокультурную среду, в которой строятся эти отношения. Соответственно, важно понимать, что кризисное состояние науки демонстрирует латентную болезнь всего общества в целом. Выход из тупика М.Е.Васильев усматривает в реализации как деловых, так и научных стратегий развития.

Упомянутую идею социокультурного рассмотрения науки и власти развил дале проф. **А.И.Бардаков** (Волгоград). Определяя культуру как процесс возделывания индивидом своих собственно человеческих качеств, он подчеркнул, что совершенствование общественного устройства возможно лишь в культурном контексте. А стандартные размышления в рамках социальных парадигм не решают проблему развития человека. Только в русле «трёхбытийной», как выразился А.И. Бардаков, формы анализа (природа-социум-культура) мы можем приступить к реставрации науки. Другими словами, ставка на культуру есть залог эффективной политики.

В бой не идут одни старики

Приятно отметить, что проблематика конференции привлекла помимо опытных учёных еще и молодых, набирающих обороты исследователей. Представленные ими темы были свежи и оригинальны. Так, на непростых взаимоотношениях советских властей и специалистов-приматологов рассказала в своем докладе **Е.Пантелеева** (Саратов). По ее словам, советские чиновники от науки были «разборчивой публикой», и стремились поощрять те отрасли знания, которые вписывались в прокрустово ложе марксисткой идеологии. Под руку «популяризации науки» попали эволюционисты и учёные-приматологи. Эта властная стратегия была не лишена интриг: приматология времен Павлова не отличалась теоретической монолитностью.

Отношения власти и науки, как в мирное время, так и в условиях конфликтов, имеют определённые специфические отличия. Об особенностях научных изысканий в условиях этнополитического конфликта рассказывал **Р.Пожарский** (студент 4 курса факультета социологии и политологии ЮФУ). По его мнению, националистически настроенная интеллектуальная элита

занимается разработкой идеологем, и тем самым актуализирует те моменты истории, которые способны консолидировать этнос в ситуации напряженности. Даже появилась «мода на академии наук». Эти искусственно созданные научные центры часто служат базой для мифотворчества. Идеолог, сообразуясь с социальным запросом, конструирует реальность, и тем самым влияет на сознание масс.

А.Тупаев (студент 4 курса факультета социологии и политологии ЮФУ) задался в своем сообщении вопросом: от чего зависит эффективность двух социальных институтов – науки и власти? С позиции неоинституциональной методологии и теории «институциональных ловушек» состояние как одного, так и другого института оставляет желать лучшего: идет подмена формальных институтов неформальными практиками. Учёными стоят перед выбором: либо посвятить себя творчеству и «отдаться процессу», либо заняться бизнесом и достижением статуса, имея «за пазухой» научную степень. Эта дилемма, - убежден А. Тупаев, - определит будущее российской науки.

Тему «институциональных ловушек» продолжил **Н. Горбатков** (студент 3 курса факультета социологии и политологии ЮФУ). На примере структур Высшей аттестационной комиссии он показал неэффективность процесса защиты кандидатских и докторских степеней. Случается так, что диссертационные исследования становятся прибыльным делом, а рождение нового научного кадра – делом сугубо финансовым. Реальным выходом из ситуации может быть лишь структурная реформа науки и отмена научных степеней.

Предложения по реформированию научного процесса озвучил **А.Криволапов** (студент 3 курса факультета социологии и политологии ЮФУ). По его мнению, современная научная политика не учитывает ряд важнейших позиций: из-за «разгерметизации» научного сообщества после крушения СССР, в 90-ые годы много умных голов покинуло Россию. Сегодня эти учёные признаны за рубежом. А.Криволапов предложил инициировать создание «института возвращенцев», который бы выполнял одновременно три функции: обогащал отечественные исследования за рубежом, усиливал мобильность кадров и мог бы представлять нашу науку за границей. Вместе с институциональными нововведениями следует, по мысли А. Криволапова, переориентироваться и на международное разделение труда: работа с частными фондами по поддержке творчества и организациями частных инициатив смогла бы решить уйму проблем отечественной науки и власти.

Векторы дискуссии, наметившиеся в ходе симпозиума, указывают на сложность и амбивалентность отношений науки и власти. При всём контрасте и разности позиций по поводу актуальности темы конференции можно отметить общий положительный эффект: состоялся интереснейший диалог позиций и поколений. Большинство участников встречи сошлись во мнении о необходимости создания посреднического института от науки. Учёное

сообщество должно увидеть в своих рядах людей, способных на эффективный диалог с государством, а также имеющих талант представлять результаты своих исследований.

Власть, зачастую пренебрегая наукой, утрачивает перспективу и сама себя обкрадывает. Отношения с наукой она должна строить в режиме сотрудничества, привлекая к делу «профессиональных посредников» от самой науки.

Современность диктует свою модель взаимодействия, и былые противостояния уходят в песок истории.

А.А. Криволапов

ПУГАНЫЙ НАРОД И ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА ЛОМОНОСОВУ

От редакции:

В настоящее время в России существует 75 интеллектуальных структур, их них 11 институтов РАН, 21 институт, академии, университеты, 14 центров, 11 фондов, которые издают 59 журналов, 17 газет и 35 Интернет-ресурсов [12, с. 355-365]. О чем же печалиться? Читай себе и мотай на ус…

Между тем Россия наследует опыт СССР, в котором хитрость и обман стали нормой, поскольку государство искажало и утаивало информацию. Длительное существование простых и ученых людей в такой атмосфере не благоприятствовало распознаванию лжи и правды (далее ЛИПа). Исследования подтвердили гипотезы: о связи между объективной способностью распознавать ЛИПу и макиавеллизмом личности; о завышенной самооценке способности распознавать ЛИПу по сравнению с объективной оценкой этой способности; о связи между самооценкой способности распознавать ЛИПу и макиавеллизмом; о гендерных различиях в отношении к ЛИПе (женщины больше скрывают правду, чем мужчины); склонные к манипуляции субъекты и институты постоянно используют обман для достижения собственных целей [11]. Современная политика - средоточие лжи [23].

Исследования в сфере социологии чтения и библиотек, проведенные в 1990-е гг. обнаружили две особенности в функционировании исторических романов: редукция к символам «закрытого общества»; пропаганда идеи об исключительности национального сообщества и характера. Это чтиво навязывается гражданам как коммерческий продукт, а не как элемент пропагандистской машины государства. Такие книги создаются, распространяются, покупаются и потребляются вне прямого идеологического заказа или диктата со стороны государства, вне его монопольного финансового, экономического, социального обеспечения. Стало быть, советская властная «легенда» усвоена массовым человеком, вошла в его социально-антропологический состав, круг оценок и мотивов действия). У этой версии национального прошлого впервые в российской культурной истории XIX-XX вв. фактически нет ни идейного, ни художественного конкурента: «бои за историю» стихли.

Стандартизированная государственническая версия отечественной и мировой истории выступает нормой массового восприятия настоящего и прошлого. Эта «норма» отсекает все иные конкурирующие значения и оценки. При этом на протяжении последних 15-ти лет шел процесс политической и экономической изоляции России в мире. Однако внутри страны власть, население и большинство СМИ единогласно сконцентрировались на значении, символах и престиже национального целого, его особого исторического пути, судьбы и предназначения [4].

В течение последних 20-ти лет в России стали популярны все формы квазинауки (астрология, уфология, квазибиология, квазимедицина, парапсихология, трансперсональная психология, хронология, история, культурно-национальный подход, теория диалога и консенсуса, геополитика и пр.). Этот мутный поток направляют спецслужбы [14].

Журнал будет рецензировать преимущественно те книги, которые дают основание для рефлексии, анализа и критики указанных тенденций. Особое внимание принадлежит

альтернативным концепциям, которые замалчиваются и вытесняются из публичного обихода. Приглашаем коллег к сотрудничеству в направлении, которое указал В.Набоков: одаренный читатель – это гражданин мира, не подчиняющийся пространственным и временным законам; он интересуется частностями, а не большими идеями [13, с. 25-26].

В.П.Макаренко

* * *

На склоне СССР выдающийся поэт С.Липкин писал: «Сейчас критики режима из числа его создателей и слуг кручинятся по поводу того, что среди среднего, старшего и высшего состава руководителей растут шовинизм, стяжательство, жадность, грязного пошиба эпикурейство, полное равнодушие, презрение к всечеловеческой идее да и вообще ко всякой идее. Как это ни странно, а нам, жителям, такая кажущаяся деградация приносит известное облечение, выход. Принципиальные изуверы досталинской эпохи и периода первых пятилеток были для населения хуже, вреднее нынешних алчных, продажных золоторотцев, не верящих ни в чох, ни в сон. Тело государства, пусть медленно, пусть болезненно, освобождается от раковой опухоли путем заражения сифилисом. Благой путь!» [9, с. 98-99].

Как известно, «закат Европы» породил целые библиотеки философской рефлексии и длится до сих пор. Согласно логике С.Липкина, «закат СССР» интересен только специалистам по социальной медицине. К средним векам восходит концепт «тело государства». В его состав входят высшее лицо государства, аппарат власти и управления. Этот концепт в рассуждении С.Липкина переплетен с идеей Б.Мандевиля: человеческие пороки необходимы для блага государства. И потому надо описывать процесс замены «принципиальных изуверов» первых десятилетий Советского Союза на «продажных золоторотцев» периода ее заката. Тело нынешнего российского государства – это синтез золотарей с сифилитиками. И потому лучше СССР.

Бывший диссидент Г.Павловский думает иначе. В предисловии к книге Н.Н.Козловой он пишет: «Советское попросту отделилось и освободилось от ностальгии по СССР. И вырисовывается сокровище советской цивилизации, которое предстоит оценить. Она здесь, ее чеканы и образцы уже не выскоблить из опыта будущего человечества… Советская проблема возобновляется как проект справедливого глобального руководства, основанного на знаниях. Советский Союз – общемировой клад социальных, государственных и экзистенциальных моделей… Всякая государственная система в России, - вещает Г.Павловский, - какой бы та ни была, будет основана на советском фундаменте, и работать будет с вечной библиотекой советских национальных и культурных образцов» [16. с. 3-5]. Тоже известный ход мысли: «лучший из

миров» расположен в нашем хуторе; а то, что было вчера, лучше того, что есть сегодня. Поэтому СССР лучше России…

Кто же прав – поэт или бывший диссидент? Скажу вначале о диссидентах. Как пишут в журнале «Новое литературное обозрение», в настоящее время в стране стремительно нарастает политический и идеологический конформизм. Многие «властители дум», «люди пера и микрофона» славят «сильное государство», «великую Россию» и забывают о человеке. Поэтому надо вспомнить о диссидентах, которые последовательно отстаивали права личности на свободу и самостоятельный выбор идейных и жизненных ориентиров. Однако о преобразовании диссидентов типа Г.Павловского в кремлевских политологов исследовательский проект «Словарь диссидентов: представители оппозиционных движений в коммунистических странах Центральной и Восточной Европы в период 1956-1989» ничего не сообщает [18].

Возникает вопрос: почему же бывший диссидент, а теперь - кремлевский политолог - написал предисловие к исследованию покойной Наташи Козловой? Как известно, диссиденты, а вслед за ними и большинство журналистов квалифицируют советских людей как Homo soveticus. Н.Н.Козлова с этой тенденцией не согласна. На основе анализа «Народного архива» (дневников простых советских людей) она описала ментальную карту типов советских людей. В состав данной карты входят следующие фигуры: 1. Бессознательный нигилист после революции срывал иконы, потом поумнел - стал читать Библию. 2. Верноподданный офицер после войны читал лекции на тему «Роль т.Сталина в организации ремонта бочек на фронте». 3. Профсоюзный деятель с полностью атрофированной социальной памятью. 4. Председатель колхоза – ярый сталинист. 5. Осведомитель НКВД носил подмышкой «Диалектику природы» и «Капитал», чтобы производить впечатление на окружающих. Но текстов классиков марксизма так и не осилил. Под культурой понимал покупку костюма, мандолины и часов, чтобы «погулять с ними с форсом». 6. Тупоголовый партийный и профсоюзный работник, который жил и мыслил в языке советских плакатов. 7. Простая женщина, для которой письмо «наверх» и Отченаш выступали в одной функции: как взывание к Богу. 8. Жертва режима (жена заключенного, а затем художница) стала элементом советского истеблишмента, клепала портреты советского великого кормчего как «самый ходовой товар».[1] 9. Бывшие люди (сложившиеся до 1917 г. деятели искусства - М.Булгаков, М.Горький, К.Чуковский, Л.Сейфулина, Б.Пильняк, П.Корин, Д.Шостакович, А.Толстой и пр.) – славили советскую власть за деньги, дачу, квартиру.[2] 10. Молодежь периода «застоя» превратила труд в абстрактную

[1] Эта дама считает вехи официальной истории СССР (революция 1917 года; преступления Сталина и коммунистической клики; ВОВ 1941-1945 гг.; распад великой державы в 1991 г.) главными событиями XX века.

[2] Они были носителями отъявленного цинизма. Вот его примеры. Чтобы получить государственный заказ на книжку о Сталине М.Кольцов хотел использовать пионеров, которые собирались с визитом к Сталину и на встрече должны были выступить инициаторами заказа. А в 1934 г. Кольцов привез из Германии мальчика: «Никаких сантиментов тут нет. Мы заставим этого мальчика писать дневник о Советской стране и через

категорию, а досуг – в главное пространство общения. 11. Дети советской номенклатуры - новые буржуа, писатели, художники [8, с.104, 217,328, 360-361, 420].

Обратим внимание: большинство указанных типов состоит из советских малых и больших начальников, их бессловесных рабов и идеологической обслуги. Ни одного профессионала в карте нет. Самое главное, считает Н.Н.Козлова, эти люди готовы были все *простить* государству в любой момент: «И этот момент прощения, восстановления попранной было чести (отмена раскулачивания, возвращение отобранных избирательных прав, получение паспорта, проскальзывание на рабфак и тем более в вуз) для многих, вероятно, был переломным моментом в жизни, после которого они, благодарные, начинали этому государству служить – конечно, с разной степенью истовости» [8, с. 486].

Итак, вместо ментальной карты Н.Козлова предлагает старую идею о *тождестве* государства и типов людей. Но Гегель, к примеру, ограничивал это тождество формами политического мышления (политическое умонастроение, корпоративный дух, государственный разум), образующими предпосылку «разумного государства» [10, с. 58-68]. Н.Козлова ничего не говорит о том, насколько советское государство было «разумным». А предлагает типологию, которая базируется на перевернутом критерии оценки - готовности индивидов все простить государству и стать его холуями.

Вдумаемся в этот вывод, претендующий на политическую мудрость. Если человек незаслуженно нанес нам вред – мы используем необходимую оборону и даже уголовный кодекс на нашей стороне, не говоря о кровной мести. Если нас обидели государевы люди – мы обязаны лизать им руки и другие части тела, а не привлекать к ответственности. Парадокс в том, - отмечает Н.Н.Козлова, - что советский модерн – это аппарат надзора и монополия государства на средства насилия. Социальные технологии повседневного сопротивления ведут к службе государству. В постсоветской России происходит постоянная регенерация таких стратегий [10, с. 471-486].

Теперь понятно, почему будущему человечеству, от имени которого выступает Г.Павловский, надо ориентироваться на советские «чеканы и образцы». Если воспользоваться терминологией «Народного архива», то будущее человечество должно состоять из «тайных собак» и «казенных попугаев» - тех, кто не понимает ничего, делает без рассуждения все, что ему прикажут, никогда не имеет собственного мнения и на все смотрит сквозь

полгода издадим этот дневник, а мальчика отошлем в Германию. Заработаем!»». До 1938 г. шелковые чулки в Москве можно было купить только у жены Кольцова, который наладил конвейер из Испании (туда он ездил корреспондентом). В 1936 г. А.Ахматова поехала с Пильняком в открытой машине из Ленинграда в Москву. «Где-то под Тверью с ними случилась небольшая авария, пришлось остановиться и чинить машину. Сбежались колхозники. И легковая машина, и костюм Пильняка обнаруживали в нем советского барина. Это сразу вызвало вражду. Одна баба всю силу своего негодования обратила на Ахматову. «Это – дворянка, - угрожающе выкрикивала она, - разве вы не видите?». Короче говоря, в сознании колхозников образы «деятеля культуры», партийного чиновника и «дворянки» слились воедино. См.: [8, с. 387].

правительственные очки. Интеллектуальная обслуга Кремля требует воспроизводства таких свойств и типов людей. Такова, видимо, главная причина создания предисловия.

Однако существуют и другие подходы к описанию истории, которые позволяют поставить под вопрос саму идею тождества государства и типов людей. Любое историческое событие никогда не постигается непосредственно и во всем объеме, а всегда воспринимается частично и косвенно, через документы и свидетельства. Оно всегда предполагает определенную точку зрения на события, есть нечто, что невозможно знать априорно. При этом всегда существует угроза подмены подлинных истин так называемыми «простыми истинами». Банальность прошлого состоит из незначительных особенностей, которые, умножаясь, в конечном счете создают совершенно неожиданную картину [1, с. 7-11]. В книге Н.Н.Козловой содержатся и другие факты, на которые не обратила внимания ни она, ни ее идейный покровитель.

Для первичной систематизации таких фактов воспользуюсь опытом своей покойной мамы. Она тоже была простым советским человеком.

Во время германско-советской войны мама проделала длинный путь эвакуированного из Украины до Моздока. С детства рассказывала мне много всякой всячины, о которой ничего не сообщали советские книги и газеты. Наконец, из «Народного архива» я извлек подтверждение правдивости всех рассказов мамы. Скажу лишь о некоторых.

Дама-жена заключенного сообщает: пока ехали в эвакуацию по территории Украины – вопрос с ночлегом разрешался легко; только переехали границу Воронежской области – все изменилось: советских людей советские же люди держали на улице в холод; требовали деньги за ночлег; произошло нашествие вшей; вошебойка на вокзалах стала нормой [1, с.347-352].

Подтверждение этой информации можно обнаружить в мемуарах москвича – бывшего студента МИФЛИ. Он вел дневник с начала и до конца войны, потом засунул его в чулан на пятьдесят лет, но недавно опубликовал. Среди прочего сообщает: 19.07.42 г. «Мы уже в Ростовской области. Прощай, Донбасс, прощай, Украина!.. В ростовских хуторах население относится к нам совсем по-другому. На Украине каждый готов был отдать все, что у него было, и обижался, когда мы за это платили. Здесь без скандала нельзя достать глоток молока» [22, с. 68].

В данных фактах нетрудно увидеть проблему сравнительной жадности населения республик и регионов бывшего СССР.

Моя мама называла «немецкими подстилками» женщин, которые спали с немцами. Но отношение к ним было разным. Например, в Чехословакии после войны их водили по улицам под охраной милиции, на голове выбривали свастику, на груди вешали фанерку со свастикой. В СССР ситуация была иной. В фольклоре существовал песня о молодой девушке, которая «немцу улыбается». Газеты сообщали, что только в Харькове подстилки родили 60

тысяч фрицев. Видимо, и земляки не отставали. В газете «Голос Ростова» во время германской оккупации было объявление о том, что «…публичному дому для немецких солдат требуются сто красивых девушек. В первый же день было 300 заявлений» [21, с. 173]. Однако я до сих пор не слыхал, чтобы этих дам советская власть подвергала уголовной или гражданской казни. Первая капитальная монография о коллаборационизме в Советской России уже есть, но в ней об этом ничего не сообщается [20]. Значит, надо обратиться к фактам свидетельствующим о сталинском гуманизме – как раз во время советско-германской войны.

Вот первый факт. После разгрома немцев под Москвой советский поэт Н.Н.Асеев вместе с главным сталинским писателем А.А.Фадеевым отправился в прифронтовую зону, в места, только что освобожденные от врага. «И там в одной из освобожденных деревень он увидал местных деревенских ребятишек, которые лихо скатывались с обрыва на обледеневших немецких трупах – как на салазках. Макабрическое зрелище это привело старого поэта в ужас, и своими мыслями по этому поводу он поделился с Фадеевым. Фадеев на него наорал, обозвав абстрактным гуманистом и жалким интеллигентиком, не способным разделить чувство священной ненависти к врагу, которым охвачен весь советский народ, включая малых детей» [19, с. 91-92].

Второй факт такой. После первой публикации фотографии З.Космодемьянской в газете многие женщины признали в ней свою дочь. Однако после первой эксгумации никто из прибывших матерей не опознал в трупе своей дочери. А после второй (когда З.Космодемьянской уже присвоили звание Героя Советского Союза) у нее оказалось сразу несколько матерей [5, с. 16].

Наконец, для характеристики гуманизма «великого кормчего», учредившего орден «Мать-героиня», приведу третий факт. Согласно инструкции, многодетной матери для получения пособия надо было совершить следующие действия: «Государственное пособие выдается каждой матери, имеющей не менее семи детей, из которых младшему менее пяти лет. Не принимаются в расчет умершие дети, а также пасынки и падчерицы, дети усыновленные и дети, являющиеся иностранными подданными. Выплата государственного пособия прекращается: а) в случае смерти ребенка, на которого назначено пособие; б) в случае смерти кого-либо из других детей многодетной матери, если в связи с этим число оставшихся в живых детей окажется меньше семи человек. В случае смерти матери выплата пособия прекращается. К заявлению должны быть обязательно приложены свидетельства о рождении. В случае невозможности представить подлинное свидетельство о рождении факт принадлежности матери данного ребенка должен быть удостоверен народным судом. Кроме того, к заявлению обязательно должны быть приложены: в сельской местности – протокол заседания сельского Совета, и в городской местности – справка, выданная

органами Рабоче-крестьянской милиции, удостоверяющая число детей данной матери. На детей, проживающих отдельно, мать должна представить справки о нахождении их в живых. Справки должны быть датированы не раньше, чем за три месяца до подачи заявления. В случае возникновения сомнений работник бюро ЗАГСа обязан провести проверку их путем наведения справок в книгах и архивах органов ЗАГСа. Районное или городское бюро ЗАГСа составляет заключение и направляет его со всеми документами в районный исполнительный комитет или городской совет. В случае сомнения районный исполнительный комитет или городской совет назначает повторную проверку. При получении личной книжки мать обязана дать подписку о том, что все ее дети, принятые в расчет при назначении пособия, к моменту получения этой книжки находятся в живых и что она предупреждена об ответственности за дачу неправильных сведений. При получении государственного пособия за второй и следующий годы многодетная мать должна вновь представить в городской или районный финансовый отдел сравку районного или городского бюро ЗАГСа о том, что все ее дети, принятые в расчет при назначении пособия, находятся в живых. Районное или городское бюро ЗАГСа выдает эту справку лишь при представлении матерью всех протоколов и справок, указанных в ст.8» [17, с. 302-303].

Ученые остальных стран могут поискать аналогичные примеры у себя на родине… Для облегчения этой задачи можно воспользоваться мемуарами графини Л.А.Успенской. Она сообщает, что после гражданской войны в России жизнь русской эмиграции в Праге была самой неинтересной, а Прага – тоскливый город, поскольку там живут чехи. В доказательство приводит две истории:

1. «Там был такой обычай – что когда какая-нибудь девица хочет выйти в люди, она находит себе жениха и оплачивает его учение. Если ему не на что учиться… И они договариваются, он кончает учение, и они женятся. И вот, у брата был товарищ, чех, который был под таким обязательством. И она ему высылала каждый месяц столько-то денег, и все. И за три месяца до окончания он влюбился по-настоящему. Он к ней поехал и сказал: «Я тебе все верну. Меня уже ждет работа. И моя невеста тоже работает. Я тебе обязуюсь все вернуть». Но она ему сказала: «Нет. Договор есть договор». И он пошел и зарезался… И когда его хоронили, то огорчались два человека – мой брат и еще один русский, который там учился. Все остальные говорили: «Какой подлец! Как он девушку подвел – взял ее приданое, и теперь у нее нет ни жениха, ни денег». Такие вот нравы. На этом фоне мы, русские, как-то не вписывались в это все совершенно».

2. «Один молодой человек поехал с девицей на мотоциклетке. Доехали они до какой-то полянки, он сказал: «Ну давай, ложись!» А она говорит: «Нет». Он ей: «Ах ты, бесстыдница, я истратил на бензин столько-то, а ты что!» Все рассчитывалось так»… Такое скотство было распространено с пятнадцати лет.

И там часто удивлялись: «Он с ней ходил с пятнадцати лет, а потом еще на ней женился. Подумайте, какой хороший человек!» [6, с. .322, 329-330].

Значит, тема сравнительного политического гуманизма и внутренней и внешней продажности славянских народов тоже назрела. Возможно, что с учетом энергетического кризиса проблема смещается к ценам на бензин…

После взятия советской армией Черновцов на улицах не было ни народа, ни привычных для СССР портретов. Правда, над горсоветом повесили лозунг «Слава советским воинам!», а на входе в винный магазин и в венерический диспансер - «Добро пожаловать, советские воины!». Одновременно в город налетела «саранча» из Свердловска и других городов СССР, чтобы раскупить квартиры выселенных румынов и поляков по дешевке, поскольку по документам продавались не квартиры или дома, а имущество [6, с. 102-103].

Нельзя ли предположить, что комплекс таких фактов позволит лучше описать советскую цивилизацию, за воспроизводство которой ратует политолог из Кремля?

Кроме того, нуждается в конкретизации концепт homo soveticus, с которым полемизирует Н.Н.Козлова. Б.А.Грушин на основе сорокалетних исследований массового сознания показал, что СССР включал в себя две реальности: обычную жизнь; строительство нового общества. Все население делилось на три типа: homo sapiens жил в первой реальности; homo communisticus – во второй; homo soveticus жил одновременно в двух мирах.

На этой основе возникла новая порода человеческих особей: по анатомии и физиологии они были homo sapiens, но отличались о человека разумного советским менталитетом - способом чувственного восприятия мира и суждений о нем. Этот менталитет передавался с молоком матери, поддерживался всей системой воспитания и до поры до времени бесконфликтно совмещал в себе представления о «простой жизни» и «борьбе за коммунизм». Но с первого и до последнего года существования советской власти существовал *разрыв* во взглядах между homo communisticus и homo sapiens. Те, кто не поддался на удочку коммунистической пропаганды, реализовывали собственные, а не общественные цели. Это обстоятельство порождало конфликты в советском менталитете.

Первый конфликт связан с волей и готовностью к переменам. Здесь противостояли друг другу два типа сознания (позитивное полагало, что такие перемены необходимы; негативное отрицало эту необходимость) и два субъекта-носителя: часть молодежи из состава комсомольских активистов; все остальные слои и группы населения, начиная с последних рядовых граждан и кончая первыми лицами партии и государства. Окончательная победа оказалась за первыми. Секретари райкомов и горкомов ВЛКСМ были связаны между собой. А в годы, предшествовавшие началу перестройки, многие из них переместились в КГБ и смогли воспользоваться в личных целях начавшимися в стране преобразованиями.

Второй конфликт – между народом и властью. Носителями советского менталитета были работники органов управления. Их деятельность осуществлялась по законам массового поведения, и не опиралась на профессиональные знания и умения. Конфликт сводился к вопросу: кто в стране правит - народ или власть?

При сталинизме вопрос решался в пользу власти; народ не мог заикнуться о своих намерениях участвовать в решении вопросов общественной жизни. Но в эпоху застоя сталинизм начал дышать на ладан. Рядовые трудящиеся начали полемику с властью. Вначале она была скромной, затрагивала частные сюжеты. Потом превратилась в громогласную, по широкому кругу проблем.

Большинство управленцев прошли сталинскую школу власти. И потому всеми силами пытались задержать вторжение народных масс в управление. Но Агитпроп уже не мог добиться тотального контроля над умами простых смертных и над СМИ. Отсюда вытекает парадокс современного этапа развития России: органы власти не справились с проведением реформ, которые замышлялись для преодоления бедственной экономической ситуации и повышения уровня жизни населения; массы населения не смогли добиться успеха в борьбе с властью. Они не владели азами борьбы за свои интересы. Поэтому их протест не содержал реальной угрозы советской власти.

Таким образом, застой означал не остановку в развитии, а вступление советского общества в последнюю стадию жизни, завершившуюся смертью [2, с. 839-879].

Таков социологически доказанный итог деятельности советских людей. Значит, стремление выбиться в начальство с одновременным прощением государству на деле оказалось предпосылкой смерти советского общества. Таково одно из политических непредвиденных следствий верноподданнической православной морали, не замеченное Н.Н.Козловой.

Откуда же взялся сам концепт «ментальной карты», который Н.Н.Козлова использует для толкования фактов? Слово «ментальность» пустил в оборот Арон Яковлевич Гуревич в 1960-е гг.: «Теперь слово это так опошлили, что я, как историк, боюсь лишний раз его произносить, потому что могут неправильно понять – имею ли я в виду категорию исторического знания или же то, о чем уже с думской трибуны говорят: «Нам менталитет русского народа не позволяет…» [3, с. 115].

Значение А.Я.Гуревича как ученого стало предметом анализа в одном из свежих номеров «Нового литературного обозрения» [15]. Незадолго до смерти он опубликовал мемуары. Я спрашивал у своих университетских коллег-историков, читали ли они эту книгу. Убедившись, что не все о ней даже слышали, опишу главные идеи мемуаров А.Я.Гуревича - гражданина, прожившего жизнь в СССР. Я не буду сейчас вступать в дискуссию о

ментальности как категории исторического знания, а также о мемуарах как историографическом источнике.[3]

Начну с общей оценки истории СССР и второй мировой войны. Криминализация страны началась не в течение последнего десятилетия, а была подготовлена разрухой после Февральской революции, усилена Октябрьской революцией 1917 года и победила при Сталине. Сталинский аппарат власти и управления – это преступники, которые «…прикрылись мундирами, воинскими и партийными званиями и выстроились в возглавляемую паханом иерархию» [3, с. 87]. Уже во время Потсдамской конференции лидеров антигитлеровской коалиции английские граждане проголосовали против Черчилля. Политическая активность англичан контрастировала с пассивностью наших отцов и дедов. «Теперь было совершенно очевидно, - пишет историк, - что победивший Гитлера советский народ проиграл войну - проиграл в том смысле, что был не в состоянии воспользоваться военной победой для демократического преобразования собственной родины» [3, с. 85-87].

Таков парадокс: побежденные страны (Германия, Япония, Италия) после искоренения фашистских, нацистских и милитаристских режимов были поставлены перед необходимостью пойти по пути демократизации. «Страна же, которая принесла наибольшие жертвы в годы Второй мировой войны и заплатила за победу беспримерную цену, оказалась побежденной собственным режимом» [3, с. 87].

Когда же именно у людей поколения А.Я.Гуревича начали открываться глаза на то, что общество, которое официально называется самым прогрессивным, на деле представляет собой нечто совершенно иное? Возможны разные ответы: доклад Хрущева; события в Венгрии; события в Чехословакии; горбачевская перестройка. Так или иначе ответ на вопрос связан с генезисом механизмов культурного сопротивления советской власти. В ответе историк повторил то, что мне с детства рассказывала мама. Она видела, как представители власти первыми бежали от немцев, оставляя население на произвол судьбы. Гуревич пишет, что у людей, с которыми он был духовно связан, уже во второй половине 40-х годов не возникало никаких сомнений относительно советской действительности: «Законченно критическое, негативное отношение к нашему общественному строю установилось у меня только в 1945 году» [3, с. 80].

При этом важную роль имели следующие факторы.

Отношение к общественной жизни СССР 1950-1980-х гг: «Мы знали, что в общественной жизни нельзя принимать никакого участия, потому что это негигиенично и ни к чему хорошему не приведет» [3, с. 240].

[3] Обычно мемуары пишут представители интеллектуальных, научных, политических и прочих элит. У каждой из них свой жизненный опыт и восприятие прошлого. С точки зрения источниковедения самым ущербным в содержании воспоминаний является их деформация и модернизация с течением времени. Мемуары отражают личность человека и историческое сознание общества в момент их написания, а не во время описываемых событий. См.: [7, с. 270-277].

Квалификация советского научного сообщества. Из мемуаров можно узнать много полезного о советской исторической элите, центральных структурах исторической науки, советских предпосылках современного научного сообщества России. Е.А.Косминский считал академическую элиту камарильей, которая отплясывала свой танец под эгидой Отдела науки ЦК КПСС. Академик С.Д.Сказкин до последнего дня сохранял в медиевистике неограниченную монополию власти - занимал несколько должностей. Одновременно это был человек «абсолютно управляемый всеми, кто имел отношение к власти, к авторитету, кто мог внушить ему некоторый трепет, - а его легко было напугать». Н.А.Сидорова больше всех способствовала вырождению медиевистики в Москве. Когда А.А.Зимин опубликовал работу о проблеме происхождения, датировки и подлинности «Слова о полку Игореве», на него обрушились академики Д.С.Лихачев и Б.А.Рыбаков. Историки – народ вообще пуганый, - так квалифицирует советское историческое сообщество А.Я.Гуревич [3, с. 20, 40, 137, 148, 158].

Центральные структуры исторической науки культивировали всеобщий холуяж и бездарность. Институт всеобщей истории АН СССР был пристанищем детей и родственников высокопоставленных лиц. Послы, министры, секретари ЦК пристраивали своих бездарных чад в академических институтах. Простому смертному прийти туда было невозможно. В результате даже оценка аспиранту могла стать причиной склоки и партийного разбирательства. МГУ отличался крайним консерватизмом в сфере гуманитарных исследований. Ведущие ученые там не работали [3, с. 143-144, 164, 170].

Но советские академики-философы были еще хуже, поскольку эксплуатировали чужой интеллект. А.И.Рубин переводил сочинения зарубежных мыслителей, но публиковались эти переводы под фамилией «официального философа» Г.Ф.Александрова. Однажды Институт философии приехал французский философ и обнаружил, что там есть неокантианцы, позитивисты, логические позитивисты, гегельянцы, младогегельянцы, но марксистов не оказалось. Однако на Гуревича не повлияла даже «прогрессивная философская мысль» СССР. А тексты Э.В.Ильенкова его вообще разочаровали. «Я видел, что трудившиеся в этом институте профессиональные философы, даже наиболее продвинутые среди них, умные, талантливые, имеют один коренной недостаток – они верхогляды… Здесь царило пренебрежение к историкам, которые занимаются фактами. Историк своим конкретным материалом сыпал песочек в их замечательные буксы» [3, с. 128-129].

Не менее показателен генезис современной российской культурологии. В 1966 г. сталинский выкормыш академик П.Ф.Юдин закончил все виды своей партийной, идеологической и дипломатической карьеры. Окопался в секторе истории мировой культуры в Институте философии АН СССР и задумал

четырехтомное издание «История мировой культуры». Так возникало современное научное сообщество. Сразу после войны научным работникам резко повысили заработную плату. Среди историков появилась шутка: «год великого перелома» в истории СССР имел место дважды: в 1930-м году середняк пошел в колхоз; после войны «середняк пошел в докторантуру». Стало выгодно защитить докторскую диссертацию любой ценой. Это открывало возможность занять профессорское место, дававшее привилегии и регалии. Теперь не научное призвание и способности двигали многими, но чуждые науке интересы. Этические требования в научной среде были разрушены. Кандидаты наук могли вообще не знать ничего. А докторскую диссертацию один из знакомых автора изготовил так: «оторвал корешок у своей кандидатской и заменил первую страницу, где было сказано, что это диссертация на соискание ученой степени кандидата наук» [3, с. 127]. Советская власть разрушила научные школы. В результате произошло катастрофическое падение научного уровня исторических исследований, резкое сужение проблематики, культивирование цинизма и безнравственности среди ученых.

Важным компонентом культурного сопротивления является характер ученого – его умение идти против течения. Компоненты научной интуиции – ум, интерес к работе, трудолюбие, а главное – открытость для новых идей и фактов, при которой рушится всякий догматизм. Не надо идти на компромиссы: «Пример немалого числа окружающих, которые склонны были проявлять гибкость, простирающуюся вплоть до беспринципности, постоянно был перед моими глазами и служил предостережением». А.Я.Гуревич пишет, что ему приходилось подвергать свое сознание коренной перестройке почти в полном одиночестве и в обстановке нарастающей настороженности коллег: «Поэтому столь важным было не поддаться господствующим умонастроениям и не побояться поступать наперекор общепринятым установкам, научным и идеологическим». «Когда речь идет об острых научных и идеологических вопросах, ученому надлежит четко обозначить свои позиции и не идти ни на какие компромиссы, если только они не диктуются научными соображениями». «Вскоре я обнаружил, что гораздо большую отдачу я могу получить от людей, находящихся на периферии исторического знания, нежели от иных своих собратьев-историков» [3, с. 118, 119, 195, 196].

Существенное значение имеет также выбор направления исследований, противостоящего популярным темам, главенство научных занятий над повседневной жизнью. В 1960-е гг. «… я ощущал настоящее раскрепощение и чувствовал, что нащупал очень важную стезю для научных занятий, с которой меня уже нельзя свернуть, и никакие критические замечания и угрозы на меня подействовать не могут». «Неизбежная сращенность, органическая связь человека и его творчества мне кажутся очень существенными… Ум никому не помешал, но главное для человека – его характер». Никогда роман с женщиной

не доставлял мне стольких переживаний, сколько отношения с учителем». «Моя жизнь текла между трудами и трудами». Специально путешествовать по какой-нибудь привлекательной стране у меня не было особого желания. И в более поздние годы А.Я.Гуревич ездил на Запад работать, а не веселиться. Едва работа кончалась, возвращался в свои пенаты [3, с. 136, 147, 152, 227, 241].

В целом самостоятельность ученого заключается не в абсолютной самобытности его идей, а в его способности разделить учение наиболее перспективного и плодотворного научного направления своего времени и сделать в него свой вклад. Попутно А.Я.Гуревич сообщает, что продуктивность научных конференций и конгрессов, где присутствуют несколько тысяч человек, ниже нуля, научные вопросы на таких «митингах» почти не обсуждаются [3, с. 227, 165].

Все указанные качества советского научного сообщества воспроизводятся в современной России: «Эта внутренняя разобщенность, неспособность объединиться на чисто научной почве является … одним из важнейших препятствий для развития гуманитарного знания у нас… В наших постсоветских условиях, когда нам достались в наследство далеко не самые лучшие научные традиции, эта забота приобретает принципиальное значение» [3, с. 172-173].

Таким образом, А.Я.Гуревич реализует совершенно иное отношение к «чеканам и образцам советской цивилизации» по сравнению с тем, которое пропагандирует Г.Павловский. Одновременно историк приводит такой факт, который позволяет приоткрыть сокровенный смысл призывов кремлевского политолога. Коммунистическая аудитория располагалась в старом здании МГУ. После войны перед зданием воздвигли статую Ломоносова. Великий ученый стоял, прижимая к боку большой свернутый свиток. Студенты, прогуливая подруг вокруг монумента, останавливали их за плечом гиганта русской науки: «Если ракурс был выбран удачно, перед ничего не подозревающими зрителями свиток превращался в колоссальный фаллос» [3, с. 74]. В 1960-гг. статую заменили сидящим Ломоносовым.

Не следует ли отсюда, что борцы за возврат к советскому прошлому хотят опять воздвигнуть стоячего Ломоносова?..

Поставлю вопрос перед читателями.

В.П. Макаренко

ЛИТЕРАТУРА

1. *Вен П.* Как пишут истории. Опыт эпистемологии. М., 2003.
2. *Грушин Б.А.* Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен

Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина. В 4-х кн. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 2). М., 2006.

3. *Гуревич А.Я*. История историка. М., 2004.

4. *Дубин Б.В*. Советский и постсоветский исторический роман: герои, поэтика, социальные функции // Феномен прошлого. Отв. ред. И.М.Савельева, А.В.Полетаев. М., 2005.

5. *Звягинцев В.Е*. Война на весах Фемиды. Война 1941-1945 гг. в материалах следственно-судебных дел. М., 2006.

6. *Интервью с Лидией Александровной Успенской* (1906 г.р., урожденной Мягковой). Интервьюер Софья Чуйкина // Ab Imperio. 2004. № 1.

7. *Источниковедение новейшей истории России*: теория, методология и практика. Под ред. А.К.Соколова. М., 2004.

8. *Козлова Н.Н*. Советские люди. Сцены из истории. М., 2005.

9. *Липкин С*. Квадрига. Повесть. Мемуары. М., 1997.

10. *Макаренко В.П*. Анализ бюрократии классово-антагонистического общества в ранних работах Карла Маркса. Ростов-на-Дону, 1985.

11. *Мещеряков Б.Г*., Некрасова А.В. Макиавеллизм: правда и ложь в повседневной жизни // Человек. 2005. № 6.

12. *Мыслящая Россия*. Картография современных интеллектуальных направлений. М., 2006.

13. *Набоков В*. Лекции по русской литературе. М., 1996.

14. *Наука и квазинаука*. Под ред. В.М.Найдыша. М., 2008.

15. *Новое литературное обозрение*. 2006. № 81.

16. *Павловский Г*. Жизнь в СССР и «советская проблема» // Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М., 2005.

17. *Паперный В*. Культура Два. М., 1996.

18. *Писатели-диссиденты* // НЛО. 2004. № 66/2, 67/3, 68/4.

19. *Сарнов Б*. Скуки не было. Вторая книга воспоминаний. М., 2005.

20. *Семиряга М.И*. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы второй мировой войны. М., 2000.

21. *Смирнов В.В*. Ростов под тенью свастики. Ростов-на-Дону, 2006.

22. *Стеженский В*. Солдатский дневник. Военные страницы. М., 2005.

23. *Тарасов А.Н*. Ложь в политике, или желтый логарифм. М., 2007.

НАШЕСТВИЕ БАТАЯ НА РУСЬ

С.Л.Фокин. Жорж Батай в 30-е годы: Философия. Политика. Религия. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. университет экономики и финансов.1998. – 130 с.

Сегодня все то, что *касается* современной французской мысли, — переводы, исследования, комментарии — отмечено повышенным интересом критики. Сфера накалена. Да и нет, пожалуй, более острой полемики среди переводчиков и исследователей, чем в среде специалистов по французской философии и литературе XX в. Борьба за власть над, если не умами, то вниманием читателя максимальна. Здесь проходит вектор актуальности, здесь сфера распределения квот популярности, здесь же наиболее раскупаемые тиражи переводов, дискурс которых апроприируется гуманитариями, арт-критиками и левыми философами Росиии.

Имя Жоржа Батая в последнее время приобрело популярность в самых различных кругах. Но частотность упоминаний его всуе и обращений к мыслям французского писателя и мыслителя (его рейтинг цитирования в среде отечественных интеллектуалов один из самых высоких) находится в обратной зависимости с количеством исследований его творчества. Вопреки установившемуся способу распространения новых авторов в российской среде: вначале критические статьи, пересказы, ссылки на первоисточники, наконец, рефераты, как это было, например, с французскими экзистенциалистами, Хайдеггером, Фуко, Делезом и т.д., — с Батаем, благодаря активной деятельности переводчиков, ситуация иная. В исчерпывающей библиографии, приведенной в книге, можно воочию убедиться, что переводов Батая больше, чем исследований. В этом — редком — случае переводческое “предложение” опережает спрос.

С.Л. Фокин уже известен отечественному интеллектуалу как наиболее активный переводчик и комментатор работ/трудов/произведений Батая, вполне отвечающий требованиям В.Беньямина: “Переводчик обязан расширять и углублять свой язык посредством чужого”. Его высокая компетентность позволяет ввести читателя не только в творческий мир и основные темы французского мыслителя, но показать контекст, в котором (или — в основном — вопреки которому) рождались его работы, и раскрыть основные истоки и импульсы. Несомненно представляет интерес и легкую инъекцию, повышающую уровень самосознания, анализ влияний на творчество Ж.Батая представителей Русской мысли во Франции — Л.Шестова, (“ему-то я и обязан началом своих философских познаний” — признается Батай; благодаря ему в круг чтений Батая вошли Пушкин, Лермонтов, Гоголь и Достоевский) и А.В.Кожевникова (А. Кожев,

лекции которого он аккуратно посещал). Это отрадный факт, поскольку сегодня повсеместно продвижение идей Батая в среде современных российских интеллектуалов.

Особая статья — метод исследователя. Когда встречаешься с мыслителем такого ранга как Батай, с такой силой негативности по отношению к политическим течениям, к господствующей мысли, нравам и наконец к самому языку, то трудно не попасть в зависимость от его письма. Дистанцироваться. Ангажированность и несамостоятельность мысли по- и исследователей выдающегося философа известна. В результате мы имеем то, что было диагностировано В.С. Малаховым в отношении хайдеггерианцев: трактовка произведений мастера — ритуал, который "осуществляется только в терминах объясняемого текста". Ряд можно смело дополнить гуссерлианцами, фукианцами, лаканистами, шизоаналитиками. Фокин же этой участи счастливо избежал: он вписывает Батая в отечественную традицию литературоведения, увеличивая дистанцию операторами наукообразия, как, например, повсеместное "дело идет о...". Здесь неуемное и трансгрессивное, неподвластное дисциплинарной определенности и рациональным ловушкам творчество Батая становится *предметом анализа*. Последовательность, сотканная Фокиным из "случайных" мыслей Батая, при изложении таких *невозможных* тем как: трата, смерть, жертва, — выдают, однако, изысканную и удерживаемую С.Фокиным позицию. Полагаю, что читателя не введет в заблуждение отсутствие речи о современных проблемах: прислушавшись, он отчетливо различит голос автора, звучащего через или поверх Батая в полемике о самых насущных проблемах и вклинивающегося в литературоведческие, идеологическе и философские дискуссии последних десятилетий.

Сергей Фокин находит свои ответы на трудные вопросы, касающиеся отношения Батая к сюрреализму, марксизму, фашизму, а также к жертвоприношениям и ритуалам в буржуазном “демократическом”обществе. Это тем более контрастирует с исключительно *академическим* названием книги. (В предисловии мы не обнаружим объяснения необходимости ограничиться периодом 30-х, рамки которого к тому же постоянно нарушаются). Впрочем, от *первой* монографии *естественно* было бы ожидать рассказа о *всем творчестве* Ж.Батая.

Своеобразие авторской позиции усиливается пристальным — возможно излишне — вниманием к *общественно-политической* деятельности писателя. Он детально анализирует его журнальные публикации на актуальные темы: "Журнал — не книга; в периодических публикациях писатель как нельзя лучше осуществляет возможность присутствия в гуще событий, самоопределения по отношению к текущей повседневности, к тому, что иным представляется переходным, мимолетным, случайным, но в сущности своей несет, по словам Ш. Бодлера, 'дух современности'" (с. 19). В организации Батаем журнала исследователь совершенно справедливо усматривает *политический* опыт: "политика не принимает одиночек, и писатель, начиная ощущать императивы современной исторической ситуации, должен был искать себе подобных, чтобы сообща ответить на

вопросы, которые задавало время" (с. Именно в практических начинаниях Батая — учреждении тайного общества "Ацефал" и организации группы "Контратака", участии в руководстве "Коллежем социологии" — С.Л.Фокин видит реализацию принципиального устремления Батая — достичь позиции "философа-вне-себя". Под такой позицией им понимается "некое положение мысли или диспозиция письма... Это положение или диспозиция неотделимы от творческого существования писателя, *вписывающего свой опыт в текущую* действительность". В книге поэт и мистик Батай предстает не столько библиотечным отшельником, довольствующимся событиями в сфере мысли и *внутреннего* опыта, сколько активным, вечно сражающимся и реагирующим на события интеллектуалом.

Отчетливость исследовательской авторской позиции имеет и оборотную сторону. Сопутствующая Батаю скандальность под пером литературоведа разбивается о систематику и перечень вполне респектабельных тем, которые обсуждаются в академической науке по сей день. В довершении *легализации* мысли Батая, которая была предпринята в предшествующей книге “Танатография эроса” (1994), Фокин приводит ряд авторитетных фигур гуманитарной науки, искусства и литературы, видевших в Батае достойного оппонента/собеседника в раздумье о сложных проблемах современности, о истоках человеческой общности или, по терминологии Батая, сообщничества. В результате, ряд дисциплин, в которых замечен след Батая, не мал: литературоведение, искусствоведение, политология, этнология, философия, экономика. Слаженную *последовательность* смены интересов Батая, его творческих и экзистенциальных стратегий, нарисованную исследователем: от теолога, *первого* студента, писателя, ведущего разгульный образ жизни, к опыту организатора тайного религиозного общества и до человека, открыто пропагандирующего свои политические взгляды — вполне можно дополнить, без потери изящества конструкции, *одновременностью* в слове “сочетал”; соединял несоединимое: архивариуса днем и завсегдатая публичных домов ночью, эзотеричность тайного общества и публичность выступлений, ученого и мистика, писателя и философа

Наиболее удачен раздел, посвященный фашизму. В этой предельно политизированной теме слово "фашизм" почти рефлекторно (что, впрочем, всегда подозрительно в деле мысли) связывается с абсолютно негативным и отвратительным. На минном поле запретов и узких проходов к безопасным выводам Фокин идет своим путем: *анализирует* сложные взаимоотношения Батая с идейным корпусом фашизма времен его наибольшей популярности и идеологического соблазна — того периода, когда им были увлечены многие интеллектуалы Запада. В этом разделе автор, как нигде, проговаривает себя. В эмоциональном письме. В совпадении оценок. Реконструкция концепции Батая оказывается сложнее, чем однозначное приятие/неприятие идеологии фашизма или его антипода, а посему и близкого — согласно Батаю — по духу политического и идеологического направления, коммунизма: “некоторые совпадения

результатов, к которым пришли фашизм и большевизм” — мысль ставшая общеизвестной благодаря трудам Ханны Аренд и с ней связываемая. Эти выводы Батая тем более ценны, что высказаны они задолго до того, как “Освенцим” и “Гулаг” стали именами нарицательными.

Позицию Батая исследователь называет экстремистской: вне и "по ту сторону всяких позиций (демократических, фашистских, коммунистических)", — но экстремистской *позитивно*. Фокин представляет эволюцию взглядов Батая на власть и государство в связи с принципом "непроизводительной траты" и оригинальной "наукой об ином": от признания религиозно-психологической силы фашизма, которая имела своей точкой концентрации "архаическую традиционную фигуру суверена" и поддерживалась "союзом военного и религиозного", до резкой критики — "он сознает, что победить фашизм... можно не иначе, как используя ту же силу инородного, то есть элементы насилия, аффективных состояний, шоковых ситуаций" (с. 60). Благодаря предпринятому рассмотрению мысли Батая в динамике, нашедшей свое выражение в ряде работ — "Язык цветов", "Понятие траты", "Проблема государства", — иначе и яснее прочитывается блестяще переведенная Г. Галкиной (НЛО 1995, № 13) статья Батая "Психологическая структура фашизма". Фокин подчеркивает, что мысль Батая не могла работать на фашизм уже потому, что она “оказывается много его сильнее” (с. 66). Сила эта видится в выводах: “фашистская чума проникает в социальное тело посредством своего рода режима гигиены, безжалостно отсекающего от жизни все, что представляется нечистым, нездоровым, низким” (с. 67). Именно “низкий материализм” составляет предмет интересов Батая и точку, отталкиваясь от которой он критикует как фашизм, "исключающий другого", так и "исключающее трату" производительное общество, — однородность буржуазного демократического общества, сейчас бы сказали общества тотального потребления. Фокин приводит запоминающуюся батаевскую метафору примитивности сознания массового человека: его мир есть “мир, рожденный в мозгу сосиски, у которой те же чувства, что и у того, кто ее ест”, — и, как кажется, полностью с ней соглашается.

"Вряд ли чисто текстовый анализ может вскрыть то, что делал этот писатель в литературе", — заявляет Фокин. И применяя это суждение к самому литературоведу, приходится отдать ему должное: Фокин не просто анализирует творчество Батая, он помещает в русское поле его фигуру, а читатель имеет возможность увидеть целый пласт европейской литературы и философии, Гегеля и Ницше, столь любимых Батаем, с неожиданной стороны — *через его опыт*. Быть может *явлению* Батай-Фокин созвучна пара Бизе-Щедрин, в которой последний в свободной транскрипции перевел оперное произведение французского композитора в балетную сюиту, рассчитанную на русскую балерину, Фокин — на русского читателя. Но вопрос все же остается, как сохранить выразительные возможности французского языка, в особенности у того, кто ставил своей

целью испытывать его границы, а также можно ли пережить/перевести опыт другого, его неумеренность и неистовство?

Исследование батаеведа избыточно (возможно тем "переизбытком", который, согласно Батаю ведет к трате); по драматизации оно далеко переходит допустимые границы научной отстраненности литературоведения, по оценкам — вторгается на историко-философскую территорию (чтобы не сказать в специальные философские темы, как, например, в главе "Ацефал", в которой Фокин касается философии смерти), и в особенности, оно избыточно по степени упорядоченности творческих движений Батая. Слегка настораживает композиционная четкость и точность оглавления книги, которая благодаря этому могла бы служить справочным материалом; неожиданно *плавные* (сглаженные до гармоничности, вопреки основной интенции Батая к атеологии, дисгармонии, безмерности: "Гармония — дело рук вовлеченного в проект человека, он обрел спокойствие, устранил нетерпение желания") и *последовательные* переходы батаевской мысли от литературы к политике, религии, социологии.

Выстраивая композицию по линиям отмежеваний (и одновременно приложений внимания) Батая, Фокин выступает его "сообщником" в том "сообществе человеческой мысли", существование которого Батай утверждал и в котором становятся возможными движения "транс" как движения "к". Батай предстает не "бесноватым", а, признавая онтологически непримиримую разорванность отдельного конечного бытия и органическое единство тела всего человеческого сообщества, всегда современным и актуальным. Это удивительное *согласие* автора и фигуры его анализа, по-видимому, постоянного собеседника, увлекает и читателя, "вызывая" ("я предлагаю не книгу, а вызов" (с. 107), пишет Батай о "Внутреннем опыте") сочувствие и соразмышление. Трагика и радикализм, биение и разорванность мысли Батая приобретают в историческом взгляде *матовый* оттенок осмысленности. Вопросы в отношении Батая под конец исчерпываются: собор из его трудов и жизненных обстоятельств выстраивается гармоничным. Его венчает усталая и мудрая улыбка на одной из его последних фотографий.

Наконец в разборе "Суммы атеологии" уделено внимание "манере письма" Батая, его представлению о *литературном* опыте, его спорному отношению к художественной форме, к Книге: "'Книга' знаменует смерть человека, отчуждение его негативности в формы неживой реальности... На месте Книги — бесконечный ряд 'паракнижных' отрывков: прологи, предисловия, комментарии..." (с. 113). Однако здесь исследовательская позиция Фокина вступает в контрапункт с интенцией Батая к разрушению "целостности произведения", к принципиальной незавершенности опыта письма, к поэтике “руин”. На основе интуиции Л.Шестова — "Сумма" как готический Собор, — он созидает Собор из его трудов и встраивает Батая в литературную традицию. В результате автор "Суммы атеологии" предстает односторонне: добросовестным семинаристом, профессиональным архивистом-палеографом, эстетом. Будем же надеяться, что

следующая работа филолога С.Л.Фокина будет посвящена литературному делу Батая и невозможности его письма.

Вовлеченный в мир исследуемого им писателя, Фокин весьма деликатно излагает его биографию, используя наукообразную латынь там, где ее можно избежать: при характеристике болезни отца — “тяжелая форма табеса” (сифилиса), разгул и неистовство, с которыми он предавался порокам, посещая публичные дома и прочие злачные места, выглядят пристойным “выкидиванием коленец” в увеселительных заведениях в “часы дружеских бдений”.

Любителя же читать нечто к делу не относящееся, но к книге прилагающееся, здесь будут радовать маргинальные изыски. В невзрачном потоке университетских изданий, пусть и увенчанном в данном случае высоким титулом “Санкт-Петербургский Государственный университет экономики и финансов”, с бледным текстом эпохи перестроечной свободы доступа к ксероксам и ризографам попадается то, что не может не обратить на себя внимание: наименование кафедры — “Французского и восточных языков", академическое название, выдающее диссертационную производную автора, тираж — насмешка, 200 экз., обложка в стиле опытов начинающего пользователя программы Word. И все это — *первая в России монография*, посвященная творчеству Жоржа Батая, Батыем прошедшим по Российскому интеллектуальному ландшафту и наложившим повинность всеобщего чтения того, кто и на Родине не выходит из узкого круга потребления. Не всякий свой опыт соотнесет с его внутренним. Забавная мизансцена имела место на презентации перевода батаевского “Внутреннего опыта” в Петербурге, когда представитель Французского института Альянс Франсез выпытывал у переводчика — С.Л.Фокина — что он и как понял те или иные места книги и, зная русский, обращался к переводу, сравнивал, и ... не понимал снова. Удивлялся.

Книга в конце концов примечательна тем, что она дает еще один *практический* ответ на вопрос о том, как возможно (в том числе и дисциплинарно) рассматривать такого разнопланового писателя как Батай: в "лабиринтах" его мыслей, опытов, провокаций исследователь движется согласованно, с доверием к его тексту, *по(д)строчно*.

Полагаю, что современная гуманитарная наука и все, кто интересуется современной французской мыслью, получат хорошую возможность подробно ознакомиться с творчеством одного из видных ее представителей — Ж.Батая. В 30-е годы.

В.В. Савчук

НАШИ АВТОРЫ

Вольчик Вячеслав Витальевич – доктор экономических наук, профессор, Южный федеральный университет.

Дмитриев Игорь Сергеевич – доктор химических наук, профессор, директор Музея-архива Д.И.Менделеева Санкт-Петербургского государственного университета.

Константинов Михаил Сергеевич – кандидат политических наук, старший преподаватель, Южный федеральный университет.

Криволапов Алексей Александрович – студент 4-го курса факультета социологии и политологии, Южный федеральный университет.

Лубский Анатолий Владимирович – доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор, Южный федеральный университет.

Макаренко Виктор Павлович – заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины, доктор политических и философских наук, профессор, Южный федеральный университет.

Мамедов Октай Юсуфович – заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор, Южный федеральный университет.

Мирошниченко Пётр Николаевич – кандидат философских наук, доцент, Южно-российский государственный университет экономики и сервиса.

Неретина Светлана Сергеевна – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН.

Огурцов Александр Павлович – лауреат Государственной премии, доктор философских наук, профессор, зав. отделом Института философии РАН.

Олейник Антон Николаевич – доктор социологии, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН.

Поцелуев Сергей Петрович – кандидат философских наук, доцент, Южный федеральный университет.

Розов Николай Сергеевич – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Новосибирского государственного университета.

Савчук Валерий Владимирович — доктор философских наук, профессор философского факультета СпбГУ.

Чукин Сергей Георгиевич – доктор философских наук, профессор, Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД.

CONTENTS

Editor's Word

Makarenko V.P. The Distance Problem in Description of Sociopolitical Dynamics of Russia

General Problems of Political Conceptology

Neretina S.S., Ogurtsov A.P. The Concepts of Political Consciousness
Makarenko V.P. The Political Conceptology: The First Results of Elaboration
Lubsky A.V. Political Conceptology as «Capture of Political World» and as Invitation to Discourse.
Chukin S.G. On the Anthropological Presuppositions of Political Philosophy
Miroshnichenko P.N. On the Issue of Political Conceptology Status.

Economic Choice and Political Concepts

Mamedov O. The Killing Love: A Mystery of Economic Collapse in Ancient Rome
Volchik V.V. An Evolution of Russian Institution of 'Power-propety'

Science community

Rozov N.S. (Non-) thinking Russia. Anti-theoretical Consensus as a Factor of Intellectual Stagnation
Oleinik A.N. The Imaginary and Real Risks in Sociological Studies

Theory and Practice of Democracy: the Method of Conceiving Concepts

Potseluev S.P. Dialogue as a 'Verbal Dream' (on Some Features of Paradialogic Discourse in Respect of Theory of Egocentric Speech)

Reverse Perspctive

Dmitriev I.S. In the Abode of Work and Inspiration
Konstantinov M.S. M. Petrov: The Biographical Context of Theory

Science Reports

Potseluev S.P. Fashion and Freedom (Conference Report)
Krivolapov A.A. Power, Science, and Knowledge: the New Forms of Dialogue

Bookshelf

Makarenko V.P. Frightened people and the Problem of Rebuilding Lomonosov Monument
Savchuk V.V. Bataille's Invasion to Russia

Our Authors
Contents

Научно-аналитическое издание

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

2009. № 1

(январь - март)